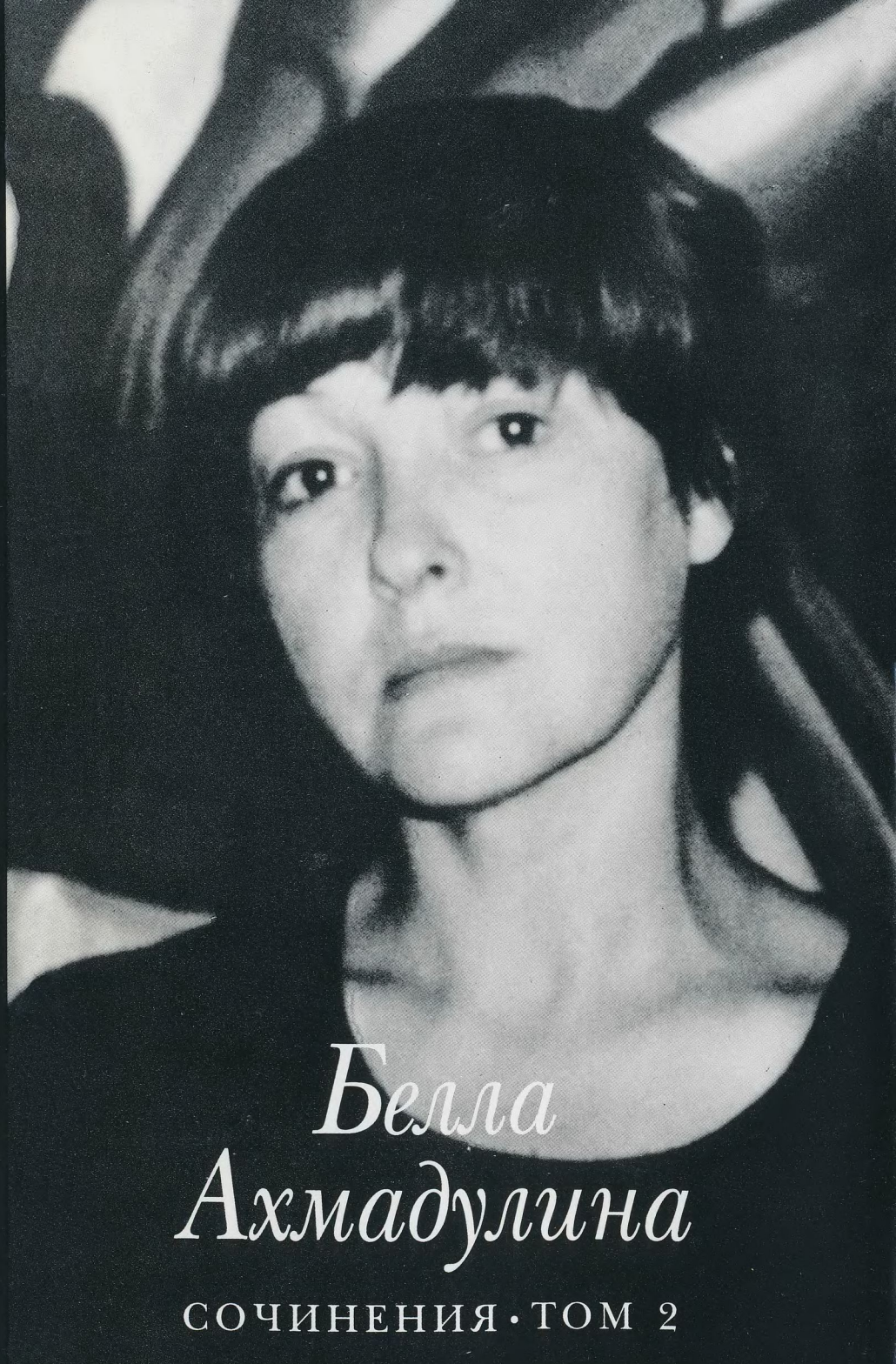


*Белла Ахмадулина*



*Белла  
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2

2



Белла Ахмадулина

Белла  
Ахмадулина

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2

12







*Белла*  
*Ахмадулина*  
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2



*Белла  
Ахмадулина*  
СОЧИНЕНИЯ



ПАН • КОРОНА-ПРИНТ  
МОСКВА 1997

*Белла  
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2

СТИХОТВОРЕНИЯ 1980-1996

ПЕРЕВОДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПАН • КОРОНА-ПРИНТ  
МОСКВА 1997



УДК 882

СОСТАВЛЕНИЕ  
И ПОДГОТОВКА ТЕКСТА  
Б.МЕССЕРЕРА  
О.ГРУШНИКОВА

КОММЕНТАРИИ  
О.ГРУШНИКОВА

ХУДОЖНИК  
А.КОНОПЛЕВ

В ОФОРМЛЕНИИ  
ИСПОЛЬЗОВАН РИСУНОК  
«ГРАММОФОН»  
Б.МЕССЕРЕРА

*Издание осуществлено  
при финансовой поддержке  
коммерческого инновационного банка  
«АЛЬФА-БАНК»*



- © Б. Ахмадулина, 1997
- © Б. Мессерер, О. Грушников.  
Составление, 1997
- © О. Грушников. Комментарии, 1997
- © А. Коноплев. Оформление, 1997
- © ООО Издательство «ПАН», 1997

ББК 84 (2Рос-рус)б-5



*Белла  
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2

СТИХОТВОРЕНИЯ

1980—1996





## САД

*Василию Аксёнову*

Я вышла в сад, но глушь и роскошь  
живут не здесь, а в слове: „сад”.  
Оно красою роз возросших  
питает слух, и нюх, и взгляд.

Просторней слово, чем окрестность:  
в нём хорошо и вольно, в нём  
сиротство саженцев окрепших  
усыновляет чернозём.

Рассада неизвестных новшеств,  
о, слово „сад” — как садовод,  
под блеск и лязг садовых ножниц  
ты длишь и множишь свой приплод.

Вместилась в твой объем свободный  
усадыба и судьба семьи,  
которой нет, и той садовой  
потёрто-белый цвет скамьи.

Ты плодороднее, чем почва,  
ты кормишь корни чуждых крон,  
ты — дуб, дупло, Дубровский, почта  
сердец и слов: любовь и кровь.

Твоя тенистая чащоба  
всегда темна, но пред жарой  
зачем потупился смущенно  
влюбленный зонтик кружевной?



Не я ль, искатель ручки вялой,  
колено гравием красню?  
Садовник нищий и развязный,  
чего ищу, к чему клоню?

И, если вышла, то куда я  
всё ж вышла? Май, а грязь прочна.  
Я вышла в пустошь захуданья  
и в ней прочла, что жизнь прошла.

Прошла! Куда она спешила?  
Лишь губ пригубила немых  
сухую муку, сообщила,  
что всё — навеки, я — на миг.

На миг, где ни себя, ни сада  
я не успела разглядеть.  
„Я вышла в сад”, — я написала.  
Я написала? Значит, есть

хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно,  
что выход в сад — не ход, не шаг.  
Я никуда не выходила.  
Я просто написала так:  
„Я вышла в сад” ...

1980

## Владимиру Высоцкому

### I

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий  
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.  
Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной:  
так — быть? или — как? что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.  
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страданья.  
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,  
кто подданных душу возвысит до слёз, до рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь  
не сборищем сброда, бегущим глазеть на Нерона,  
а стройным собором братьев, отринувших пошлость.  
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —  
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.  
Певца обожая, — расплачемся. Доблестна тризна.  
Так — быть или как? Мне как быть? Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.  
В обнимку уходим — всё дальше, всё выше, всё чище.  
Не скаредны мы, и сердца разбиваются наши.  
Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?

1980

## II. МОСКВА: ДОМ НА БЕГОВОЙ УЛИЦЕ

Московских сборищ завсегдатай,  
едва очнется небосвод,  
люблю, когда рассвет сохатый  
чащобу дыма грудью рвет.

На Беговой — одной гостиной  
есть плюш, и плен, и крен окна,  
где мчится конь неугасимый  
в обгон небесного огня.

И видят бельма рани блеклой  
пустых трибун рассветный бред.  
Фырчит и блещет бысролетный,  
переходящий в утро бег.

Над бредом, бегом — над Бегами  
есть плюш и плен. Есть гобелен:  
в нём те же свечи и бокалы,  
тлен бытия, и плюш, и плен.

Клубится грива ипподрома.  
Крепчает рысь молодого дня.  
Застолья вспылчивая дрёма  
остаток ночи пьет до дна.

Уж кто-то щей на кухне просит,  
и лик красавицы ночной  
померк. Окурки утра. Осень.  
Все разбредаются домой.

*Белла Ахмадулина*

Пирушки грустен вид посмертный.  
Еще чего-то рыщет в ней  
гость неминуемый последний,  
что всех несносней и пьяней.

Уже не терпится хозяйке  
уйти в черёд дневных забот,  
уж за его спиною знаки  
она к уборке подает.

Но неподвижен гость угрюмый.  
Нездешне одинок и дик,  
он снова тянется за рюмкой  
и долго в глубь вина глядит.

Не так ли я в пустыне лунной  
стою? Сообщники души,  
кем пир был красен многолюдный,  
стремглав иль нехотя ушли.

Кто в стран полуденных заочность,  
кто — в даль без имени, в какой  
спасительна судьбы всеобщность  
и страшно, если ты изгой.

Пригубила — как погубила —  
непостижимый хлад чела.  
Всё будущее — прежде было,  
а будет — был, что я была.

На что упрямилось воловье  
двужилье горловой струны —  
но вот уже и ты, Володя,  
ушел из этой стороны.

Не поспекает лба неумность  
расслышать краткий твой ответ.  
Жизнь за тобой вослед рванулась,  
но вот — глядит тебе вослед.



Для этой мысли темной, тихой  
стих занимался и старел  
и сам не знал: причем гостиной  
вид из окна и интерьер?

В честь аллегии нехитрой  
гость там зажился. Сгоряча  
уже он обернул накидкой  
хозяйки зябкие плеча.

Так вот какому вверясь року  
гость не уходит со двора!  
Нет сил поднять его в дорогу  
у суеверного пера.

Играй со мной, двойник понурый,  
сиди, смотри на белый свет.

Отверстой бездны неподкупной  
я слышу добродушный смех.

1982

### III

Эта смерть не моя есть ущерб и зачёт  
жизни кровно-моей, лбом упершейся в стену.  
Но когда свои лампы Театр возожжет  
и погасит — Трагедия выйдет на сцену.

Вдруг не поздно сокрыться в заочность кулис?  
Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели.  
Обреченных капризников тщетный каприз —  
вжаться, вжиться в укромность — вина неужели?

Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет.  
Я не помню из роли ни жеста, ни слова.  
Но смеется суфлёр, вседержитель судеб:  
говори: всё я помню, я здесь, я готова.

Говорю: я готова. Я помню. Я здесь.  
Сущ и слышим тот голос, что мне подыграет.  
Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств  
здорово мыслит один: умирающий Гамлет.

Донесется вослед: не с ума ли сошед  
Тот, кто жизнь возлюбил да забыл про живучесть.  
Дай, Театр, доиграть благородный сюжет,  
бледноликий партер повергающий в ужас.

1983

## ЛАДЫЖИНО

*Владимиру Войновичу*

Я этих мест не видела давно.  
Душа во сне глядит в чужие края  
на тех, моих, кого люблю, кого  
у этих мест и у меня — украли.

Душе во сне в Баварию глядеть  
досуга нет — но и вчера глядела.  
Я думала, когда проснулась здесь:  
душе не внове будет взмыв из тела.

Так вот на что я променяла вас,  
друзья души, обобранной разбоем.  
К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.  
Вы — за Окой, вон там, за темным бором.

И ваши слёзы видели в ночи  
меня в Тарусе, что одно и то же.  
Нашли меня и долго прочь не шли.  
Чем сон нежней, тем пробужденье строже.

Вот новый день, который вам пошлю —  
оповестить о сердца разрыванье,  
когда иду по снегу и по льду  
сквозь бор и бездну между мной и вами.

Так я вхожу в Ладыжино. Просты  
черты красы и бедствия родного.  
О, тетя Маня, смилуйся, прости  
меня за всё, за слово и не-слово.

*Белла Ахмадулина*

Прогорк твой лик, твой малый дом убог.  
Моих друзей и у тебя отняли.  
Всё слышу: „Не печалься, голубок”.  
Да мóчи в сердце меньше, чем печали.

Окно во снег, икона, стол, скамья.  
Ад глаз моих за рукавом я прячу.  
„Ах, андел мой, желанная моя,  
не плачь, не сетуй”.  
Сетую и плачу.

27 февраля 1981

Таруса



День пред весной, мне жаль моей зимы,  
чей гений знал, где жизнь мою припрятать.  
Не предрекай теплыни, не звени,  
ты мне грустна сегодня, птичья радость.

Мне жаль снегов, мне жаль себя в снегах,  
Оки во льду и полыньи отверстой,  
и радости, что дело не в стихах,  
а в нежности к пространству безответной.

Ах, нет, не так, не с тем же спорить мне,  
кто звал и знал ответа благосклонность.  
День-Божество, повремени в окне,  
что до меня — я от тебя не скроюсь.

В седьмом часу не остается дня.  
Красно-синё окошко ледяное.  
День-Божество, вот я, войди в меня,  
лишь я — твое прибежище ночное.

Воскресни же — ты воскрешен уже.  
Велик и леп, восстань великолепным.  
Я повторю и воздымлю в уме  
твой первый свет в моём окошке левом.

Вновь грозно-нежен разворот небес  
в знак бедствий всех и вместе благоденствий.  
День хочет быть — день скоро будет — есть  
солнце-морозный, всё точь-в-точь: чудесный.

Грядущее грядет из близости. Что ж,  
зато я знаю выражение сосен,  
когда восходит то, чего ты ждешь,  
и сердце еле ожидание сносит.

Всё распростерто перед ним, всё — ниц.  
Ему не в труд, свет разметав по крышам,  
пронзить цветка прозрачный организм,  
который люди Ванькой-мокрым кличут.

Да, о растение. Возлюбив его,  
с утра смеюсь: кто, Ваня милый, вы-то?  
Сердечком влажным это существо  
в меня всмотрелось и ко мне привыкло.

Мы с ним вдвоём в обители моей  
насквозь провидим ясную погоду.  
День пред весной всё шире, всё вольней.  
Внизу мне скажут: дело к ледоходу.

Лёд, не ходи! Хоть и весна почти,  
земля прочна и глубока остуда.  
Мне жаль того, поверх воды, пути  
в Поленово, наискосок отсюда.

Я выхожу. Морозно и тепло.  
Мне говорят, что дело к ледоходу.  
Грущу и рада: утром с крыш текло —  
я от воды отламываю воду.

Иду в Пачёво, в деревушку. Во-он  
она дымит: добра и пусторука.  
К ней влажен глаз, и слух в нее влюблен.  
Под горку, в горку, роща и — Таруса.

Я б шла туда, куда глаза вели,  
когда б не Ты, кого весна тревожит.  
Всё Ты да Ты, всё шалости Твои:  
там, впереди, — художник и треножник.

Я не хочу свиданье их спугнуть.  
И кто я им, воссоздавая втуне  
их поз взаимность, синий санный путь,  
себя — пятно, мелькнувшее в этюде?

Им оставляю блеск и синеву.  
Цвет никакой не скуден и не тесен.  
А я? Каким я день мой назову?  
Мне сказано уже, что он — чудесен.

Грядями леса спорят об Оке  
отвесный берег с этим вот, пологим.  
Те двое грациозных вдалеке  
всё заняты круженьем многоногим.

День пред весной, снега мой след сотрут.  
Ты дважды жил и не узнал об этом.  
В окне моём Юпитер и Сатурн  
сейчас в соседях. Говорят, что — к бедам.

28 февраля 1981

Таруса

## ИГРЫ И ШАЛОСТИ

Мне кажется, со мной играет кто-то.  
Мне кажется, я догадалась — кто,  
когда опять усмешливо и тонко  
мороз и солнце глянули в окно.

Что мы добавим к солнцу и морозу?  
Не то, не то! Не блеск, не лёд над ним.  
Я жду! Отдай обещанную розу!  
И роза дня летит к ногам моим.

Во всём ловлю таинственные знаки,  
то след примечу, то слышу речь.  
А вот и лошадь запрягают в санки.  
Коль ты велел — как можно не запречь?

Верней — коня. Он масти дня и снега.  
Не всё ль равно! Ты знаешь сам, когда:  
в чудесный день! — для усиления бега  
ту, что впрягли, ты обратил в коня.

Влетаем в синеву и полыханье.  
Перед лицом — мах мощной седины.  
Но где же ты, что вот — твое дыханье?  
В какой союз мы тайный сведены?

Как ты учил — так и темнеет зелень.  
Как ты жалел — так и поют в избе.  
Весь этот день, твоим родным изделием,  
хоть отдан мне, — принадлежит Тебе.

А ночью — под угрюмо-голубою,  
под собственной твоей полулуной —  
как я глупа, что плачу над тобою,  
настолько сущим, чтоб шалить со мной.

1 марта 1981

Таруса



Я позабыла, что всё это есть.  
Что с небосводом? Зачем он зарделся?  
Как я могла позабыть среди злодейств  
то, что еще упаслось от злодейства?

Но я не верила, что упаслось  
хоть что-нибудь. Всё, я думала, — втуне.  
Много ли всех проливателей слёз,  
всех, не повинных в корысти и в дури?

Время смертей и смертельных разлук,  
хоть не прошло, а уму повредило.  
Я позабыла, что сосны растут.  
Вид позабыла всего, что родимо.

Горестен вид этих маленьких сёл,  
рощ изведенных, церковей убиенных.  
И, для науки изъятых из школ,  
множества бродят подростков военных.

Вспомнила: это восход, и встаю,  
алчно сочувствуя прибыли света.  
Первыми сосны воспримут зарю,  
далее всем нам обещано это.

Трём обольщеньям за каждым окном  
радуюсь я, словно радостный кто-то.  
Только мгновенье меж мной и Окой,  
валенки и соучастье откоса.

Маша приходит: „Как, андел, спалось?“  
Ангел мой Маша, так крепко, так сладко!  
„Кутайся, андел мой, нынче мороз“.  
Ангел мой Маша, как славно, как ладно!

„В Паршино, любушка, волк забегал,  
то-то корова стенала, томилась“.  
Любушка Маша, зачем он пугал  
Паршина милого сирость и смиренность?

Вот выхожу, на конюшню бегу.  
Я ль незнакомец, что болен и мрачен?  
Конь, что белеет на белом снегу,  
добр и сластёна, зовут его: Мальчик.

Мальчик, вот сахар, но как ты любим!  
Глаз твой, отверсто-дрожащий и трудный,  
я бы могла перепутать с моим,  
если б не глаз — знаменитый и чудный.

В конюхах — тот, чьей безмолвной судьбой  
держится общий не выцветший гений.  
Как я, главенствуя в роли второй,  
главных забыла героев трагедий?

То есть я помнила, помня: нас нет,  
если истока нам нет и прироста.  
Заново знаю: лицо — это свет,  
способ души изъяслять благородство.

Семьдесят два ему года. Вестей  
добрых он мало услышал на свете.  
А поглядит на коня, на детей —  
я погляжу, словно кони и дети.

Где мы берем добродетель и стать?  
Нам это — не по судьбе, не по чину.  
Если не сгнуться совсем, то — устать  
всё не сберемся, хоть имем причину.

*Белла Ахмадулина*

Март между тем припекает мой лоб.  
В марте ли лбу предаваться заботе?  
„Что же, поедешь со мною, милоч?“  
Я-то поеду! А вы-то возьмете?

Вот и поехали. Дня и коня,  
дня и души белизна и нарядность.  
Федор Данилович! Радость моя!  
Лишь засмеется: „Ну что, моя радость?“

Слева и справа: краса и краса.  
Дым-сирота над деревнею вьется.  
Склад неимущества — храм без креста.  
Знаю я, знаю, как это зовется.

Ночью, при сильном стеченье светил,  
долго смотрю на леса, на равнину.  
Господи! Снова меня Ты простил.  
Стало быть — можно? Я — лампу придвину.

1–2 марта 1981

Таруса

*Борису Мессереру*

Объятье — вот занятие и досуг.  
В семь дней иссякла маленькая вечность.  
Изгиб дороги — и разъятие рук.  
Какая глушь вокруг, какая млечность.

Здесь поворот — но здесь не разглядеть  
от Паршина к Тарусе поворота.  
Стоит в глазах и простоит весь день  
все-белизны сплошная поволока.

Даль — в белых нетях, близь — не глубока,  
она — белкá, а не зрачка виденье.  
Что за Окою — тайна, и Ока —  
лишь знание о ней иль заблужденье.

Вплотную к зрению поднесен простор,  
нет, привнесен, нет втиснут вглубь, под веки,  
и там стеснен, как непомерный сон,  
смелее яви преуспевший в цвете.

Вход в этот цвет лишь ощупи отверст.  
Не рыщу я сокрытого порога.  
Какого рода белое окрест,  
если оно белее, чем природа?

В открытье — грех заглядывать уму,  
пусть ум поможет продвигаться телу  
и встречный стопор взору моему  
зовет, как все его зовут: метелью.

*Белла Ахмадулина*

Сужает круг всё сущее кругом.  
Белеют вместе цельность и подробность.  
Во впадине под ангельским крылом  
вот так бело и так темно, должно быть.

Там упасают выпуклость чела  
от разноцветья и непостоянства.  
У грешного чела и ремесла  
нет сводника лютее, чем пространство.

Оно — влюбленный соглядатай мой.  
Вот мучит белизною самодельной,  
но и прощает этой белизной  
вину моей отлучки семидневной.

Уж если ты себя творишь само,  
скажи: в чём смысл? в чём тайное веленье?  
Таруса где? где Паршино-село?  
Но, скрытное, молчит стихотворенье.

9–11 марта 1981

Таруса



*Борису Мессежеру*

Я описала марта день девятый —  
см. где-то здесь, где некому смотреть.  
Вот перечень его примет невнятный:  
застой снегов и снега круговерть.

В нём всё отвесно и ничто не навзничь.  
Восстал хребет последней пред-весны.  
Тот цвет, что белым мною вкратце назван, —  
сильней и безымянней белизны.

Неодолима вздыбленная плоскость.  
Ямщик всевластью вьюги подлежит.  
Но в этот раз ее провидит лошадь,  
чей гений — прыток и домой бежит.

Конь, мной воспетый и меня везущий,  
тягается с воспетыми не мной,  
пока, родной мой, вечно-однозвучный,  
не от наслышки слышу голос твой.

Всё так и было в дне девятом марта.  
Равна моим чернилам белизна:  
в нее их тщаньем ни одна помарка  
развязно не была привнесена.

Как школьник в труд радивого соседа  
шлет глаз крадущий, я взяла себе  
у дня — весь день, всё поведенье снега  
и песнь похмелья в Паршине-селе.

*Белла Ахмадулина*

На измышленья разум сил не тратил:  
вздымалось поле и метель мела.  
Лишь ты придуман, призрачный читатель.  
Но ты мне нужен, выдумка моя.

Сам посуди: про марта день девятый  
еще моих ты не прочел стихов,  
а я, под утро, из теплыни ватной  
кошусь в окно: десятый день каков?

Его восход внушает беспокойство:  
как бы меня во сне не провели  
влиянья неба, шлющие с откоса  
зеленый свет в зеницу полыньи.

Капель-крикунья, потакая марту,  
навзрыд вещает. Яркое жжет окно,  
что опыт белой росписи по мраку  
им не изведен иль забыт давно.

На улицу! Но валенки не в зиму,  
а в лужу вводят. Некому пенять.  
На вешнюю нездешнюю резину  
мой верный войлок надобно менять.

Опять иду. Я верю косогору.  
Он знает всё про то, что за Окой.  
Пал занавес. И слепнувшему взору  
даль предстает младою и нагой.

Над всем, что было прочно и парчово,  
хихикнул чей-то синий голосок.  
Тарусы — сквозь прозрачное Пачёво —  
вон крайний дом, не низок, не высок.

Я слышу смех пространства и Кого-то,  
кто снег убрал и посылает свет.  
Как подступают к сердцу жизнь и воля,  
когда смеется Тот, кто милосерд.

Так думаю — в каком это? — в четвертом  
часу. Часы и я удивлены.  
Усилен воздух нежным и нетвердым  
сияньем, равным четверти луны.

Еще пишу: отвьюжило, отмглось,  
Оке наскучил закадычный лёд,  
Но в это время чья-то власть и милость  
„Спи!” — говорит и мой целует лоб.

10–11 марта 1981

Таруса

*Борису Мессереру*

Что марту дни его: девятый и десятый?  
А мне их жаль терять и некогда терять.  
Но кто это еще, и словно бы с досадой,  
через плечо мое глядит в мою тетрадь?

Одиннадцатый, ты? Смещая очередность,  
твой третий час уже я трачу на вчера.  
До света досижу и дольше — до черемух,  
чтоб наспех не сказать, как стала ночь черна.

А где твоя луна? Ведь только что сияла.  
Сияет — но моя, возвращенная в стихах.  
Да ты, я вижу, крут. Там, где вода стояла,  
ты льдины в память льдин возводишь впопыхах.

Я пререкалась с днем как со знакомцем новым —  
он знать меня не знал. Он укреплял Оку.  
Он сызмальства зари был взрослым и суровым.  
Все вензели зимы он возвратил окну.

Он строго проверял: морозно ли? бело ли? —  
и на лету сгубил слабейшую из птах.  
Он строил из воды умершее былое,  
как будто воскрешал храм, обращенный в прах.

День стужу затевал и делал, что затеял:  
вязал ручки узлом, доверье верб терзал.  
То гением глядел, то взглядывал злодеем.  
Что б Ты о нём сказал, который всё сказал?

Когда я, как всегда, отправилась в Пачёво,  
меня, как свой пустяк, он зашвырнул домой.  
Я больше дням твоим, март, не веду подсчета.  
Вот воспеватель твой: озябший и больной.

Меж дней твоих втеснюсь в укромный промежуток.  
Как сумрачно глядит пространство-нелюдим!  
Оно шалит само, но не приемлет шуток.  
Несдобровать тому, кто был развязан с ним.

В ночи взывают к дню чернила и бумага.  
Мне жаль, что преступил полночную черту  
День — выродок из дней, хоть выходец из марта,  
один, словно поэт — всегда чужой в роду.

Особенный закат он причинил природе:  
уж не было зари, а всё была видна.  
Стихами о его трагическом уходе  
я возвещу восход двенадцатого дня.

11–12 марта 1981

Таруса

## КОФЕЙНЫЙ ЧЕРТИК

Опять четвертый час. Да что это, ей-Богу!  
Ну, что, четвертый час, о чём поговорим?  
Во времени чужом люблю свою эпоху:  
тебя, мой час, тебя, веселый кофеин.

Сообщник-гуца, вновь твой черный чертик ожил.  
Ему пора играть, но мне-то — спать пора.  
Но угодим — ему. Ум на него помножим —  
и то, что обречем, отпустим до утра.

Гадаешь ты другим, со мной — озорничаешь.  
Попав вовнутрь судьбы, зачем извне гадать?  
А если я спрошу, ты ясно означаешь  
разлуку, но любовь, и ночи благодать.

Но то, что обрели, — вот парочка, однако.  
Их общий бодрый пульс резвится при луне.  
Стих вдумался в окно, в глушь снега и оврага,  
и, видимо, забыл про чертика в уме.

Он далеко летал, вернулся, но не вырос.  
Пусть думает свое, ему всегда видней.  
Ведь догадался он, как выкроить и выкрасть  
Тарусу, ночь, меня из бесполезных дней.

Эй, чертик! Ты шалишь во мне, а не в таверне.  
Дай помолчать стиху вблизи его луны.  
Покуда он вершит свое само-творенье,  
люблю на труд его смотреть со стороны.

Меня он никогда не утруждал нимало.  
Он сочинит свое — я напишу пером.  
Забыла — дальше как? Как дальше, тетя Маня?  
Ах, да, там дровосек приходит с топором.

Пока же стих глядит, что делает природа.  
Коль тайну сохранит и не предаст словам —  
пускай! Я обойдусь добычею восхода.  
Вы спали — я его сопроводила к вам.

Всегда казалось мне, что в достиженья рани  
есть лепта и моя, есть тайный подвиг мой.  
Я не ложилась спать, а на моей тетради  
усталый чертик спит, поникнув головой.

Пойду, спущусь к Оке для первого поклона.  
Любовь души моей, вдруг твой слушник — здесь  
и смеет говорить: нет воли, нет покоя,  
а счастье — точно есть. Это оно и есть.

12 марта 1981

Таруса

Дни марта меж собою не в родстве.  
Двенадцатый — в нём гость или подкидыш.  
Черты чужие есть в его красе,  
и март: „Эй, март!“ — сегодня не окликнешь.

День — в зиму вышел нравом и лицом:  
когда с холмов ее снега поплыли,  
она его кукушкиным яйцом  
снесла под перья матери-теплыни.

Я нынче глаз не отпускала спать —  
и как же я умна, что не заснула!  
Я видела, как воля Дня и стать  
пришли сюда, хоть родом не отсюда.

Дню доставало прирожденных сил  
и для восхода, и для снегопада.  
И слышалось: „О, нареченный сын,  
мне боязно, не восходи, не надо“.

Ему, когда он челядь набирал,  
всё, что послушно, явно было скушно.  
Зачем позёмка, если есть буран?  
Что в бледной стыни мыкаться? Вот — стужа.

Я, как известно, не ложилась спать.  
Вернее, это Дню и мне известно.  
Дрожать и зубом на зуб не попасть  
мне как-то стало вдруг не интересно.



Я было вышла, но пошла назад.  
Как не пойти? Описанный в тетрадке,  
Дня нынешнего пред... — скажу: пред-брат —  
оставил мне наследье лихорадки.

Минувший день, прости, я солгала!  
Твой гений — добр. Сама простыла, дура,  
и провожала в даль твои крыла  
на зябких крыльях зыбкого недуга.

Хворь — боязлива. Ей неведому  
терпеть окна красу и зазыванье —  
в блеск бытия вперяет слепоту,  
со страхом слыша бури завыванье.

Устав смотреть, как слишком сильный День  
гнёт сосны, гладит против шерсти ели,  
я без присмотра бросила метель  
и потащилась под присмотр постели.

Проснулась. Вышла. Было семь часов.  
В закате что-то слышимое было,  
но тихое, как пенье голосов:  
“Прощай, прощай, ты мной была любима”.

О, как сквозь чернь березовых ветвей  
и сквозь решетку... там была решетка —  
не для красы, а для других затей,  
в честь нищего какого-то расчета...

сквозь это всё сияющая весть  
о чём-то высшем — горем мне казалась.  
Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет  
чуть-чуть был розовой, чем несказанность.

Вот участь совершенной красоты:  
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.  
А прочего всего — грубы черты.  
Звезда взошла не как всегда, а ране.

*Белла Ахмадулина*

О День, ты – крах или канун любви  
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,  
как блещет в небе ровно пол-луны:  
всё – в меру, без изъяна, без излишка.

Скончаньем Дня любитесь слеза.  
Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.  
Я ничего не знаю и слепа.  
А Божий День – всезнающ и всевидящ.

12–13–14 марта 1981

Таруса

## РАССВЕТ

Светает раньше, чем вчера светало.  
Я в шесть часов проснулась, потому что  
в окне — так близко, как во мне, —  
вещая,  
капель бубнила, предсказаньем муча.

Вот голосок, разорванный на всхлипы,  
возрос в струю и в стройное стенанье.  
Маслины цвета превратились в сливы:  
вода синее на столе в стакане.

Рассвет всё гуще набирает силу,  
бросает в снег и в слух синичью стаю.  
Зрачки, наверно, выкрашены синью,  
но зеркало синё — я не узнаю.

Так совершенно наполненье зренья,  
что не хочу зари, хоть долгожданна.  
И — ненасытным баловнем мгновенья —  
смотрю на синий томик Мандельштама.

22 марта 1981

Таруса

## НЕПОСЛУШАНИЕ ВЕЩЕЙ

Что говорить про вольный дух свечей —  
все подлежим их ворожке и сглазу.  
Иль неодушевленных нет вещей,  
иль мне они не встретились ни разу.

У тех, что мне известны, — норов крут.  
Не перечеть их вспльчивых поступков.  
То пропадут, то невпопад придут,  
свой тайный глаз сокрыв, но и потупив.

Сейчас вот потешались надо мной:  
Вещь — щелкала не для, а вместо света,  
и заточённый в трубы водяной  
не дал воды и задрожал от смеха.

Всю эту ночь, от хваткости к стихам,  
включатель тьмы пощелкивал над слухом,  
просил воды назойливый стакан  
и жадный кран, как щедрый филин, ухал.

Удел вещей: спешить куда-то вдаль.  
Вчера, под вечер, шаль мне подарили —  
под утро зябнет и скучает шаль,  
ей невтерпёж обнять плеча другие.

Я понукаю их свободный бег —  
пусть будет пойман чьей-нибудь рукою,  
как этот вольный быстротечный снег,  
со всех холмов сзываемый Окою.

Я не умела вещи приручать.  
Их своеволие оставляю людям.  
Придвиньтесь ближе, лампа и тетрадь.  
Мы никакую вещь не обесудим.

Сейчас, сей миг, от сей строки — рука  
отпрянула, я ей перекрестилась:  
для шумного, из недр души, зевка  
дверь шкафа распахнулась и закрылась.

В ночь на 23 и 23 марта 1981

Таруса

Сколь ни живи, сколь ни учи наук —  
жизнь знает, как прельстить и одурачить,  
и робкий неуч, молвив: „Это — луг”, —  
остолбенев глядит на одуванчик.

Нельзя привыкнуть и нельзя понять.  
Жизнь — знает нас, а мы ее — не знаем.  
Ее надзором, в занебесном „над”  
исток берущим, всяк насквозь пронзаем.

Мгновенье ока — вдохновенье губ —  
в сей миг проник наш недалекий гений,  
но пред вторым — наш опыт кругло глуп:  
сплошное время — разнобой мгновений.

Соседка капля — капле не близнец,  
они похожи, словно я и кто-то.  
Два раза одинаково блеснуть  
не станет то, на что смотрю с откоса.

Всегда мне внове невидаль окна.  
Его читатель вечный и работник,  
робею знать, что значат письма, —  
и двадцать раз уже я второгодник,

Вот — ныне, в марта день двадцать шестой,  
я затемно взялась за это чтение.  
На языке людей: туман густой.  
Но гуще слова бездны изъявление.

Какая гордость и какая власть —  
себя столь скрытной охранить стеною.  
И только галки промельк мимо глаз  
не погнушался свидеться со мною.

Цвет в просторечье назван голубым,  
но остается анонимно-большим.  
На таковом — малина и рубин —  
мой нечванливый Ванька-мокрый ожил.

Как бы — светает. Но рассвета рост  
не снизошел со зрителем якшаться.  
Есть в мартовской понурости берез  
особое уныние пред-счастья.

Как всё неизымаемо из мглы!  
Грядущего — нет воли опасаться.  
Вполоборота, ласково: „Не лги!” —  
и вновь собою занято пространство.

26 марта 1981

Таруса

Что опыт? Вздор! Нет опыта любви.  
Любовь и есть отсутствие былого.  
О, как неопытно я жду луны  
на склоне дня весны двадцать второго.

Уже темно! И там лишь не темно,  
где нежно меркнет розовая зелень.  
Ее скончанье и мое окно —  
я так стою — соотношу я зреньем.

Соблазн не в том, что схожи цвет и свет —  
в окне скучает роза абажура —  
меж ними — мўки связь: о лампа, нет,  
свет изведу, а цвет не опишу я.

Но прежде надо перенести зарю —  
весть тихую о том, что вечность — рядом.  
Зари не видя, на печаль мою  
окно мое глядит печальным взглядом.

Что, ситцевая роза, заждалась?  
Ко мне твоя пылает сердцевина  
такую страсть, что — звезда зажглась,  
но в схватке вас двоих — не очевидна.

Зажглась предтеча десяти часов.  
Страшусь, что помрачневшими глазами  
я вытяну луну из-за лесов  
иль навсегда оставлю за лесами.



Как поведенье нервов назову?  
Они зубами рвут любой эпитет,  
до злата прожигают синеву  
и причиняют небесам Юпитер.

Здесь, где живу, есть — не скажу: балкон —  
гроздь ветхости, нарост распада, или  
древесное подобье облаков,  
образование трогательной гнили.

На всё на это — выхожу. Вон там,  
в той стороне опасность золотая.  
Прочь от нее! За мною по пятам  
вихрь следует, покров стола взметая.

Переполох испуганных листов  
спроста ловлю, словно метель иль стаю.  
Верх пекла огнедышит из лесов —  
еще сильнее и выпуклей, чем знаю.

Вздор — хлад, и желтизна, и белизна.  
Что опыт, если всё не предвестимо.  
Как оборотень, движется луна,  
вобрав необратимое светило.

(И, кстати, там, за брезжущей чертой  
и лунной ночи, и стихотворенья,  
истекшее вот этой краснотой,  
я встречу солнце, скрытое от зренья.

Всем полнокровьем выкормив луну,  
оно весь день пробудет в блеклых нетях.  
Я видела! Я долг ему верну  
стихами, что наступят после этих.)

Подъем луны — непросто претерпеть.  
Уж мочи нет — всё длится проволочка.  
Тяжелая, еще осталась треть  
иным очам и для меня заочна.

*Белла Ахмадулина*

Вот — вся округлость видима. Луну:  
взойдет иль нет — уже никто не спросит.  
Явилась и зависла. Я люблю  
ее привычку медлить между сосен.

Затем, что край обобран чернотой, —  
вдруг как-то человечно косовата.  
Но не проста! Не поправа пятой  
(я знаю: он невинен) космонавта.

Вдруг улыбнусь и заново пойму,  
чей в ней так ясен и сохранен гений.  
Она всегда принадлежит Ему —  
имуществом двух маленьких имений.

Немедленно луна меняет цвет  
на мутно-серебристый и особый.  
Иль просто ей, чтоб продвигаться вверх,  
удобно стать бледней и невесомей.

Мне всё труднее подступать к окну.  
Чтоб за луной угнался провожатый:  
влюбленный глаз — я голову клоню  
еще левей. А час который? Пятый.

На этом точка падает в тетрадь.  
Сплошь темноты — всё зримее и реже.  
И снова нужно утро озирать —  
нежнее и неграмотней, чем прежде.

26–27 марта 1981

Таруса

## УТРО ПОСЛЕ ЛУНЫ

Что там с луною — видит лишь стена.  
Окно уже увлечено Окою.  
Моя луна — иссякла навсегда.  
Вы сиянны вечной, но другою.

Подслеповатым пристальным белком  
белесый день глядит неблагоклонно.  
Я выхожу на призрачный балкон —  
он свеж, как описание балкона.

Как я люблю воспетый мной предмет  
вновь повстречать, но в роли очевидца.  
Он как бы знает, что он дважды есть,  
и ластится, клубится и двоится.

Нет ни луны и никаких улик,  
что впрямь была. Забывчиво пространство.  
Учись, учись, тщеславный ученик,  
и, будучи, не помышляй остаться.

Перед лицом — тумана толщина.  
У слуха — лишь добычи и удачи:  
нежнейших пересвистов толчея,  
любви великой маленькие плачи.

Священный шум несуетной возни:  
томление свадеб, добыванье пищи.  
О, милый мир, отверстый для весны,  
как уберечь твое сердечко птичьё?

*Белла Ахмадулина*

Кому дано собою заслонить  
твой детский облик в далях заоконных?  
Надежда — что прищуриться ленив  
твой смертный час затеявший охотник.

Вдруг раздается кратковзвучный гром,  
мгновенно-меткий выстрел многоточья:  
то дятел занят праведным трудом —  
спросонок взмыла паника сорочья.

Он потрясает обомлевший ствол,  
чтоб помутился разум насекомых.  
Я возвращаюсь и сажусь за стол —  
счастливец из существ, им не искомым.

Что я имею? Бывшую луну,  
туман и не-событие восхода.  
Я обещала солнцу, что верну  
долги луны. Что делать мне, природа?

Чем напитаю многоцветье дня,  
коль все цвета исчерпаны луною?  
Достанет ли для этого меня  
и права дальше оставаться мною?

Меж тем — живой и всемогущий блеск  
восходит над бессонницей моею.  
Который час? Уже неважно. Без  
чего-то семь. Торжественно бледнею.

27 марта 1981

Таруса

У пред-весны с весною столько распрей:  
дождь нынче шел и снегу досадил.  
Двадцать седьмой, предайся, мой февральский,  
объятьям — с марта днем двадцать седьмым.

Отпразднуем, погода и погода,  
наш тайный праздник, круглое число.  
Замкнулся круг игры и хоровода:  
дождливо-снежно, холодно-тепло.

Внутри, не смея ничего нарушить,  
кружусь с прозрачным циркулем в руке  
и белую пространную окружность  
стесняю черным лесом вдалеке.

Двадцать седьмой, февральский, несравненный,  
посол души в заоблачных краях,  
герой стихов и сирота вселенной,  
вернись ко мне на ангельских крылах.

Благодарю тебя за все поблажки.  
Просила я: не отнимай зимы! —  
теплыни и сиянья неполадки  
ты взял с собою и убрал с земли.

И всё, что дале делала природа,  
вступив в открытый заговор со мной, —  
не пропустив ни одного восхода,  
вспела я под разною луной.

Твой нынешний ровесник и соперник  
был мглист и долог, словно времена,  
не современен марту и сиренев,  
в куртины мрака скрытан от меня.

Я шла за ним! Но — чем быстрее аллея  
петляла в гору, пятась от Оки,  
тем боязливей кружево белело,  
тем дальше убегали башмачки.

День уходил, не оставляя знака, —  
то, может быть, в слезах и впопыхах,  
Ладыжина прекрасная хозяйка  
свой навещала разоренный парк.

Закат исполнен женственной печали.  
День медленно скрывается во мгле —  
пять лепестков забытой им перчатки  
сиренью увядают на столе.

Опять идет четвертый час другого  
числа, а я — не вышла из вчера.  
За днями еженощная догонка:  
стихи — тесна всех дней величина.

Сова? Нет! Это вышла из оврага  
большая сырость и вошла в окно,  
согрелась — и отправился обратно  
невнятно-белый неизвестно кто.

Два дня моих, два избранных любимца,  
останьтесь! Нам — расстаться не дано.  
Пусть наша сумма бредит и клубится:  
ночь, солнце, дождь и снег — нам всё равно.

Трепещет соглядатай-недознайка!  
Здесь странная компания сидит:  
Ладыжина прекрасная хозяйка,  
я, ночь и вы, два дня двадцать седьмых.

Как много нас! — а нам еще не вдосталь.  
Ночь жалует в странноприимный дом.  
И то, во что мне утро обойдется, —  
я претерплю. И опишу — потом.

В ночь на 27 и 28 марта 1981

Таруса

## ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАРУСУ

Пред Окой преклоненность земли  
и к Тарусе томительный подступ.  
Медлил в этой глубокой пыли  
стольких странников горестный посох.

Нынче май, и растёт желтизна  
из открытой земли и расщелин.  
Грустным знаньем душа стеснена:  
этот миг бытия совершенен.

К церкви Бёховской ластится глаз.  
Раз ещё оглянусь — и довольно.  
Я б сказала, что жизнь — удалась,  
всё сбылось, и нисколько не больно.

Просьбы нет у пресыщенных уст  
к благолепию цветущей равнины.  
О, как сир этот рай и как пуст,  
если правда, что нет в нём Марины.

16 (и 23) мая 1981

Таруса



Вниз, к Оке, упадая сквозь лес,  
первоцвет упасая от следа.  
Этот, в дрожь повергающий, блеск  
многой воспет и добыт из-под снега.

— Я вернулась, Ока! — Ну, так что ж, —  
отвечало Оки выраженье. —  
Этот блеск, повергающий в дрожь,  
не твое, а мое достижение.

— Но не я ли сподвижник твоих  
льда недвижимого и ледохода?  
— Ты не ведаешь, что говоришь.  
Ты жива и еще не природа.

— Я всю зиму хранила тебя,  
словно берег твой третий и тайный.  
— Я не знаю тебя. Я текла  
самовластно, прохожий случайный.

— Я лишь третьего дня над Курой  
без твоих тосковала излучин.  
— Кто теплыню отчизны второй  
обольщен — пусть уходит, он скучен.

Зачерпнула воды, напилась  
не любезной и скаредной влаги.  
Разделяли Оки неприязнь  
рабелепные лес и овраги.

Чтоб простили меня — сколько лет  
мне осталось? Кукушка умолкла.  
О, как мало, овраги и лес!  
Как печально, как ярко, как мокро!

Всё, что я воспевала зимой,  
лишь весну ныне любит, весну лишь.  
Благоденствуй, воспетое мной!  
Ты вспомнишь меня и возлюбишь.

Возымевшей в бессонном зрачке  
заводь мглы, где выводится слово,  
без меня будет мало Оке  
услаждать полусон рыболова.

— Оглянись! — донеслось. — Оглянись!  
Там ручей упирался в запруду.  
Я подумала: цвет медуниц  
не забыть описать. Не забуду.

Пред лицом моим солнце зашло.  
Справа — Серпухов, слева — Алексин.  
— Оглянись! — донеслось. — Ни за что. —  
Трижды розово небо над лесом.

Слив двоюродно-близких цветов:  
от лилового неотделимы  
фиолетовость детских стихов  
на полях с отпечатком малины.

Такова ж медуница для глаз,  
только синее — гуще и ниже.  
Чей-то голос, в который уж раз:  
— Оглянись! — умолял. — Оглянись же!

Оглянулась. Закрывает глаза.  
Этот блеск, повергающий в ужас  
обожанья, я знаю, Ока.  
Как ты любишь меня, как ревнуешь!

— О, прости! — я просила Оку.  
Я опять поднималась на сцену.  
Поклонюсь — и писать не могу,  
поглядеть на бумагу не смею.

Неопрятен и славен удел  
ведать хладом, внушаемым залу.  
Голос мой обольщает людей.  
Это грех или долг — я не знаю.

Это страх так отважно поёт,  
обманув стадион бледнолицый.  
Горла алого рваный проём  
был ли издали схож с медуницей?

Я лишь здесь совершенно не лгу.  
Хоть за это пошли мне прощенья.  
Здесь впервые мой след на снегу  
я увидела без отвращенья.

„Это кто-то хороший стоял”, —  
я подумала и засмеялась.  
Я-то знала, как путник устал,  
как ему этой ночью писалось.

Я жалею февраль мой и март.  
Сердце как-то задумчиво бьется.  
Куковал многократный обман:  
время есть! всё еще обойдется!

Что сулят мне меж мной и Окой  
препирательства и примиренья —  
от строки я узнаю другой,  
не из этого стихотворенья.

16, 18–19 мая 1981

Таруса

Когда влюбленный ум был мартом очарован,  
сказала: досижу, чтоб ночи отслужить,  
до утренней зари, и дольше — до черемух,  
подумав: досижу, коль Бог пошлет дожить.

Сказала — от любви к немыслимости срока,  
нюх в имени цветка не узнавал цветка.  
При мартовской луне чернела одиноко —  
как вежи сквозь метель — простертая строка.

Стих обещал, а Бог позволил — до черемух  
дожить и досидеть: перед лицом моим  
сияет бледный куст, так уязвим и робок,  
как будто не любим, а мучим и гоним.

Быть может, он и впрямь терзаем обожаньем.  
Он не повинен в том, что мной предрешено.  
Так бедное дитя отцовским обещаньем  
помолвлено уже, еще не рождено.

Покуда, тяжело пав на южные ограды,  
вакхически цвела и нежилась сирень,  
Арагву променять на мрачные овраги  
я в этот раз рвалась: о, только бы скорей!

Избранница стиха, соперница Тифлиса,  
сейчас из лепестков, а некогда из букв!  
О, только бы застать в кулисах бенефиса  
пред выходом на свет ее молодой испуг.

Нет, здесь еще свежо, еще не могут вѣтлы  
потупленных ветвей изъять из полых вод.  
Но вопрошал мой страх: что с нею? не цветет ли?  
Сказали: не цветет, но расцветет вот-вот.

Не упустить ее пред-первое движение —  
туда, где спуск к Оке становится полог.  
Она не расцвела! — ее предположение  
наутро расцвести я забрала в полон.

Вчера. Немного тьмы. И вот уже: сегодня.  
Слабеют узелки стесненных лепестков —  
и маленького рта желает знать зевота:  
где свеже-влажный корм, который им иском.

Очнулась и дрожит. Над ней лицо и лампа.  
Ей стыдно расцветать во всю красу и стать.  
Цветок, как нагота разбуженного глаза,  
не может разглядеть: зачем не дали спать.

Стих, мученик любви, прими ее немилость!  
Что раболепство ей твоих-моих чернил!  
О, эта не из тех, чья верная взаимность  
объятья отворит и скуку причинит.

Так ночь, и день, и ночь склоняюсь перед нею.  
Но в чём далекий смысл той мартовской строки?  
Что с бедной головой? Что с головой моею?  
В ней, словно мотыльки, пестреют пустяки.

Там, где рабочий пульс под выпуклое темя  
гнал надобную кровь и управлялся сам,  
там впадина теперь, чтоб не стеснять растения,  
беспамятный овраг и обморочный сад.

До утренней зари... не помню... до чего-то,  
к чему не перенести влечения и тоски,  
чей паутинный клей... чья липкая дремота  
висит между висков, где вязнут мотыльки...

Забытая строка во времени повисла.  
Пал первый лепесток, и грустно, что — к теплу.  
Всегда мне скушен был выискиватель смысла,  
и угодить ему я не могу: я сплю.

17 мая 1981

Таруса

## ЧЕРЕМУХА ТРЕХДНЕВНАЯ

Три дня тебе, красавица моя!  
Не оскудел твой благородный холод.  
С утра Ольга Ивановна приходит:  
— Ты угоришь! Ты выйдешь из ума!

Вождь белокурый странных дум, три дня  
твои я исповедовала бредни.  
Пора очнуться. Уж звонят к обедне.  
Нефёдов нынче снова у меня.

— Всё так и есть! Душепогубный цвет  
смешал тебя! Какой еще Нефёдов?  
— Почуевский ученый барин: с ведром  
нас поздравлял как добрый наш сосед.

— Что делает растение-озорник!  
Тут чей-то глаз вмешался, чья-то зависть.  
— Мне всё, Ольга Ивановна, казалось, —  
к чему это? — что дом его сгорит.

Так было жаль улыбчивых усов,  
и чесучи по-летнему, и трости.  
Как одуванчик — кружевные гости  
развеются, всё ветер унесет.

— Уж чай готов. А это, что свело  
тебя с ума, я выкину, однако.  
И выгоню Нефёдова. — Не надо.  
Всё — мимолетно. Всё пройдет само.

*Белла Ахмадулина*

— Тогда вставай. — Встаю. Какая глушь  
в уме моём, какая лень и лунность.  
Я так, Ольга Ивановна, люблю вас,  
что поневоле слог мой неуклюж.

Пьем чай. Ольга Ивановна такой  
выискивает позы, чтобы глазом  
заботливым в мой поврежденный разум  
удобней было заглянуть тайком.

Как чай был свеж! Как чудно мёд горчил!  
Как я хитра! — ни чаем и ни мёдом  
не отвлеклась от знания, что Нефёдов  
изящно-грузно с дрожек соскочил.

С Нефёдовым мы долго говорим  
о просвещенье и, при встрече рюмок,  
о мрачных днях Отечества горюем  
и вялое правительство браним.

Конечно, о Толстом. Мы, кстати, с ним  
весьма соседи: Серпухов и Тула.  
Затем, гнушаясь изменностью стула, —  
о будущем, чей свет неодолим.

О, кто-нибудь, спроси меня о том... —  
нет никого! — мне всё равно! пусть спросит:  
— Про вас всё ясно. Но Нефёдов сродствен  
вам почему? Ведь он-то — здрав умом?

— О, совершенно. Вся его родня  
известна здравомыслием, и сам он  
сдавал по электричеству экзамен.  
Но — и его черемухе три дня.

Нет никого — так пусть молчат. Скорей!  
Нефёдов милый, это вы сказали,  
что прельщены зелеными глазами  
Цветаева двух юных дочерей?



Да, зеленью под сильной кручей лба,  
как и сказал, он был прельщен. А как же  
не быть? Заметно: старшей, музыкантше,  
назначена счастливая судьба.

— Я б их привел, но — зябкая весна  
и, кажется, они теперь на водах.  
— Они в Нерви. Да и нельзя, Нефёдов,  
ненадобно: их матушка больна.

Ушел. Ольга Ивановна вошла.  
Лишь глянула — и сразу укорила:  
— Да чем же ты Нефёдова кормила?  
Ей-ей, ты не в себе, моя душа.

— Он вам знаком? — Еще бы не знаком!  
Предобрый, благотворный, только — нервный.  
Хвала моей черемухе трехдневной!  
Поздравьте нас с ее четвертым днем.

Он начался. Как зелены леса!  
Зеленым светом воды полыхнули.  
Иль это созерцают полнолуны  
двух девочек зеленые глаза?

19–20 мая 1981

Таруса

Есть тайна у меня от чудного цветенья,  
здесь было б: чуднАГО — уместней написать.  
Не зная новостей, на старый лад желтея,  
цветок себе всегда выпрашивает „ять”.

Где для него возьму услад правописанья,  
хоть первороден он, как речи приворот?  
Что — речь, краса полей и ты, краса лесная,  
как не ответный труд вобравших вас аорт?

Лишь грамота и вы — других не видно родин.  
Коль вытоптан язык — и вам не устоять.  
Светаёт, садовод! Светаёт, огородник!  
Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.

Я этою весной все встретила растенья.  
Из-под земли их ждал мой повивальный взор.  
Есть тайна у меня от чудного цветенья.  
И как же ей не быть? Всё, что не тайна, — вздор.

Отраден первоцвет для зренья и для слуха.  
— Эй, ключики! — скажи — он будет тут как тут.  
Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!  
А грамотеи — чтут и буквицей зовут.

Ах, буквица моя, всё твой букварь читаю.  
Как азбука проста, которой невдомек,  
что даже от тебя я охраняю тайну,  
твой ключик золотой ее не отомкнет.

Фиалки прожила, и проводила в старость  
уменье медуниц изображать закат.  
Черемухе моей — и той не проболталась,  
под пыткой божества и под его диктант.

Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра  
оставила расцвеств... и тут же, вопреки  
пустым словам, в окне, так близко и внезапно  
прозрел ее цветок в конце моей строки.

Стих падает пчелой на стебли и на ветви,  
чтобы цветочный мёд названий целовать.  
Уже не знаю я: где слово, где соцветье?  
Но весь цветник земной — не гуще, чем словарь.

В отместку мне — пчела в мою строку влетела.  
В чужую страсть впилась ошибка жадных уст.  
Есть тайна у меня от чудного цветенья.  
Но ландыш расцветет — и я проговорюсь.

22 мая 1981

Таруса

Пока черемухи влиянье  
на ум — за ум я приняла,  
что сотворим — она ли, я ли —  
в сей месяц май, сего числа?

Души просторную покорность  
я навязала ей взамен  
отчизн откосов и околиц,  
кладбищ и монастырских стен.

Всё то, что целая окрестность  
вдыхает, — я берусь вдохнуть.  
Дай задохнуться, дай воскреснуть  
и умереть — дай что-нибудь.

Владей — я не тесней округи,  
не бойся — я странней людей,  
возьми меня в рабы иль в други  
или в овраги — и владей.

Какой мне вымысел надышишь?  
Свободная повелевать,  
что сочинишь и что напишешь  
моей рукой в мою тетрадь?

К утру посмотрим — а покуда  
окуривай мои углы.  
В середине замкнутого круга —  
любовь или канун любви.

Нет у тебя другого знания:  
для вечных наущений двух,  
для упования и терзанья  
цветет твой болетворный дух.

Уже ты насылаешь птицу,  
чье имя в тайне сохраню,  
что не снисходит к очевидцу,  
чей голос не сплошной сравню

с обрывом сердца, с ожиданьем  
соседней бездны на краю,  
для пробы, с любопытством дальним,  
на миг втянувшей жизнь мою

и отпустившей, — ей не надо  
того, чему не вышел срок.  
Но вот ее привет из сада  
донесся, искусил и смолк.

Во что, черемуха, играем —  
я помню, знаю, что творим.  
Уж я томлюсь недомоганьем  
всемирно-сущим — как своим.

Твой запах — вкрадчивая сводня, —  
луна и птицы ведовство  
твердят, что именно сегодня,  
немедленно... но что? Да всё!

Вся жизнь, всё разрыванье сердца —  
сейчас, не припасая впрок.  
Двух зорь сплоченное соседство  
теснит мой заповедный срок.

Но пагубою приворота  
уста я напитаю чьи?  
Нет гостя, кроме самолета  
в необитаемой ночи.

*Белла Ахмадулина*

Продлится за мою шторой  
запинка быстрых двух огней,  
та доля вечности, которой  
довольно выдумке моей.

Что Паршино ему, Пачёво,  
Ладыжино, Алекинó?  
Но сердце летчика ночного  
уже любить обречено

свет неразборчивый. Отныне  
он станет волен, странен, дик.  
Его отринут все родные.  
Он углубится в чтение книг.

Помолвку разорвет, в отставку  
подаст — нельзя! — тогда в Чечню,  
в конец недоуменья, в схватку,  
под пулю, неизвестно чью.

Любым испытано, как властно  
влечет нас островерхий снег.  
Но сумрачный прищур Кавказа  
мирволит нам в наш скушный век.

Его пошлют, но в санаторий.  
Печаль, печаль. Наверняка  
от лютой мирности снотворной  
он станет пить. Тоска, тоска.

Нет, жаль мне летчика. Движеньем  
давай займем его другим.  
Спасем, повысим в чине, женим,  
но прежде — разминемся с ним.

Черемуха, на эти шутки  
не жаль растраты бытия.  
Светает. Как за эти сутки  
осунулись и ты, и я.

Слабеет дух твой чудотворный.  
Как трогательно лепестки  
в твой день предсмертный, в твой четве  
на эти падают стихи.

Весной, в твоих оврагах отчих,  
не знаю: свидимся ль опять?  
Несется невредимый летчик  
ночного измышленья вспять.

Пошли ему не ведать муки.  
А мне? Дыханья перебой  
привносит птица в грусть разлуки  
с тобой, и только ли с тобой?

Дай что-нибудь! Дай обещастья!  
Дай не принять мой час ночной  
за репетицию прощанья  
со всем, что так любимо мной.

20-е дни мая 1981

Таруса

## НОЧЬ УПАДАНЬЯ ЯБЛОК

*Семёну Липкину*

Уж август в половине. По откосам  
по вечерам гуляют полушалки.  
Пришла пора высокородным осам  
навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:  
лениво-зорко, неусыпно-слепо —  
гляжу в окно, где обитает время  
под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки  
пожаловал — кто не варил повидла.  
Здесь закипает варево покруче:  
живьём съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.  
— Да и не будет! — слышу уверенье.  
И вздрагиваю: яблоко упало,  
на „НЕ” — извне поставив ударенье.

Жить припустилось испугнутое сердце,  
жаль бедного: так бьется кропотливо.  
Неужто впрямь небытия соседство,  
словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это — август, упаданье яблок.  
Я просто не узнала то, что слышу.  
В сердцах, что собеседник непонятлив,  
неоспоримо грохнуло о крышу.



Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.  
Так я сижу в ночь упаданья яблок.  
Грызя и попирая плодородье,  
жизнь милая идет домой с гулянок.

15–25 августа 1981

Таруса

## ФЕВРАЛЬСКОЕ ПОЛНОЛУНИЕ

Пять дней назад, бесформенной луны  
завидев неопрятный треугольник,  
я усмехнулась: дерзок второгодник,  
сложивший эти ямы и углы.

Сказала так — и оробела я.  
Возможно ли оспорить птицелова,  
загадочно изрекшего, что слово  
вернуть в силоч трудней, чем воробья?

Назад, на двор! Нет, я не солгала.  
В ней было меньше стати, чем изъяна.  
Она Того забыла иль не знала,  
чье имя — тайна. Глупая луна!

При ней ютилась прихвостень-звезда.  
Был скушен вид их неприглядной связи.  
И вялое влиянье чьей-то власти  
во сне я отгоняла от виска.

Я не возьму луны какой ни есть.  
Своей хочу! Я ей не раб подлунный.  
И ужаснулся птицелов: подумай  
пред тем, как словом вызвать гнев небес.

И он был прав. Послышалось: — Иди!  
— Иду. — Быстрее! — Да уж куда быстрее.  
Где валенки мои? — На батарее.  
Оставь твой вздор, иди и жди беды.

Эх, валенки! Ваш самотворный бег  
привадилился к дороге на Пачёво.  
Беспечны будем. Гнев небес печется  
о нашем ходе через торный снег.

Я глаз не открывала, повредить  
им опасаясь тем, что ум предвидел.  
Пойдем вслепую — и куда-то выйдем.  
Неведом путь. Всевидящ поводырь.

— Теперь смотри. — Из чащи над Окой  
она восстала пламенем округлым.  
Ту грань ее, где я прозрела угол,  
натягивал и насыщал огонь.

Навстречу ей вставал ответный блеск.  
Да, это лишь. Всё прочее не полно.  
Не снёс бы глаз блистающего поля,  
когда б за ним не скромно-черный лес.

Но есть ли впрямь Пачёво? Есть ли я?  
Где обитает Тот, чье имя — тайна?  
Пусть мимолетность бытия случайна,  
есть вечный миг вблизи небытия.

Мой — узнан мною и отпущен мной.  
Вот здесь, где шла я в сторону Пачёва,  
он без меня когда-нибудь очнется,  
в снегах равнин, под полную луну.

Увы, поимщик воробьиных бегств.  
Зачем равнинам предвещать равнины?  
Но лишь когда слова непоправимы,  
устам отверстым оправданье есть.

Мороз и снег выпрашивают слёз,  
и я не прочь, чтоб слёзы заблестели.  
Три дня не открывала я постели,  
и всяк мне дик, кто спросит: как спалось?

Всю ночь вокруг окон за луной иду.  
Вот крайнее. Девятый час в начале.  
Сопроводив ее до светлой дали,  
вернусь к окну исходному — и жду.

8–9 февраля 1982

Таруса

## ГУСИНЫЙ ПАРКЕР

Когда, под бездной многостройной,  
вспять поля белого иду,  
восход моей звезды настольной  
люблю я возыметь в виду.

И кажется: ночной равниной,  
чья даль темна и грозен верх,  
идет, чужим окном хранимый,  
другой какой-то человек.

Вблизи завидев бесконечность,  
не удержался б он в уме,  
когда б не чьей-то жизни встречность,  
одна в неисчислимой тьме.

Кто тот, чьим горестным уделом  
терзаюсь? Вдруг не сыт ничем?  
Униженный, скитался где он?  
Озябший, сыщет ли ночлег?

Пусть будет мной – и поскорее,  
вот здесь, в мой лучший час земной.  
В других местах, в другое время  
он прогадал бы, ставши мной.

Оставив мне снегов раздолье,  
вот он свернул в мое тепло.  
Вот в руки взял мое родное  
злато-гусиное перо.

*Белла Ахмадулина*

Ему кофейник бодро служит.  
С пирушки шлют гонца к нему.  
Но глаз его раздумьем сужен  
и ум его брезглив к вину.

А я? В ладыжинском овраге  
коли не сгину — огонек  
увидю и вздохну: навряд ли  
дверь продавщица отомкнет.

Эх, тьма, куда не пишут письма!  
Что продавщица! — у ведра  
воды не выпросишь напиток:  
рука слаба, вода — тверда.

До света нового, до жизни  
мне б на печи не дотянуть,  
но ненавистью к продавщице  
душа спасется как-нибудь.

Зачем? В помине нет аванса.  
Где вы, моих рублей дружки?  
А продавщица — самовластна,  
как ни грози, как ни дрожи.

Ну, ничего, я отскитаюсь.  
С полочки я развею грусть:  
и с продавщицей расквитаюсь,  
и с тем солдатом разберусь.

Ты спятил, Паркер, ты ошибся!  
Какой солдат? — Да тот, узбек.  
Волчицей стала продавщица  
в семь без пяти. А он — успел.

Мой Паркер, что тебе в Ладыге?  
Очнись, ты родом не отсель.  
Зачем ты предпочел латыни  
докуку наших новостей?

Светает во снегах отчизны.  
А расторопный мой герой  
еще гостит у продавщицы:  
и смех, и грех, и пир горой.

Там пересуды у колодца.  
Там масленицы чад и пыл.  
Мой Паркер сбивчиво клянется,  
что он там был, мёд-пиво пил.

Мой несравненный, мой гусиный,  
как я люблю, что ты смешлив,  
единственный и неусыпный  
сообщник тайных слёз моих.

23–25 февраля 1982

Таруса

## РОД ЗАНЯТИЙ

Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай,  
мое стихотворенье о десятом  
дне февраля. Пятнадцатый почат  
день февраля. Восхода недостаток

мне возместил предутренный не-цвет,  
какой в любом я уличаю цвете.  
Но эту смесь составил фармацевт,  
нам возбранивший думать о рецепте.

В сей день покаюсь пред прошедшим днем.  
Как ты велел, мой лютый исповедник,  
так и летит мой помысел о нём  
черемуховой осыпью под веник.

Печально озираю лепестки —  
кочки моих писаний пятинощных.  
Я погубитель лун и солнц. Прости.  
Ты в этом неповинна, печь-сообщник.

Пусть небеса прочтут бессвязный дым.  
Диктанта их занесшийся тупица,  
я им пишу, что Сириус — один  
у них, но рядом Орион толпится.

Еще пишу: всё началось с луны.  
Когда-то, помню, я щекою льнула  
к чему-то, что не властно головы  
угомонить в условиях полнолуныя.



Как дальше, печь? Десятое. Темно.  
Тень птичьих крыл метнулась из оврага.  
Не зря мое главнейшее окно  
я в близости зари подозревала.

Нет, Ванька-мокрый не возжег цветка.  
Жадней меня он до зари охотник.  
Что там с Окой? — Черным-бела Ока, —  
мне поклялись окно и подоконник.

Я ринулась к обратному окну:  
— А где луна? — ослепнув от мороза,  
оно или не видело луну,  
или гнушалось глупостью вопроса.

Оплошность дрёмы взору запретив,  
ушла, его бессонницей пресытась!  
Где раболепных букв и запятых  
сокрылся самодержец и проситель?

Где валенки? Где двери? Где Ока?  
Ум неусыпный — слаб, а любопытен.  
Луну сопровождали три огня.  
Один и не скрывал, что он — Юпитер.

Чуть полнокружья ночь себе взяла,  
но яркости его не повредила.  
А час? Седьмой, должно быть, и весьма.  
Уж видно, что заря неотвратима.

Я оглянулась, падая к Оке.  
Вон там мой Ванька, там мои чернила.  
Связь меж луной и лампою в окне  
так коротка была, так очевидна.

А там внизу, над розовым едва  
(еще слабей... так будущего лета  
нам роза нерасцветшая видна  
отсутствием и обещаньем цвета...

в какое слово мысль ни окунем,  
заря предстанет ясною строкою,  
в конце которой гаснет огонек  
в селе, я улыбнулась, за рекою...) —

там блеск вставал и попирал зарю.  
Единственность, ты имени не просишь  
и только так тебя я назову.  
Лишь множества — не различить без прозвищ.

Но раб, в моей ютящийся крови,  
чей горб мою вытягивает ношу,  
поднявший к небу черные круги,  
воздвигший то, что я порву и брошу,

смотрел в глаза родному Божеству.  
Сильней и ниже остального неба  
сияло то, чего не назову.  
А он — молился и шептал: Венера...

Что было дальше — от кого узнать?  
На этом и застопорились строки.  
Я постояла и пошла назад.  
Слепой зрачок не разбирал дороги.

В луне осталось мало зримых свойств.  
Глаз напрягался, чтоб ее проведать,  
зато как будто прозревал насквозь  
прозрачно-беззащитную поверхность.

В девять часов без четверти она  
за паршинское канула заснежье.  
Ей нет возврата. Рознь луне луна.  
И вечность дважды не встречалась с ней же.

Когда зайдет — нет ничего взамен.  
Упустишь — плачь о мире запредельном.  
Или воспой, коль хочешь возыметь, —  
и плачь о полнолуние самодельном.

В тот день через одиннадцать часов  
явилась пеклом выпуклым средь сосен  
и робкий круг, усопший средь лесов,  
ей не знаком был, мало — что не сродствен.

К полуночи уменьшилась. Вдоль глаз  
промчалась вместе с мраком занебесным.  
Укрылась в мутных нетях. Предалась  
не Пушкинским, а беспризорным бесам.

Безлунно и бесплодно дни текли.  
Раб огрызался, обратиться если  
с покорной просьбой. Где его стишки?  
Не им судить о безымянном блеске.

О небе небу делают доклад.  
Дай бездны им! А сами — там, в трясине  
былого дня. Его луну догнать  
в огне им будет легче, чем в корзине.

Вернусь туда, где и стою: в не-цвет.  
Он осторожен и боится сглазу.  
Что ты такое? — Сдержанный ответ  
не всякий может видеть и не сразу.

Он — нелюдим, его не нарекли  
эпитетом. О, пылкость междометья,  
не восхваляй его и не груби  
пугливому мгновению междуцветья.

Вот-вот вспугнут. Расхожая лыжня  
простёрта пред зарядкою заядлой.  
В столь ранний час сюда тащусь лишь я.  
Но что за холод! Что за род занятий!

Устала я. Мозг застлан синевой.  
В одну лишь можно истину взглядеться:  
тот ныне день, в который Симеон  
спас смерть свою, когда узрел Младенца.

*Белла Ахмадулина*

Приёмш я иль вовсе сирота  
со всех сторон глядящего пространства?  
Склонись ко мне, о Ты, кто сорока  
дней от роду мог упокоить старца.

Зов слышался... нет, просьба... нет, мольба...  
Пришла! Но где была? Что с нею случилось?  
Иль то усталость моего же лба,  
восплывши в небо, надо мной смеялась?

Полулуна изнемогла без  
полулуны. Где раздобыть вторую?  
Молчи, я знаю, счетовод небес!  
Твоя — при ней, я по своей горюю.

Но весело взбиралась я на холм.  
Испуг сорочий ударял в трещотки.  
И, пышущих здоровьем и грехом,  
румяных лыжниц проносились щёки.

На понедельник Сретенье пришлось,  
и нас не упасло от встреч никчемных.  
Сосед спросил: „Как нынче вам спалось?“  
Что расскажу я о моих ночевьях?

Со мной в соседях — старый господин.  
Претерпевая этих мест унынье,  
склоняет он матерьялизм седин  
и в кушанье, и в бесполезность книги.

Я здесь давно. Я приняла уклад  
соседств, и дружб, и вспылчивых объятий.  
Но странен всем мой одинокий взгляд  
и непонятен род моих занятий.

Февраль 1982

Таруса

## ПРОГУЛКА

Как вольно я брожу, как одиноко.  
Оступишься — затянет небосвод.  
В рассеянных угодьях Ориона  
не упасть от мысли обо всём.

— О чём, к примеру? — Кто так опрометчив,  
чтоб спрашивать? Разъятой бездны средь  
нам приоткрыт лишь маленький примерчик  
великой тайны: собственная смерть.

Привнесена подробность в бесконечность —  
роднее стал ее сторонний смысл.  
К вселенной недозволенная нежность  
дрожащем спектров виснет меж ресниц.

Еще спросить возможно: Пушкин милый,  
зачем непостижимость пустоты  
ужасною воображать могилой?  
Не лучше ль думать: это там, где Ты.

Но что это чернеет на дороге  
злей, чем предмет, мертвей, чем существо?  
Так оторопь коню вступает в ноги  
и рвется прочь безумный глаз его.

— Позор! Иди! Ни в чём не виноватый  
там столб стоит. Вы столько раз на дню  
встречаетесь, что поля завсегда  
давно тебя считает за родню.

*Белла Ахмадулина*

Чем он измучен? Почему так страшен?  
Что сторожит среди пустых равнин?  
И голосом докучливым и старшим  
какой со мной наставник говорит?

— О чём это? — Вот самозванца наглость:  
моим надбровным взгорбьем излучен,  
со мною же, бубня и запинаясь,  
шептаться смел — и позабыл о чём!

И раздаётся добрый смех небесный:  
вдоль пропасти, давно примечен ей,  
кто там идет вблизи всемирных бедствий  
краиной своих последних дней?

Над ним — планет плохое предсказанье.  
Весь скарб его — лишь нищета забот.  
А он, цветными упоен слезами,  
столба боится, Пушкина зовет.

Есть что-то в нём, что высшему расчету  
не подлежит. Пусть продолжает путь.  
И нежно-нежно дышит вечность в щёку,  
и сладко мне к ее теплыни льнуть.

1 марта 1982

Таруса

## ЛЕБЕДИН МОЙ

Всё в лес хожу. Заел меня репей.  
Не разберусь с влюбленною колючкой:  
она ли мой, иль я ее трофей?  
Так и живу в губернии Калужской.

Рыбак и я вдвоем в ночи сидим.  
Меж нами — рощи соловьев всенощных.  
И где-то: Лебедин мой, Лебедин —  
заводит наш невидимый сообщник.

Костер внизу и свет в моём окне —  
в союзе тайном, в сговоре иль в споре.  
Что думает об этом вот огне  
тот простодушный, что погаснет вскоре?

Живем себе, не ищем новостей.  
Но иногда и в нашем курослепе  
гостит язык пророчеств и страстей  
и льется кровь, как в Датском королевстве.

В ту пятницу, какого-то числа —  
еще моя черемуха не смерклась —  
соотносили ласточек крыла́  
глушь наших мест и странствий кругосветность.

Но птичий вздор души не бередил  
мечтаньем о теплынях тридесятых.  
Возлюбим, Лебедин мой, Лебедин,  
прокорма убыль и снегов достаток.

*Белла Ахмадулина*

Да, в пятницу, чей приоткрытый вход  
в субботу — всё ж обидная препона  
перед субботой, весь честной народ  
с полдня искал веселья и приволья.

Ладыжинский задиристый мужик,  
истопником служивший по соседству,  
еще не знал, как он непрочно жив  
вблизи субботы, подступившей к сердцу.

Но как-то он скучал и тосковал.  
Ему не полегчало от аванса.  
Запасся камнем. Поманил: — Байкал! —  
Но не таков Байкал, чтоб отозваться.

Уж он-то знает, как судьбы бежать.  
Всяк брат его — здесь мёртв или калека.  
И цел лишь тот, рожденный обожать,  
кто за версту обходит человека.

Развитие событий торопя,  
во двор вошли знакомых два солдата,  
желая наточить два топора  
для плотницких намерений стройбата.

К точильщику помчались. Мотоцикл —  
истопника, чей обречен затылок.  
Дождь моросил. А вот и магазин.  
Купили водки: дюжину бутылок.

— Куда вам столько, черти? — говорю, —  
показывала утром продавщица.  
Ответили: — Чтоб матушку твою  
нам помянуть, а после похмелиться.

Как воля весела и велика!  
Хоть и не всё меж ними ладно было.  
Истопнику любезная Ока  
для двух других — насильная чужбина.



Он вдвое старше и умнее их —  
не потому, чтоб школа их учила  
по-разному, а просто истопник  
усмешливый и едкий был мужчина.

Они — моложе вдвое и пьяней.  
Где видано, чтоб юность лебезила?  
Нелепое для пришлых их ушей,  
их раздражало имя Лебедина.

В удушливом насупленном уме  
был заперт гнев и требовал исхода.  
О том, что оставалось на холме,  
два беглеца не думали нисколько.

Как страшно им уберечь в лесах  
родимой жизни бедную непрочность.  
Что было в ней, чтоб так ее спасти  
в березовых, опасно-светлых рощах?

Когда субботу к нам послал восток,  
с того холма, словно дымок ленивый,  
воспыл души невзрачный завиток  
и повисел недолго над Ладыгой.

За сорок вёрст сыскался мотоцикл.  
Бег загнанный будет изловлен в среду.  
Хоть был нетрезв, кто топоры точил,  
возмездие шло по прямому следу.

Мой свет горит. Костер внизу погас.  
Пусть скрип чернил над непросохшим словом  
как хочет, так распутывает связь  
сюжета с непричастным рыболовом.

Отпустим спать чужую жизнь. Один  
рассудок лампы бодрствует в тумане.  
Ответствуй, Лебедин мой, Лебедин,  
что нужно смерти в нашей глухомани?

*Белла Ахмадулина*

Печальный от любви и от вина,  
уж спрашивает кто-то у рассвета:  
— Где, Лебедин, лебёдушка твоя?  
Идут века. Даль за Окой светла.  
И никакого не слышать ответа.

Май 1981—6 марта 1982

Таруса

## ПАЛЕЦ НА ГУБАХ

По улице крадусь. Кто бедный был Алферов,  
чьим именем она наречена? Молчи!  
Он не чета другим, замешанным в аферах,  
к владениям чужим крадущимся в ночи.

Весь этот косогор был некогда кладбищем.  
Здесь Та хотела спать... ненадобно! Не то —  
опять возьмутся мстить местам, ее любившим.  
Тсс: палец на губах! — забылось, пронесло.

Я летом здесь жила. К своей же тени в гости  
зачем мне не пойти? Колодец, здравствуй, брат.  
Алферов, будь он жив, не жил бы на погосте.  
Ах, не ему теперь гнушаться тем, что прах.

А вот и дом чужой: дом-схимник, дом-изгнанник.  
Чердачный тусклый круг — его зрачок и взгляд.  
Дом заточен в себя, как выйти — он не знает.  
Но, как душа его, вокруг свободен сад.

Сад падает в Оку обрывисто и узко.  
Но оглянулся сад и прянул вспять холма.  
Дом ринулся ко мне, из цепких стен рванулся —  
и мне к нему нельзя: забор, замо́к, зима.

Дом, сад и я — втроём причастны тайне важной.  
Был тих и одинок наш общий летний труд.  
Я — в доме, дом — в саду, сад — в сырости овражной,  
вдыхала сырость я — и замыкался круг.

*Белла Ахмадулина*

Фугляр, и медальон, и тайна в медальоне,  
и в тайне — тайна тайн, запретная для уст.  
Лишь смеркнется — всегда слетала к нам Тальони:  
то флоксов повисал прозрачно-пышный куст.

Террасу на восход — оранжевым каким-то  
затмили полотном, усилившим зарю.  
У нас была игра: где потемней накидка? —  
смеялась я, — пойду калитку отворю.

Пугались дом и сад. Я шла и отворяла  
калитку в нижний мир, где обитает тень, —  
чтоб видеть дом и сад из глубины оврага  
и больше ничего не видеть, не хотеть.

Оранжевый, большой, по прозвищу: мещанский —  
волшебный абажур сиял что было сил.  
Чтобы террасы цвет был совершенно счастлив,  
оранжевый цветок ей сад преподносил.

У нас — всегда игра, у яблони — работа.  
Знал беспризорный сад и знал бездомный дом,  
что дом — не для житья, что сад — не для obroka,  
что дом и сад — для слёз, для праведных трудов.

Не ждали мы гостей, а наезжали если —  
дом лгал, что он — простак, сад начинал грустить  
и делал вид, что он печется о семействе  
и надобно ему идти плодоносить.

Съезжали! — и тогда, как принято: от печки —  
пускались в пляс все мы и тени на стене.  
И были в эту ночь прилежны и беспечны  
мой закадычный стол и лампа на столе.

Еще там был чердак. Пока не вовсе смерклось,  
дом, сад и я — на нём летали в даль, в поля.  
И белый парус плыл: то Бёховская церковь,  
чтоб нас перекрестить, через Оку плыла.

Вот яблони труды завершены. Для зренья  
прелестны их плоды, но грустен тот язык,  
которым нам велят глухие ударенья  
с мгновеньем изжитым прощаться каждый миг.

Тальони, дождь идет, как вам снести понурость?  
Пока овраг погряз в заботах о грибах,  
я книгу попрошу, чтоб Та сюда вернулась,  
чьи эти дом и сад... тсс: палец на губах.

К делам других садов был сад не любопытен.  
Он в золото облек тот дом внутри со мной  
так прочно, как в предмет вцепляется эпитет.  
(В саду расцвел пример: вот шар, он — золотой.)

К исходу сентября приехал наш хозяин,  
вернее, только их. Два ужаса дрожат,  
склоняясь перед тем, кто так и не узнает,  
какие дом и сад ему принадлежат.

На дом и сад моя слеза не оглянулась.  
Давно пора домой. Но что это: домой?  
Вот почему среди всех на свете сущих улиц  
мне Ваша так мила, Алферов милый мой.

Косится домосед: что здесь проходим надо?  
кто низко так глядит, как будто он горбат?  
То — я. Я ухожу от дома и от сада.  
Навряд ли я вернусь. Тсс: палец на губах...

Февраль—март 1982

Таруса

## СИРЕНЕВОЕ БЛЮДЦЕ

Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.  
У слабоумья есть застенчивый секрет:  
оно влюбилось в чушь раскрашенного блюда,  
в уродливый узор, в уродицу сирень.

Куст-увалень, холма одышливый вельможа,  
какой тебя вписал невежа садовод  
в глухую ночь мою и в тот, из Велегожа  
идуший, грубый свет над льдами окских вод?

Нет, дальше, нет, темней. Сирень не о сирени  
со мною говорит. Бесхитростный фарфор  
про детский цвет полей, про лакомство сурепки  
навязывает мне насильно-кроткий вздор.

В закрытые глаза — уездного музея  
вдруг смотрит натюрморт, чьи ожили цветы,  
и бабушки моей клубится бумазея,  
иль как зовут крыла старинной нищеты?

О, если б лишь сирень! — я б вспомнила окраин  
сады, где посреди изгоев и кутил  
жил сбивчивый поэт, книгóчий и архаик,  
себя нарекший в честь прославленных куртин.

Где бедный мальчик спит над чудною могилой,  
не помня: навсегда или на миг уснул, —  
поэт Сиренев жил, цветущий и унылый,  
не принятый в журнал для письменных услуг.

Он сразу мне сказал, что с этими и с теми  
людьми он крайне сух, что дни его придут:  
он станет знаменит, как крестное растение.  
И улыбалась я: да будет так, мой друг.

Он мне дарил сирень и множества сонетов,  
белели здесь и там их пышные венки.  
По вечерам — живей и проще жил Сиренев:  
красавицы садов его к Оке влекли.

Но всё ж он был гордец и в споре неуступчив.  
Без славы — не желал он продолженья дней.  
Так жизнь моя текла, и с мальчиком уснувшим  
являлось сходство в ней всё ярче и грустней.

Я съехала в снега, в те, что сейчас сгорели.  
Где терпит мой поэт влияния весны?  
Фарфоровый портрет веснушчатой сирени  
хочу я откупить иль выкрасть у казны.

В моём окне висит планет тройное пламя.  
На блюде роковом усталый чай остыл.  
Мне жаль твоих трудов, доверчивая лампа.  
Но, может, чем умней, тем бесполезней стих.

Февраль—март 1982

Таруса

## ДЕНЬ-РАФАЭЛЬ

*Чабуа Амирэджиби*

Пришелец День, не стой на розовом холме!  
Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила.  
Зачем ты снизошел к оврагам и ко мне?  
Я узнаю тебя. Ты родом из Урбино.

День-Божество, ступай в Италию свою.  
У нас еще зима. У нас народ балует.  
Завистник и горбун, я на тебя смотрю,  
и край твоих одежд мой тайный гнев целует.

Ах, мало оспы щёк и гнилости в груди,  
еще и кисть глупа и краски непослушны.  
День-Совершенство, сгинь! Прочь от греха уйди!  
Здесь за корсаж ножи всегда кладут пастушки.

Но ласково глядел Богоподобный День.  
И брату брат сказал: „Брат досточтимый, здравствуй!”  
Престольный праздник трёх окрестных деревень  
впервые за века не завершился дракой.

Неузнанным ушел День-Свет, День-Рафаэль.  
Но мертвый дуб расцвел средь ровных долины.  
И благостный закат над нами розовел.  
И странники всю ночь крестились на руины.

Февраль—март 1982

Таруса



## САД-ВСАДНИК

За этот ад,  
за этот бред  
пошли мне сад  
на старость лет.

*Марина Цветаева*

Сад-всадник летит по отвесному склону.  
Какое сверканье и буря какая!  
В плаще его черном лицо мое скрою,  
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.  
Вовек не бывало столь позднего часа,  
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,  
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?  
Где конь отыскался для всадника сада?  
И нет никого, но приходится с каждым  
о том толковать, чего знать им не надо.

Сад-всадник свои покидает уголья,  
и гриву коня в него ветер бросает.  
Одною рукою он держит поводья,  
другою мой страх на груди упасает.

О сад-охранитель! Невиданно львиный  
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?  
— Не бойся! То — длинный туман над равниной,  
то — желтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:  
— Презренный младенец за пазухой отчей!  
Короткая гибель под царскою лаской —  
навечнее пагубы денной и ночной.

*Белла Ахмадулина*

О всадник родитель, дай тьмы и теплыни!  
Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!  
С хвостом и в короне смеется: — Толпы ли,  
твои ли то речи, избранник-ошибка?

Другим не бывает столь позднего часа.  
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.  
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!  
Сад-всадник мне шепчет: — Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель  
на тихой вершине отвесного склона.  
О сад мой, заботливый мой погубитель!  
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он — сад, а не всадник,  
что слово Лесного Царя отвертимо.  
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:  
всё было дано, а судьбы не хватило.

Сад дважды играет с обрывом родимым:  
с откоса в Оку, как пристало изгою,  
летит он нырлящиком необратимым  
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью черной,  
в завременье позднем, сад-всадник несется.  
Ребенок, Лесному Царю обреченный,  
да не убоится, да не упасется.

Февраль—март 1982

Таруса

## СМЕРТЬ СОВЫ

Кривая Нинка: нет зубов, нет глаза.  
При этом — зла. При этом... Боже мой,  
кем и за что наведена проказа  
на этот лик, на этот край глухой?

С получки загуляют Нинка с братом —  
подробности я удержу в уме.  
Брат Нинку бьет. Он не рожден горбатым:  
отец был строг, век вековал в тюрьме.

Теперь он, слышно, старичок степенный —  
да не пускают дети на порог.  
И то сказать: наш километр — сто первый.  
Злодеи мы. Нас не жалеет Бог.

Вот не с получки было. В сени к Нинке  
сова внеслась. — Ты не коси, а вдарь!  
Ведром ее! Ей — смерть, а нам — поминки.  
На чучело художник купит тварь.

И он купил. Я относила книгу  
художнику и у его дверей  
посторонилась, пропуская Нинку,  
и, как всегда, потупилась при ней.

Не потому, что уродились розно, —  
наоборот, у нас судьба одна.  
Мне в жалостных чертах ее уродства  
видна моя погибель и вина.

*Белла Ахмадулина*

Вошла. Безумье вспомнило: когда-то  
мне этих глаз являлась нагота.  
В два нежных, в два безвыходных агата  
смерть Божества смотрела — но куда?

Умеет так, без направленья взгляда,  
звезда смотреть, иль то, что ей сродни  
то, старшее, чему уже не надо  
гадать: в чём смысл? — отверстых тайн среди.

Какой ценою ни искупим — вряд ли  
простит нас Тот, кто нарядил сову  
в дрожь карих радуг, в позолоту ряби,  
в беспомощную белизну свою.

Очнулась я. Чтобы столиц приветы  
достигли нас, транзистор поднял крик.  
Зловещих лиц пригожие портреты  
повсюду улыбались вкось и вкривь.

Успела я сказать пред расставаньем  
художнику: — Прощайте, милый мэтр.  
Но как вы здесь? Вам, с вашим рисованьем, —  
поблажка наш сто первый километр.

Взамен зари — незнаемого цвета  
знак розовый помедлил и погас,  
словно вопрос, который ждал ответа,  
но не дождался и покинул нас.

Жива ль звезда, я думала, что длится  
передо мною и вокруг меня?  
Или она, как доблестная птица,  
умеет быть прекрасна и мертва?

Смерть: сени, двух уродов перебранка —  
но невредимы и горды черты.  
Брезгливости посмертная осанка —  
последний труд и подвиг красоты.

В ночи трудился сотворитель чучел.  
К нему с усмешкой придвигался ад.  
Вопль возносился: то крушил и мучил  
сестру кривую синегорбый брат.

То мыслью занимаюсь я, то ленью.  
Не время ль съехать в прежний неуют?  
Всё медлю я. Всё этот край жалею.  
Всё кажется, что здесь меня убьют.

Февраль—март 1982

Таруса

## ГРЕБЕННИКОВ ЗДЕСЬ ЖИЛ...

*Евгению Попову*

Гребенников здесь жил. Он был богач и плут,  
и километр ему не повредил сто первый.  
Два дома он имел, а пил, как люди пьют,  
хоть людям говорил, что оснащен „торпедой”.

Конечно, это он бахвалился, пугал.  
В беспамятстве он был холодным, дальновидным.  
Лафитник старый свой он называл: бокал —  
и свой же самогон именовал лафитом.

Два дома, говорю, два сада он имел,  
два пчельника больших, два сильных огорода  
и всё — после тюрьмы. Болтают, что расстрел  
сперва ему светил, а отсидел три года.

Он жил всегда один. Сберкнижки — тоже две.  
А главное — скопил характер знаменитый.  
Спал дома, а с утра ходил к одной вдове.  
И враждовал всю жизнь с сестрою Зинаидой.

Месткомом звал ее и членом ДОСААФ.  
Она жила вдали, в юдоли оскуденья.  
Всё б ничего, но он, своих годков достав,  
боялся, что сестре пойдут его владенья.

Пивная есть у нас. Ее зовут: метро,  
понятно не за шик, за то — что подземелье.  
Гребенников туда захаживал. — „Ты кто?” —  
спросил он мужика, терпящего похмелье.

Тот вспомнил: „Я – Петров”. – „Ну, – говорит, – Петров, хоть в майке ты пришел, в рубашке ты родился. Ты тракторист?” – „А то!” – „Двадцать тракторов тебе преподношу”. Петров не рассердился.

„Ты лучше мне поставь”. – „Придется потерпеть. Помру – тогда твои всемирные бокалы. Уж ты, брат, погудишь – в грядущем. А теперь подробно изложи твои инициалы”.

Петров или не Петров – не в этом смысл и риск. Гребенников – в райцентр. Там выпил перед щами. „Где, – говорит, – юрист?” – „Вот, – говорят, – юрист”. – „Юрист, могу ли я составить завещанье?” –

„Извольте, если вы – в отчетливом уме. Нам нужен документ”. – Гребенников всё понял. За паспортом пошел. Наведался к вдове. В одном из двух домов он быстротечно помер.

И в двух его садах, и в двух его домах, в сберкнижках двух его – мы видим Зинаиду. Ведь даже в двух больших отчетливых умах такую не вместить ошибку и обиду.

Гребенников с тех пор является на холм и смотрит на сады, где царствует сестрёнка. Уходит он всегда пред третьим петухом. Из смерти отпуск есть, не то, что из острога.

Так люди говорят. Что было делать мне? Пошла я в те места. Туманностью особой Гребенников мерцал и брезжил на холме. Не скажешь, что он был столь видною персоной.

„Зачем пришла?” – „Я к Вам имею интерес”. – „Пошла бы ты отсель домой, литература. Вы обещали нам, что справедливость – есть? Тогда зачем вам – всё, а нам – прокуратура?”

Приехал к нам один писать про край отцов.  
Все дети их ему хоромы возводили.  
Я каторгой учён. Я видел подлецов.  
Но их в сырой земле ничем не наградили.

Я слышал, как он врёт про лондонский туман.  
Потом привез комбайн. Ребятам, при начальстве,  
заметил: эта вещь вам всем не по умам.  
Но он опять соврал: распалась вещь на части”. —

„Гребенников, но я здесь вовсе ни при чём”. —  
„Я знаю. Это ты гноила летом угол  
меж двух моих домов. Хотел я кирпичом  
собачку постращать, да после передумал”. —

Я летом здесь жила, но он уже был мёртв.  
„Вот то-то и оно, вот в том-то и досада, —  
ответил телепат. — Зачем брала ты мёд  
у Зинки, у врага, у члена ДОСААФа?

Слышь, искупи вино. Там у меня в мешках  
хранится порошок. Он припасен для Зинки.  
Ты к ней на чай ходи и сыпь ей в чай мышьяк.  
Побольше дозу дай, а начинай — с дозинки”. —

„Гребенников, Вы что? Ведь Вы и так в аду?” —  
„Ну, и какая мне опасна перемена?  
Пойми, не деньги я всю жизнь имел в виду.  
Идея мне важна. Всё остальное — бренно”.

Он всё еще искал занятий и грехов.  
Наверно, скучно там, особенно сначала.  
Разрозненной в ночи ораве петухов  
единственным своим Пачёво отвечало.

Хоть исподволь, спроста наш тихий край живет,  
событья есть у нас, привыкли мы к утратам.  
Сейчас волнует нас движение полых вод,  
и тракторист Петров в них устремил свой трактор.



Он агрегат любил за то, что — жгуче-синь.  
Раз он меня катал. Спаслись мы Высшей силой.  
Петров был неимуш. Мне жаль расстаться с ним.  
Пусть в Серпухов плывет его кораблик синий.

Смерть пристально следит за нашей стороной.  
Закрыли вдруг „метро”. Тоскует люд смиренный.  
То мыслит не как все, то держит за спиной  
придирчивый кастет наш километр сто первый.

Читатель мой, прости. И где ты, милый друг?  
Что наших мест тебе печали и потехи?  
Но утешенье в том, что волен твой досуг.  
Ты детектив другой возьмешь в библиотеке.

Февраль—март 1982

Таруса

## ПЕЧАЛИ И ШУТОЧКИ: КОМНАТА

В ту комнату, где прошлою зимой  
я приютила первый день весенний,  
где мой царевич, оборотень мой,  
цвёл Ванька-мокрый, мокрый и воспетый...

Он и теперь стоит передо мной,  
мой конфидент и пристальный ревнивец.  
Опять полузимой-полувесной  
над ним слова моей любви роились.

Ах, Ванька мой, ты — все мои сады.  
Пусть мне простит твой добродушный гений,  
что есть другой друг сердца и судьбы:  
совсем другой, совсем не из растений.

Его любовь одна пеклась о том,  
чтоб мне дожить до правильного срока,  
чтоб из Худфонда позвонили в дом,  
где снова я добра и одинока.

Фамилии причудливой моей  
Наталия Ивановна не знала.  
Решила: из начальственных детей,  
должно быть, кто-то — не того ли зама,

он, помнится, башкир, как, бишь, его?  
И то сказать: так башковит, так въедлив.  
Ах, дока зам! Не знал он ничего  
и ведомством своим давно не ведал.

Так я втеснилась в стены и ковёр,  
которые мне были не по чину.  
В коротком отступлении кривом  
воздам хвалу опальному башкиру.

Меня и ныне всякий здесь зовет  
лишь Белочкой иль Белкой не случайно.  
Кто я? Зато здесь знаменит зверёк,  
созвучье с ним дороже величанья.

...В ту комнату, о коей разговор  
я начала по вольному влеченью,  
со временем вселился ревизор,  
уже по праву и по назначенью.

Его приезда цель — важна весьма:  
беспечный медик пропил изолятор.  
Но комната уже была умна,  
и ум ее смешался и заплакал.

Зачем ей медицинские весы  
и мысль о них? Не жаль ей аспирина.  
Она привыкла, чтобы в честь звезды  
я растворила кофе иль сварила.

Я думала: несчастный человек!  
Он пропадет: решился он на что же?  
Ведь в то окно, что двух других левей,  
привнесено мое лицо ночное.

А главное, восходное, окно!  
Покуда в нём главенствует Юпитер,  
что будет с бедным, посягает кто  
всего, что бренно, исчислять убыток?

Не говорю про алый абажур  
настойной лампы! По слепому полю  
тащусь к нему, бывало, и бешусь:  
так и следит, так и зовет в неволю.

*Белла Ахмадулина*

Любая вещь — задиристый сосед  
и сладит с постояльцем оробелым.  
Шкаф с домовым — и тот не домосед  
и рвется прочь со скрипом корабельным.

Но ревизор наружу выходил  
не часто и держался суверенно.  
Ключ повернув, он пил всегда один,  
что остальные знали достоверно.

Не ведаю, он помышлял о чём,  
подверженный влиянию роковому.  
Но срок истёк. И вот какой отчёт  
районному он подал прокурору:

„Похищены: весы, медикаменты  
и крыша зданья, но стропила целы.  
Вблизи комет несущихся — как мелки  
комедьи нищей ценности и цены.

Итог растраты: восемь тысяч. Впрочем,  
нулю он равен при надземном свете.  
Весь уцелевший инвентарь испорчен,  
но смысл его преувеличен в смете.

Числа не помню и не знаю часа.  
Налью цветку любезному водицы.  
Еще в окно мой дятел не стучался  
и не смеялся я в ответ: войдите!

Но Сириус уже в заочность канул.  
Я возлюбил его огня осанку.  
Кто без греха — пусть в грех бросает камень.  
А я — прощаюсь. Подаю в отставку”.

Той комнаты ковёр и небосвод  
жильцов склоняют к бреду и восторгу.  
В ней с той поры начальство не живет.  
Я заняла соседнюю светёлку.

А ревизор на самом деле пил  
один. Хищенья скромному герою  
суд не простил задумчивых стропил,  
таинственно не подпиравших кровлю.

В ту комнату я больше не хожу.  
Но комната ко мне в ночи крадется.  
По ветхому второму этажу  
гуляет дрожь, пол бедствует и гнется.

Люблю я дома маленькую жизнь,  
через овраг бредущую с кошёлкой.  
Вот наш пейзаж: пейзаж и пейзажист  
и солнце бьет в его этюдник желтый.

Здесь нет других прохожих — всяк готов  
хоть как-нибудь изобразить округу.  
Махну рукой: счастливых вам трудов! —  
и улыбнемся ласково друг другу.

Мы — ровня, и меж нами распри нет.  
Спаслись бы эти бедные равнины,  
когда бы лишь художник и поэт  
судьбу их беззащитную хранили.

Отъезд мой скорый мне внушает грусть.  
Страдает заколдованный царевич.  
Мой ненаглядный, я еще вернусь.  
Ты под опекой солнца уцелеешь.

Последней ласки просят у пера  
большие дни и вещи-попрошайки.  
Наталия Ивановна, пора!  
Душа моя, сердечный друг, прощайте.

Февраль—март 1982

Таруса

Воздух августа: плавность услад и услуг.  
Положенье души в убывающем лете  
схоже с каменным мальчиком, тем, что уснул  
грациозней, чем камни, и крепче, чем дети.

Так ли спит, как сказала? Пойду и взгляну.  
Это близко. Но трудно колени и локти  
провести сквозь дрожащую в листьях луну,  
сквозь густые, как пруд, сквозь холодные флоксы.

Имя слабо, но воля цветка такова,  
что навяжет мотив и нанижет подробность.  
Не забыть бы, куда я иду и когда,  
вперив нюх в самовластно взрослеющий образ.

Сквозь растенья, сквозь хлёсткую чащу воды,  
принимая их в жабры, трудясь плавниками,  
продираюсь. Следы мои возле звезды  
на поверхности ночи взошли пузырьками.

1982

Таруса

## ЗАБЫТЫЙ МЯЧ

Забыли мяч (он досаждал мне летом).  
Оранжевый забыли мяч в саду.  
Он сразу стал сообщником календул  
и без труда втесался в их среду.

Но как сошлись, как стройно потянулись  
друг к другу. День свой учредил зенит  
в календулах. Возможно, потому лишь,  
что мяч в саду оранжевый забыт.

Вот осени причина, вот зацепка,  
чтоб на костре учить от тьмы до тьмы  
ослушников, отступников от цвета,  
чей абсолют забыт в саду детьми.

Но этот сад! Чей пересуд зеленым  
его назвал? Он — поджигатель дач.  
Все хороши. Но первенство — за клёном,  
уж он-то ждал: когда забудут мяч.

Попался на нехитрую приманку  
весь огонь земной. И, судя по всему,  
он обыграет скромную ремарку  
о том, что мяч был позабыт в саду.

Давно со мной забытый мяч играет  
в то, что одна хожу среди осин,  
смотрю на мяч и нахожу огарок  
календулы. А вот еще один.

*Белла Ахмадулина*

Минувший полдень был на диво ясен  
и упростил неисчислимый быт  
до созерцанья важных обстоятельств:  
снег пал на сад и мяч в саду забыт.

2 октября 1982



Я лишь объём, где обитает что-то,  
чему малы земные имена.  
Сооруженье из костей и пота —  
его угодья, а не плоть моя.

Его не знаю я: смысл-незнакомец,  
вселившийся в чужую конуру —  
хозяев выжить, прятнуть в законность,  
не оглянуться, если я умру.

О слово, о несказанное слово!  
Оно во мне качается смелей,  
чем я, в светопротитье небосклона,  
качаюсь дрожью листьев и ветвей.

Каков окликнуть безымянность способ?  
Не выговору и не говорю...  
Как слово звать — у словаря не спросишь,  
покуда сам не скажешь словарю.

Мой притеснитель тайный и нетленный,  
ему в тисках известного — тесно́.  
Я растекаюсь, становлюсь вселенной,  
мы с нею заодно, мы с ней — одно.

Есть что-то. Слова нет. Но грозно кроткий  
исток его уже любовь исторг.  
Уж видно, как его грядущий контур  
вступается за братьев и сестёр.

Как это всё темно, как бестолково.  
Кто брат кому и кто кому сестра?  
Всяк всякому. Когда приходит слово,  
оно не знает дальнего родства.

Оно в уста целует бездыханность  
И вдох ответа — явен и велик.  
Лишь слово попирает бред и хаос  
и смертным о бессмертье говорит.

1982

## ЗВУК УКАЗУЮЩИЙ

Звук указующий, десятый день  
я жду тебя на паршинской дороге.  
И снова жду под полною луной.  
Звук указующий, ты где-то здесь.  
Пади в отверстой раны плодородье.  
Зачем таишься и следишь за мной?

Звук указующий, пусть велика  
моя вина, но велика и мука.  
И чей, как мой, тобою слух любим?  
Меня прощает полная луна.  
Но нет мне указующего звука.  
Нет звука мне. Зачем он прежде был?

Ни с кем моей луной не поделюсь,  
да и она другого не полюбит.  
Жизнь замечает вдруг, что — пред-мертва.  
Звук указующий, я предаюсь  
игре с твоим отсутствием подлунным.  
Звук указующий, прости меня.

29–30 марта 1983

Таруса

## НОЧЬ НА ТРИДЦАТОЕ МАРТА

В ночь на тридцатый марта день я шла  
в пустых полях, при ветреной погоде.  
Свой дальний звук к себе звала душа,  
луну раздобывая в небосводе.

В ночь полнолуния не было луны.  
Но где все мы и что случилось с нами  
в ночи, не обитаемой людьми,  
домишками, окошками, огнями?

Зиянья неба, сумрачно обняв  
друг друга, ту являли безымянность,  
которая при людях и огнях  
условно мирозданьем называлась.

Сквозило. Это ль спугивало звук?  
Четыре воли в поле, как известно.  
И жаворонки всплакивали вдруг  
в прозрачном сне — так нежно, так прелестно.

Пошла назад, в ту сторону, в какой  
в кулисах тьмы событие созревало.  
Я занавес, повисший над Окой,  
в сокрытии луны подозревала.

И, маленький, меня окликнул звук —  
живого неба воля и взаимность.  
И прыгнула, как из веков разлук,  
луна из туч и на меня воззрилась.

Внизу, вдали, под полною луной  
алел огонь бесхитростного счастья:  
приманка лампы, возожженной мной,  
чтоб веселее было возвращаться.

31 марта 1983

Таруса

Зачем он ходит? Я люблю одна  
быть у луны на службе обожанья.  
Одною мной растрочена луна.  
Три дня назад она была большая.

Ее размер не мною был возвращен.  
Мы свиделись — она была огромна.  
Я неусыпным выпила зрачком  
треть совершенно полного объема.

Я извела луну на пустыаки.  
Беспечен ум, когда безумны ноги.  
Шесть километров вдоль одной строки:  
бег-бред ночной по паршинской дороге.

Вчера бочком вошла в мое окно.  
Где часть ее — вдруг лучшая? Неужто  
всё это я? Не жёг другой никто  
ее всю ночь, не дожигал наутро.

Боюсь узнать в апреля первый день,  
что станет с ее недавней статью.  
Так изнуряет издали злодей  
невинность черт к ним обращенной страстью.

Он только смотрит — в церкви, на балу.  
Молитвенник иль веер упадет  
из дрожи рук. Не дав им на полу  
и миг побыть, ее жених страдает.

Он смотрит, смотрит — сквозь отверстие стен,  
в кисейный мир, за возбраненный полог.  
В лик непорочный многознанья тень  
привнесена. Что с ней — она не помнит.

Он смотрит. Как осунулось лицо.  
И как худа. В нём — холодок свободы.  
Вот жениху возвращено кольцо.  
Всё кончено. Ее везут на воды.

Оплачу вкратце косвенный сюжет,  
наскучив им. Он к делу не пригоден.  
Я жду луну и завожу брегет.  
Зачем ко мне он все-таки приходит?

— Кто к Вам приходит? И брегет при чём?  
— А Вы-то кто? Вас нет, и не пристало  
Вам задавать вопросы. Кто прочел  
заране то, чего не написала?

Придуман мной лишь этот оппонент.  
Нет у меня загадок без разгадок.  
Живой и часто плачущий предмет —  
брегет — мне добрый подарил Рязанов.

Приходит же... не бил ли он собак?  
Он пустомелит, я храню молчанье.  
Но пёс во мне, хоть принужден солгать,  
загривок дыбит и таит рычанье.

О нет, не преступаю я границ  
приличья, но разросшийся вокруг сердца  
ветвистый самовластный организм  
не переносит этого соседства.

Идет! Часов непрочный голосок  
берет он в руки. Бедный мой брегетик!  
Я надвигаю тучу на восток,  
чтоб он луны хотя бы не приметил.

*Белла Ахмадулина*

И падает, и гибнет мой брегет!  
Луны моей сообщник и помощник,  
он распевал всегда под лунный свет,  
он был — как я, такой же полуночник.

Виновник так подавлен и смущен,  
что я ему прощаю незадачу.  
Удостоверюсь, что сосед ушел,  
смеюсь над тем, как безутешно плачу.

В запасе есть не певчие часы.  
Двенадцать ровно — и нисколько пенья.  
И нет луны, хоть небеса ясны.  
Как грубо шутит первый день апреля!

Пускаюсь в путь обычный. Ход планет  
весь помещен над паршинской дорогой.  
В час пополуночи иду по ней,  
строки вот этой спутник одинокий.

Вот здесь, при мне, живет мое „всегда”.  
В нём погостить при жизни — редкий случай.  
Смотрю извне, как из небес звезда,  
на сей свой миг, еще живой и сущий.

Так странен и торжествен этот путь,  
как будто он принадлежит чему-то  
запретному: дозволено взглянуть,  
но велено не разгласить под утро.

Иду домой. Нимало нет луны.  
А что ж герой бессвязного рассказа?  
Здесь взгорбье есть. С него глаза длинны.  
Гость с комнатой моею не расстался.

Вон мой огонь. Под ним — мои стихи.  
Вон силуэт читателя ночного.  
Он, значит, до какой дошел строки?  
Двенадцать было. Стало полвторого.



Ау! Но Вы обидеться могли  
на мой ответ придвинутым планетам.  
Вас занимают выдумки мои?  
Но как смешно, что дело только в этом.

Простите мне! Стихи всегда приврут.  
До тайн каких Вы ищете дознаться?  
Расстанемся, мой простодушный друг,  
в стихах — навек, а наяву — до завтра.

Семь грустных дней безлунью моему.  
Брежет молчит. В природе — дождь и холод.  
И так темно, так боязно уму.  
А где сосед? Зачем он не приходит?

1–2, 8 апреля 1983

Таруса

Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме:  
то темный день густел в редеющих темнотах.  
Проснулась я в слезах с Державиным в уме,  
в запутанных его и заспанных тенётах.

То ль это мысль была невидимых светил  
и я поймала сон, ниспосланный кому-то?  
То ль Пушкин нас сводил, то ль сам он так шутил,  
то ль вспомнила о нём недалёная Калуга?

Любовь к нему и грусть влекли меня с холма.  
Спешили петухи сообщничать иль спорить.  
Вставала в небесах Державину хвала,  
и целый день о нём мне предстояло помнить.

20 апреля 1983

Таруса

## ЛУНЕ ОТ РЕВНИВЦА

Явилась, да не вся. Где пол твоей красы?  
Но ломаной твоей полушки полулунной  
ты мне не возвращай. Я — вор твоей казны,  
сокрывшийся в лесах меж Тулой и Калугой.

Бессонницей моей тебя обобрала,  
всё золото твое в сусеках схоронившей,  
и месяца ждала, чтоб клянчить серебра:  
всегда он подавал моей ладони нищей.

Всё так. Но внове мне твой нынешний ущерб.  
Как потрепал тебя соперник мой подлунный!  
В апреля третий день за Паршино ушел,  
чьей далее была вселенскою подругой?

У нас — село, у вас — селение свое.  
Поселена везде, ты выбирать свободна.  
Что вечности твоей ничтожность дня сего?  
Наскучив быть всегда, пришла побыть сегодня?

Где шла твоя гульба в семнадцати ночах?  
Не вздумай отвечать, что — в мирозданье где-то.  
Я тоже в нём. Но в нём мой драгоценен час:  
нет времени вникать в расплывчатость ответа.

Без помощи моей кто свёл тебя на нет?  
Не лги про тень земли, иль как там по науке.  
Я не учёна лгать и округлю твой свет,  
чтоб стала ты полней, чем знает полнолуние.

*Белла Ахмадулина*

Коль скоро у тебя другой какой-то есть  
влюбленный ротозей и воздыхатель пылкий, —  
всё возверну тебе! Мне щедрости не счесть.  
Разгула моего будь скаредной копилкой.

Коль жаждешь — пей до дна черничный сок зрочка  
и приторность чернил, к тебе подобострастных.  
Покуда я за край растраты не зашла,  
востребуй бытия пленительный остаток.

Не поспешишь — бери питанье от ума,  
пославшего тебе свой животворный лучик.  
Исчадие мое, тебя моя луна,  
какой наследный взор в дар от меня получит?

Кто в небо поглядит и примет за луну  
измыслие мое, в нём не поняв нисколько?  
Осыплет простака мгновенное „люблю!”,  
которое в тебя всей жизнью врифмовала.

Заранее смешно, что смертному зрочку  
дано через века разиню огорошить.  
Не для того ль тебя я рыщу и — ращу,  
как непомерный плод тщеславный огородник?

Когда найду, что ты невиданно кругла, —  
за Паршино сошлю, в небесный свод заочный,  
и ввысь не посмотрю из моего угла.  
Прощай, моя луна! Будь вечной и всеобщей.

И веки притворю, чтобы никто не знал  
о силе глаз, луну, словно слезу, исторгших.  
Мой бесконечный взгляд всё будет течь назад,  
на землю, где давно иссяк его источник.

20–24 апреля 1983

Таруса

## ПАШКА

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.  
Конфетами отравлен. Одинок.  
То зацелуют, то задвинут в угол.  
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.

Учён вину. Пьют: мамка, мамкин Дядя  
и бабкин Дядя — Жоржик-истопник.  
— А это что? — спросил, на книгу глядя.  
Был очарован: он не видел книг.

Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.  
Она, пожалуй, крепче прочих пьет.  
В Калуге мы, но вскрикивает Липецк  
из недр ее, коль песню запоем.

Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.  
Кромешность прятков. Лампа ждет меня.  
Но что мне делать? Слушай: „Буря мглою...”  
Теперь садись. Пиши: эМ — А — эМ — А.

Зачем всё это? Правильно ли? Надо ль?  
И так над Пашкой — небо, буря, мгла.  
Но как доверчив Пашка, как понятлив.  
Как грустно пишет он: эМ — А — эМ — А.

Так мы сидим вдвоём на белом свете.  
Я — с черной тайной сердца и ума.  
О, для стихов покинутые дети!  
Нет мочи прочитать: эМ — А — эМ — А.

*Белла Ахмадулина*

Так утекают дни, с небес роняя  
разнообразье еженощных лун.  
Диковинная речь, ему родная,  
плениет и меняет Пашкин ум.

Меня повсюду Пашка ждет и рыщет.  
И кличет Белкой, хоть ни разу он  
не виделся с моею тёзкой рыжей:  
здесь род ее прилежно истреблен.

Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка  
не раз оплакал лютую их смерть.  
Вообще, наш люд настроен рукопашно,  
хоть и живет смиренных далей средь.

Вчера: писала. Лишь заслышав: Белка! —  
я резво, как одноименный зверь,  
своей проворной подлости робея,  
со стула — прыг и спряталась за дверь.

Значенье прятков сразу же постигший,  
я этот взгляд вспомню в крайний час.  
В щель поместился старший и простивший,  
скорбь всех детей вобравший, Пашкин глаз.

Пустился Пашка в горький путь обратный.  
Вослед ему всё воинство ушло.  
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий  
и с ними дактиль. Что там есть еще?

23 апреля (и ночью) 1983

Таруса

## ПАЧЁВСКИЙ МОЙ

— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль  
занятым скушным называть апрель?  
Всё сущее, свой вид и род возможив,  
с утра в трудах, как дружная артель.

Изменник-ум твердит: „Весной я болен”, —  
а сам здоров, и всё ему смешно,  
когда иду подглядывать за полем:  
что за ночь в нём произошло-взошло.

Во всякий день — новёхонький, почетный  
гость маленький выходит из земли.  
И, как всегда, мой верный, мой Пачёвский,  
лишь рассветет — появится из мглы.

— Он, что же, граф? Должно быть, из поляков?  
— Нет, здешний он, и мной за то любим,  
что до ничтожных титулов не лаком,  
хотя уж он-то — не простолюдин.

— Из столбовых дворян? — Вот это ближе. —  
Так весел мой и непомерен смех:  
не нагляжусь сквозь брызнувшие блики  
на белый мой, на семицветный свет.

— Он, видите ли... не могу! — Да полно  
смеяться Вам. Пачёвский — кто такой?  
— Изгой и вместе вседержитель поля,  
он вхож и в небо. Он — Пачёвский мой.

*Белла Ахмадулина*

— Но кто же он? Ваши слова окольные.  
Не так уж здоров Ваш бедный ум весной.  
— Да Вы-то кто? Зачем так бестолковы?  
А вот и сам он — столб Пачёвский мой.

Так много раз, что сбились мы со счёта,  
мой промельк в поле он имел в виду.  
Коль повелит — я поверну в Пачёво.  
Пропустит если — в Паршино иду.

Особенно зимою, при метели,  
люблю его заполучить привет,  
иль в час, когда две наших сирых тени  
в союз печальный сводит лунный свет.

Чтоб вдруг не смыл меня приборой вселенной  
(здесь крут обрыв, с которого легко  
упасть в созвездья), мой Пачёвский верный  
ниспослан мне, и время продлено.

Строки моей потатчик и попутчик,  
к нему приникших пауз властелин,  
он ждёт меня, и бездна не получит  
меня, покуда мы вдвоём стоим.

24–29 апреля 1983

Таруса



Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен.  
Он так и полагал, поскольку люто-свежий  
к нам вечер шел с Оки. А всё же это он  
мне веточку принес черемухи расцветшей.

В Ладыжине, куда он по вино ходил,  
чтобы ослабить мысль любви неразделенной,  
черемухи цветок, пока еще один,  
очнулся и глядел на белый свет зеленый.

За то и сорван был, что прежде всех расцвел,  
с кем словно не в родстве, а в сдержанном соседстве.  
Зачем чужой любви сторонний произвол  
летает мимо нас, но уязвляет сердце?

Уехал Звёздкин вдруг, единственный этюд  
не дописав. В сердцах порвал его — и ладно.  
Он, говорят, — талант, а таковые — пьют.  
Лишь гений здрав и трезв, хоть и не чужд таланта.

Со Звёздкиным едва ль мы свидимся в Москве.  
Как робкая душа погибшего этюда —  
таинственный цветок белеет в темноте  
и Звёздкину вослед еще глядит отсюда.

Власть веточки моей в ночи так велика,  
так зрим печальный чад. И на исходе суток  
содеян воздух весь энергией цветка,  
и что мои слова, как не его поступок?

28—29 апреля 1983

Таруса

*Белла Ахмадулина*

## НОЧЬ НА 30-е АПРЕЛЯ

Брат-комната, где я была — не спрашивай.  
Ведь лунный свет — уже не этот свет.  
Не в Паршино хожу дорогой паршинской,  
а в те места, каким названья нет.

Там у земли всё небесами отнято.  
Допущенного в их разъятый свод  
охватывает дрожь чужого опыта:  
он — робкий гость своих посмертных снов.

Вблизи звезда сияет неотступная,  
и нет значений мельче, чем звезда.  
Смущенный зритель своего отсутствия  
боится быть не нынче, а всегда.

Не хочет плоть живучая, лукавая  
про вечность знать и просится домой.  
Беда моя, любовь моя, луна моя,  
дай дотянуть до бренности дневной.

Мне хочется простейшего какого-то  
нравоученья вещи и числа:  
вот это, дескать, лампа, это — комната.  
Тридцатый день апреля: два часа.

Но ничему не верит ум испуганный  
и малых величин не узнаёт.  
Луна моя, зачем втесняешь в угол мой  
свои пожитки: ночь и небосвод?

В ночь на 30 апреля 1983  
Таруса

Так дружно весна начиналась: все други  
дружины вступили в сады-огороды.  
Но, им для острастки и нам для науки,  
сдружились суровые силы природы.

Апрель, благодетельный к сирым и нищим,  
явился южанином и инородцем.  
Но мы по привычке к зиме и не ищем  
потачки его. Обойдемся норд-остом.

Снега, отступив, нам прибавили славы.  
Вот — землечерпалка со дна половодья  
взошла, чтоб возглавить величие свалки,  
насушной, поскольку субботник сегодня.

Но сколько же ярко цветущих коррозий,  
диковинной, миром не знаемой, гнили  
смогли мы содейть за век наш короткий,  
чтоб наши наследники нас не забыли.

Субботник шатается, песню поющий.  
Приёмник нас хвалит за наши свершенья.  
При лютой погоде нам будет сподручней  
приветить друг в друге черты вырожденья.

А вдруг нам откликнутся силы взаимны  
пространства, что смотрит на нас обреченно?  
Субботник окончен. Суббота — в зените.  
В Тарусу я следую через Пачёво.

Но всё же какие-то русские печи  
радеют о пище, исходят дымами.  
Еще из юдоли не выпрягли плечи  
пачёвские бабки: две Ньюры, две Мани.

За бабок пачёвских, за эти избушки,  
за кладни, за желто-прозрачную иву  
кто просит невидимый: о, не забудь же! —  
неужто отымут и это, что иму?

Деревня — в соседях с нагрянувшей дурью  
захватчиков неприкасаемой выси.  
Что им-то нейметя? В субботу худую  
напрасно они из укрытия вышли.

Буксуют в грязи попиратели неба.  
Мои сапоги достигают Тарусы.  
С Оки задувает угрозою снега.  
Грозу предрекают пивной златоусты.

Сбывается та и другая растрата  
небесного гнева. Знать, так нам и надо.  
При снеге, под блеск грозового разряда,  
в „Оке”, в заведенье второго разряда,  
гуляет электрик шестого разряда.  
И нет меж событиями сими разлада.

Всем путникам плохо, и плохо рессорам.  
А нам — хорошо перекинуться словом  
в „Оке”, где камин на стене нарисован,  
в камин же — огонь возожженный врисован.

В огне дожигает последок зарплаты  
Василий, шестого разряда электрик.  
Сокроюсь, коллеги и лауреаты,  
в содружество с ним, в просторечье элегий.

Подале от вас! Но становится гулок  
субботы разгул. Поищу-ка спасенья.

Вот этот овраг назывался: Игумнов.  
Руины над ним — это храм Воскресенья.

Где мальчик заснул знаменитый и бедный  
нежнее, чем камни, и крепче, чем дети,  
пошли мне, о Ты, на кресте убиенный,  
надежду на близость Пасхальной недели.

В Алексин иль в Серпухов двинется если  
какой-нибудь странник и после вернется,  
к нам тайная весть донесется: Воскресе!  
— Воистину! — скажем. Так всё обойдется.

Апрель 1983

Таруса

## ДРУГ СТОЛБ

*Георгию Владимову*

В апреля неделю худую, вторую,  
такую тоскою с Оки задувает.  
Пойду-ка я через Пачёво в Тарусу.  
Там нынче субботу народ затевает.

Вот столб, возглавляющий путь на Пачёво.  
Балетным двуножьем упершийся в поле,  
он стройно стоит, помышляя о чём-то,  
что выше столбам уготованной роли.

Воспет не однажды избранник мой давний,  
хождений моих соглядатай заядлый.  
Моих со столбом мимолетних свиданий  
довольно для денных и ночных занятий.

Все вёрсты мои сосчитал он и звёзды  
вдоль этой дороги, то выюжной, то пыльной.  
Друг столб, половина изъята из вёрстки  
метелей моих при тебе и теплыней.

О том не кручинюсь. Я просто кручинюсь.  
И коль не в Тарусу — куда себя дену?  
Какой-то я новой тоске научилась  
в худую вторую апреля неделю.

И что это — вёрстка? В печальной округе  
нелепа обмолвка заумных угодий.  
Друг столб, погляди, мои прочие други —  
вон в той стороне, куда солнце уходит.

Последнего вскоре, при аэродроме,  
в объятье на миг у судьбы уворую.  
Все силы устали, все жилы продрогли.  
Под клики субботы вступаю в Тарусу.

Всё это, что жадно вспомню я после,  
заране известно столбу-конфиденту.  
Сквозь слёзы смотрю на пачёвское поле,  
на жизнь, что продлилась еще на неделю

Уж Сириус возголубел над долиной.  
Друг столб о моём возвращенье печется.  
Я, в радости тайной и неодолимой,  
иду из Тарусы, минуя Пачёво.

Апрель 1983

Таруса

Как много у маленькой музыки этой  
завистников: все так и ждут, чтоб ушла.  
Теснит ее сборища гомон несметный  
и поедом ест приживалка нужда.

С ней в тяжбе о детях сокрытая му́ка —  
виновной души неусыпная тень.  
Ревнивая воля пугливого звука  
дичится обобранных ею детей.

Звук хочет, чтоб вовсе был узок и скуден  
сообщников круг: только стол и огонь  
настольный. При нём и собака тоскует,  
мешает, затылок суёт под ладонь.

Гнев маленькой музыки, загнанной в нети,  
отлучки ее бытию не простит.  
Опасен свободно гуляющий в небе  
упущенный и неприкаянный стих.

Но где все обидчики музыки этой,  
поправшей величье житейских музЫк?  
Наивный соперник ее безответный,  
укройся в укрытье, в изгой изыдь.

Для музыки этой возможных нашествий  
возлюбленный путник пускается в путь.  
Спроважен и малый ребенок, нашедший  
цветок, на который не смею взглянуть.



О путнике милом заплакать попробуй,  
попробуй цветка у себя не отнять —  
изведаешь маленькой музыки робкой  
острастку, и некому будет пенять.

Чтоб музыке было являться удобней,  
в чужом я себя заточила дому.  
Я так одинока среди сирых угодий,  
как будто не есмь, а мерещусь уму.

Черемухе быстротекущей внимая,  
особенно знаю, как жизнь не прочна.  
Но маленькой музыке этого мало:  
всех прочь прогнала, а сама не пришла.

3 мая 1983

Таруса

## СМЕРТЬ ФРАНЦУЗОВА

Вот было что со мной, что было не со мною:  
черемуха всю ночь в горячке и бреду.  
Сказала я стихам, что я от них сокрою  
больной ее язык, пророчащий беду.

Красавице моей, терзаемой ознобом,  
неможется давно, округа ей тесна.  
Весь воздух небольшой удушливо настоян  
на доводе, что жизнь — канун небытия.

Черемухи к утру стал разговор безумен.  
Вдруг слышу: голоса судачат у окна.  
— Эй, — говорю, — вы что? — Да вот, Французов умер.  
Веселый вроде был, а не допил вина.

Французов был маляр. Но он, определенно,  
воспроизвел в себе бравурные черты  
заблудшего в снегах пришельца жантильома,  
побывшего в плену калужской простоты.

Товарищей его дразнило, что Французов  
плодовому вину предпочитал коньяк.  
Остаток коньяка плеснув себе в рассудок,  
послали за вином: поминки как-никак.

Никто не горевал. Лишь паршинская Маша  
сказала мне потом: — Жалкую я о нём.  
Всё Пасхи, бедный, ждал. Твердил, что участь наша  
продлится в небесах, — и сжѐг себя вином.

Французов был всегда настроен супротивно.  
Чужак и острослов, он вытеснен отсель.  
Летит его душа вдоль слабого пунктира  
поверх калужских рощ куда-нибудь в Марсель.

Увозят нищий гроб. Жена не захотела  
приехать и простить покойнику грехи.  
Черемуха моя еще не облетела.  
Иду в ее овраг, не дописав стихи.

5–7 мая 1983

Таруса

## ЦВЕТЕНИЙ ОЧЕРЕДНОСТЬ

Я помню, как с небес день тридцать первый марта,  
весь розовый, сошел. Но, чтобы не соврать,  
добавлю: в нём была глубокая помарка —  
то мраком исходил ладыжинский овраг.

Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта  
счастливые слова оврагу удались,  
явился и сказал, что медуница эта  
пришла в обгон не столь проворных медуниц.

Я долго на нее смотрела с обожаньем.  
Кто милому цветку хвалы не воздавал  
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:  
он совершенно синь, но он лилов и ал.

Что медунице люб соблазн зари ненастной  
над Паршином, когда в нём завтра ждут дождя,  
заметил и словарь, назвав ее „неясной”:  
окрест, а не на нас глядит ее душа.

Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.  
И вот уже прострел, забрав себе права  
глагола своего, не промахнулся — вырос  
для цели забытья, ведь это — сон-трава.

А далее пошло: пролесники, пролески,  
и ветреницы хлад и поцелуйный яд —  
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,  
отравленные ей, уста благословят.

Так провожала я цветений очерёдность,  
но знала: главный хмель покуда не почат.  
Два года я ждала ладыжинских черемух.  
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?

На этот раз весна испытывать терпенья  
не стала — все долги с разбегу раздала,  
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля —  
черемуха по всей округе расцвела.

То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —  
и разум поврежден движеньем круговым.  
Уже неделя ей. Но — дрёма, но — истома,  
и я не объяснюсь с растеньем роковым.

Зачем мне так грустны черемухи наитья?  
Дыхание ее под утро я приму  
за вкрадчивый привет от важного события,  
с чьим именем играть возбранено перу.

5—8 мая 1983

Таруса

Тринадцатый с тобой я встретила восход.  
В затылке тяжела твоих внушений залежь.  
Но что тебе во мне, влиятельный цветок,  
и не ошибся ль ты, что так меня терзаешь?

В твой задушевный яд — хлад зауми моей  
влюбился и впился, и этому-то делу  
покорно предаюсь подряд тринадцать дней  
и мысль не укорю, что растеклась по дереву.

Пришелец дверь мою не смог бы отворить,  
принявши надых твой за супротивный бицепс.  
И незачем входить! Здесь — круча и обрыв.  
Пришелец, отступись! Обрыв и сердце, сблизьтесь!

Черемуха, твою тринадцатую ночь  
навряд ли я снесу. Мой ум тобою занят.  
Былой приспешник мой, он мог бы мне помочь,  
но весь ушел к тебе и грамоте не знает.

Чем прихожусь тебе, растение-нелюдим?  
Округой округлясь, мои простёрты руки.  
Кто раболепным был урочищем твоим,  
как я или овраг, — тот сведущ в этой мўке.

Ты причиняешь боль, но не умеет боль  
в овраге обитать, и вот она уходит.  
Беспамятный объем, наполненный тобой,  
я надобна тебе, как часть твоих угодий.

Благодарю тебя за странный мой удел —  
быть контуром твоим, облекшим неизвестность,  
подробность опустить, что — родом из людей,  
и обитать в ночи, как местность и окрестность.

13–14 мая 1983

Таруса

Быть по сему: оставьте мне  
закат вот этот за-калужский,  
и этот лютик золотушный,  
и этот город захолустный  
пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк,  
придавший местности осанки,  
стихии внятные останки,  
и как бы у ее изнанки  
мы все нечаянно в гостях.

В блеск перламутровых корост  
тысячелетия рядились,  
и жабры жадные трудились,  
и обитала нелюдимость  
вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке  
иные бытия расценки,  
что все мы сведущи в рецепте:  
как, коротая век в райцентре,  
быть с вечностью накоротке.

Мы одиноки меж людьми.  
Надменно наше захуданье.  
Вы — в этом времени, мы — дале.  
Мы утонули в мирозданье  
давно, до Ноевой ладьи.

14 мая 1983

Таруса



Еще и обещастья не давала,  
что расцветет, была дотла черна,  
еще стояла у ее оврага  
разлившейся Оки величина.

А я уже о будущем скучала  
как о былом и говорила так:  
на этот раз черемухи скончанья  
я не снесу, ладыжинский овраг.

Я не снесу, я боле не умею  
сносить разлуку и глядеть вослед,  
ссылая в бесконечную аллею  
всего, что есть, любимый силуэт.

Она пришла – и сразу затворилось  
объятье обоюдной западни.  
Перемешалась выдыхов взаимность,  
их общий чад перенасытил дни.

Пятнадцать дней черемухову игу.  
Мешает лбу расширенный зрачок.  
И, если вдруг из комнаты я выйду,  
потупится, кто этот взор прочтет.

Дремотою круженья и качанья  
не усыпить докучливой строки:  
я не снесу черемухи скончанья –  
и довода: тогда свое стерпи.

Я и терплю. Черемухи настоем  
питаем пульс отверстого виска.  
Она — мой бред. Но мы друг друга стóим:  
и я — бредовый вымысел цветка.

Само решит творительное зелье,  
какую волю навязать уму.  
Но если он — безвольное изделие  
насильных чар, — так больно почему?

Я не снесу черемухи скончанья, —  
еще твержу, но и его снесла.  
Сколь многих я пережила случайно.  
Нет, знаю я: так говорить нельзя.

16–17 мая 1983

Таруса

*Андрею Битову*

Отселева за тридевять земель  
кто окольцует вольное скитанье  
ночного сна? Наш деревенский хмель  
всегда грустит о море-окияне.

Немудрено. Не так уж мы бедны:  
когда весны события утрясутся,  
вокруг Тарусы явственно видны  
отметины Нептунова трезубца.

Наш опыт старше младости земной.  
Из чуд морских содеяны каменья.  
Глаз голубой над кружкой пивной  
из дальних бездн глядит высокомерно.

Вселенная — не где-нибудь, вся — тут.  
Что достается прочим зреньям, если  
ночь напролёт Юпитер и Сатурн  
пекутся о занесшемся уезде.

Что им до нас? Они пришли не к нам.  
Им недосуг разглядывать подробность.  
Они всесущий видят океан  
и волн всепоглощающих огромность.

Несметные проносятся валы.  
Плавник одолевает время оно,  
и голову подьёмлет из воды  
всё то, что вскоре станет земноводно.

*Белла Ахмадулина*

Лишь рассветет — приокской простоте  
 Triton заблудший попадетсЯ в сети.  
 След раковины в гробовой плите  
 уводит мысль куда-то дальше смерти.

Хоть здесь растет — нездешнею тоской  
 клонима многознающая ива.  
 Но этих мест владычицы морской  
 на этот раз не назову я имя.

18–19 мая 1983

Таруса

Тот лишний день, который нам дается,  
как полагают люди, не к добру, —  
но люди спят, — еще до дня, до солнца,  
к добру иль нет, я этот день — беру.

Не сообщает сведений надземность,  
но день — уж дан, и шесть часов ему.  
Расклада високосного чрезмерность  
я за продленье бытия приму.

Иду в тайник и средоточье мрака,  
где в крайний час, когда рассвет незрим,  
я дале всех от завтрашнего марта  
и от всего, что следует за ним.

Я мешкаю в ладыжинском овраге  
и в домысле: расход моих чернил,  
к нему пристрастных, не строку бумаге,  
а вклад в рельеф округе причинил.

К метафорам усмешлив мой избранник.  
Играть со мною недосуг ему.  
Округлый склон оврагом — рвано ранен.  
Он придан месту, словно мысль уму.

Замечу: не́ из-за моих писаний  
он знаменит. Всеопытный народ  
насквозь торил путь простодушный самый  
отсель в Ладыгу и наоборот.

Сердешный мой, неутолимый гений!  
В своей тоске, но по твоим следам,  
влекусь тропею вековых хождений,  
и нет другой, чтоб разминуться нам.

От вас, овраг осиливших с котомкой,  
услышала, при быстрой влаге глаз:  
— Мы все читали твой стишок. — Который? —  
— Да твой стишок, там про овраг, про нас.

Чем и горжусь. Но не в самом овраге.  
Паденья миг меня доставит вниз.  
Эй, эй! Помене гордости и влаги.  
Посуше будь, всё то, что меж ресниц.

Люблю оврага образ и устройство.  
Сорвемся с кручи, вольная строка!  
Внизу — помедлим. Восходить — не просто.  
Подумаем на темном дне стиха.

Нам повезло, что не был лоб расшиблен  
о дерево. Он пригодится нам.  
Зрачок — приметлив, хладен, не расширен.  
Вверху — светает. Точка — тоже там.

Я шла в овраг. Давно ли это было?  
До этих слов, до солнца и до дня.  
Я выбираюсь. На краю обрыва  
готовый день стоит и ждёт меня.

Успею ль до полуночного часа  
узнать: чем заплачú календарю  
за лишний день? за непомерность счастья?  
Я всё это беру? иль отдаю?

29 февраля — 4 марта 1984

Таруса

Дорога на Паршино, дале — к Тарусе,  
но я возвращаюсь вспять ветра и звёзд.  
Движеньё мое прижилось в этом русле  
длиною — туда и обратно — в шесть вёрст.

Шесть множим на столько, что ровно несметность  
получим. И этот туманный итог  
вернём очертаньям, составившим местность  
в канун ее паводков и поволок.

Мой ход непрерывен, я — словно течение,  
чей долг — подневольно влачиться вперед.  
Небес близлежащих ночное значенье  
мою протяженность питает и пьет.

Я — свойство дороги, черта и подробность.  
Зачем сочинитель ее жития  
всё гонит и гонит мой робкий прообраз  
в сюжет, что прочней и пространней, чем я?

Близ Паршина и поворота к Тарусе  
откуда мне знать, сколько минуло лет?  
Текущее вверх, в изначальное устье,  
всё странствие длится, а странника — нет.

4–5 марта 1984

Таруса

## ШУМ ТИШИНЫ

Преодолима с Паршином разлука  
мечтой ума и соучастьем ног.  
Для ловли необщительного звука  
искомого — я там держу силок.

Мне следовало в комнате остаться —  
и в ней есть для добычи западня.  
Но рознь была занятием пространства,  
и мысль об этом увлекла меня.

Я шла туда, где разворот простора  
наивелик. И вот он был каков:  
замкнув меня, как сжатие острога,  
сцепились интересы сквозняков.

Заокский воин поднял меч весенний.  
Ответный норд призвал на помощь ост.  
Вдобавок задувало из вселенной.  
(Ужасней прочих этот ветер звёзд.)

Не пропадать же в схватке исполинов!  
Я — из людей, и отпустите прочь.  
Но мелкий сброд незримых, неповинных  
в делах ее — не занимает ночь.

С избытком мне хватало недознания.  
Я просто шла, чтобы услышать звук,  
я не бросалась в прорубь мироздания,  
да зданье ли — весь этот бред вокруг?



Ни шевельнуться, ни дохнуть — нет мóчи,  
Кто рядом был? Чьи мне слова слышны?  
— Шум тишины — вот содержание ночи...  
Шум тишины... — и вновь: шум тишины...

И только-то? За этим ли трофеем  
я шла в разлад и разнобой весны,  
в разъятый ад, проведенный Орфеем?  
Как нежно он сказал: шум тишины...

Шум тишины стоял в открытом поле.  
На воздух — воздух шел, и тьма на тьму.  
Четыре сильных кругосветных воли  
делили ночь по праву своему.

Я в дом вернулась. Ахнули соседи:  
— Где были вы? Что там, где были вы?  
— Шум тишины главенствует на свете.  
Близ Паршина была. Там спать легли.

Бессмыслица, нескладица, мне — долго  
любить тебя. Но веки тяжелы.  
Шум тишины... сон подступает... только  
шум тишины... шум только тишины...

6–7 марта 1984

Таруса

Люблю ночные промедленья  
за озорство и благодать:  
совсем не знать стихотворенья,  
какое утром буду знать.

Где сирот обитают строки,  
которым завтра улыбнусь,  
когда на паршинской дороге  
себе прочту их наизусть?

Лишь рассветет — опять забрежу  
в пустых полях зимы-весны.  
К тому, как я бубню и брежу,  
привыкли дважды три версты.

Внутри, на полпути мотива,  
я встречу, как заведено,  
мой столб, воспетый столь ретиво,  
что и ему, и мне смешно.

В Пачёво ль милое задвинусь  
иль столб миную напрямик,  
мне сладостно ловить взаимность  
всего, что вижу в этот миг.

Коль похваляю себя — дорога  
довольна тоже, ей видней,  
в чём смысл, еще до слов, до срока:  
ведь всё это на ней, о ней.

Коль вдруг запинкою терзаюсь,  
ее подарок мне готов:  
всё сбудется! Незримый заяц  
всё ж есть в конце своих следов.

Дорога пролегла в природе  
мудрей, чем проложили вы:  
всё то, при чьем была восходе,  
заходит вдоль ее канвы.

Небес запретною загадкой  
сопровождает этот путь.  
И Сириус быстрозакатный  
не может никуда свернуть.

Я в ней – строка, она – страница.  
И мой, и надо мною ход –  
всё это к Паршину стремится,  
потом за Паршино пойдет.

И даже если оплошаю,  
она простит, в ней гнева нет.  
В ночи хожу и вопрошаю,  
а утром приношу ответ.

Рассудит алое-иссиня,  
зачем я озирала тьму:  
то ль плохо небо я спросила,  
то ль мне ответ не по уму.

Быть может, выпадет мне милость:  
равнины прояснится вид  
и всё, чему в ночи молилась,  
усталый лоб благословит.

В ночь на 8 марта 1984

Таруса

*Белла Ахмадулина*

## ПОСВЯЩЕНИЕ

Всё этот голос, этот голос странный.  
Сама не знаю: праведен ли трюк —  
так управлять трудолюбивой раной  
(она не любит втайне этот труд),  
и видеть бледность девочки румяной,  
и брать из рук цветы и трепет рук,  
и разбирать их в старомодной ванной, —  
на этот раз ты сетовал, мой друг,  
что, завладев всей данной нам водою,  
плыла сирень купальщицей младою.

Взойти на сцену — выйти из тетради.  
Но я сирень без памяти люблю,  
тем более — в Санкт-белонощном граде  
и Невского проспекта на углу  
с той улицей, чье утаю название:  
в которой я гостинице жила —  
зачем вам знать? Я говорю не с вами,  
а с тем, кого я на углу ждала.

Ждать на углу? Возможно ли? О, доле  
ждала бы я, но он приходит в срок —  
иначе б линий, важных для ладони,  
истерся смысл и срок давно истек.

Не любит он туманных посвящений,  
и я уступку сделаю молве,  
чтоб следопыту не ходить с ищейкой  
вдоль этих строк, что приведут к Неве.

Речь — о любви. Какое же герою  
мне имя дать? Вот наименьший риск:  
чем нарекать, я попросту не скрою  
(не от него ж скрывать), что он — Борис.

О, поводырь моей повадки робкой!  
Как больно, что раздвоены мосты.  
В ночи — пусть самой белой и короткой —  
вот я, и вот Нева, а где же ты?

Глаз, захворав, дичится и боится  
заплакать. Мост — раз—ь—единен. Прощай.  
На острове Васильевском больница  
сто лет стоит. Ее сосед — причал.

Скажу заранее: в байковом наряде  
я приживусь к больничному двору  
и никуда не выйду из тетради,  
которую тебе, мой друг, дарю.

Взойти на сцену? Что это за вздор?  
В окно смотрю я на больничный двор.

Май—июнь 1984

Ленинград

*Олегу Грушникову*

Ровно полночь, а ночь пребывает в изгибах.  
Тот пробел, где была, всё собой обволок.  
Этот бледный, как обморок, выдумка-город —  
не изделие Петрово, а бредни болот.

Да и есть ли он впрямь? Иль для тайного дела  
ускользнул из гранитной своей чешуи?  
Это — бегство души из обузного тела  
вдоль вздетых мостов, вдоль колонн тишины.

Если нет его рядом — мне ведомо, где он.  
Он тайком на свидание с теми спешит,  
чьим дыханием весь его воздух содеян,  
чей удел многоскорбен, а гений смешлив.

Он без них — убиенного рыцаря латы.  
Просто благовоспитан, не то бы давно  
бросил оземь всё то, что подьемлют атланты,  
и зарю заодно, чтобы стало темно.

Так и сделал бы, если б надежды и вести  
не имел, что, когда разбередится наш сброд,  
все они соберутся в условленном месте.  
Город знает про сговор и тоже придет.

Он всегда только их оставался владеньем,  
к нам был каменно замкнут иль вовсе не знал.  
Раболепно музейные туфли наденем,  
но учтивый хозяин нас в гости не звал.

Ну, а те, кто званы и желанны, лишь ныне  
отзовутся. Отверстая арка их ждет.  
Вот уж в сборе они, и в тревоге: меж ними  
нет кого-то. Он позже придет, но придет.

Если ж нет — это белые ночи всего лишь,  
штучки близкого севера, блажь выпускниц.  
Ты, чьей крестною мукою славен Воронеж,  
где ни спишь — из отлучки своей отпрись.

Как он юн! И вернули ему телефоны  
обожанья, признанья и дружбы свои.  
Столь беспечному — свидеться будет легко ли  
с той, посмевшей проведать его хрустали?

Что проведать? Предчувствие медлит с ответом.  
Пусть стоят на мосту бесконечного дня,  
где не вовсе потупилась пред человеком,  
хоть четырежды сломлена воля коня.

Все сошлись. Совпаденье счастливое длится:  
каждый молод, наряжен, любим, знаменит.  
Но зачем так печальны их чудные лица?  
Миновало давно то, что им предстоит.

Всяк из них бесподобен. Но кто так подробно  
черной оспой извёл в наших скудных чертах  
робкий знак подражанья, попытку подобья,  
чтоб остаток лица было страшно читать?

Всё же сто́ит вчитаться в безбуквие книги.  
Ее тайнопись кто-то не дочиста стёр.  
И дрожат над умом обездоленным нимбы,  
и не вырван из глаз человеческий взор.

Это — те, чтобы нас упасти от безумья,  
не обмолвились словом, не подняли глаз.  
Одинокие их силуэты связуя,  
то ли страсть, то ли мысль, то ли чайка неслась.

*Белла Ахмадулина*

Вот один, вот другой размыкается скрежет.  
Им пора уходить. Мы останемся здесь.  
Кто так смел, что мосты эти надвое режет —  
для удобства судов, для разрыва сердец?

Этот город, к высокой допущенный встрече,  
не сумел ее снести и помешан вполне,  
словно тот, чьи больные и дерзкие речи  
снизошел покарать властелин на коне.

Что же городу делать? Очнулся — и строен,  
сострадания просит, а делает вид,  
что спокоен и лишь восхищенья достоин.  
Но с такую осанкою — он устоит.

Чужестранец, ревнитель пера и блокнота,  
записал о дворце, что прекрасен дворец.  
Утаим от него, что заботливый кто-то  
драгоценность унёс и оставил ларец.

Жизнь — живей и понятней, чем вечная слава.  
Огибая величье, туда побреду,  
где в пруду, на окраине Летнего сада,  
рыба важно живет у детей на виду.

Милый город, какая огромная рыба!  
Подплыла и глядит, а зеваки ушли.  
Не грусти! Не отсутствует то, что незримо.  
Ты и есть достоверность бессмертья души.

Но как странно взглянул на меня незнакомец!  
Несомненно: он видел, что было в ночи,  
наглядеться не мог, ненаглядность запомнил —  
и усвоил... Но город мне шепчет: молчи!

Май–июнь 1984

Ленинград



*Борису Мессефери*

Когда жалела я Бориса,  
а он меня в больницу вёз,  
стихотворение „Больница”  
в глазах стояло вместо слёз.

И думалось: уж коль поэта  
мы сами отпустили в смерть  
и как-то вытерпели это, —  
всё остальное можно снести.

И от минуты многотрудной  
как бы рассудок ни устал, —  
ему одной достанет чуждой  
строки про перстень и футляр.

Так ею любовалась память,  
как будто это мой алмаз,  
готовый в черный бархат прянуть,  
с меня востребуют сейчас.

Не тут-то было! Лишь от улиц  
меня отъединил забор,  
жизнь удивленная очнулась,  
воззрившись на больничный двор.

Двор ей понравился. Не меньше  
ей нравились кровать, и суп,  
столь вкусный, и больных насмешки  
над тем, как бледен он и скуп.

*Белла Ахмадулина*

Опробовав свою сохранность,  
жизнь стала складывать слова  
о том, что во дворе — о радость! —  
два возлежат чугунных льва.

Львы одичавшие — привыкли,  
что кто-то к ним щекою льнёт.  
Податливые их загровки  
клялись в ответном чувстве львов.

За все черты, чуть-чуть иные,  
чем принято, за не вполне  
разумный вид — врачи, больные —  
все были ласковы ко мне.

Профессор, коей все боялись,  
войдет со свитой, скажет: „Ну-с,  
как ваши львы?“ — и все смеялись,  
что я боюсь и не смеюсь.

Все люди мне казались правы,  
я вникла в судьбы, в имена,  
и стук ужасной их забавы  
в саду — не раздражал меня.

Я видела упадок плоти  
и грубо поврежденный дух,  
но помышляла о субботе,  
когда родные к ним придут.

Пакеты с вредоносно-сильной  
едой, объятая на скамье —  
весь этот праздник некрасивый  
был близок и понятен мне.

Как будто ничего вселенной  
не обещала, не должна —  
в алмазик бытия бесценный  
вцепилась жадная душа.

Всё ярче над небесным краем  
двух зорь единый пламень рос.  
— Неужто всё еще играет  
со львами? — слышался вопрос.

Как напоследок жизнь играла,  
смотрел суровый окуляр.  
Но это не опровергало  
строки про перстень и футляр.

Июнь 1984

Ленинград

Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла.  
Я дверью ошиблась. Я шла не сюда, не за этим.  
Хоть эта ошибка была велика и важна,  
никчемности лишней за дверью никто не заметил.

Для бездны не внове, что захожи в нее пустяки:  
без них был бы мёлок ее умозрительный омут.  
Но бездн охранитель мне вход возбраняет в стихи:  
снедают меня и никак написаться не могут.

Но смилуйся! Знаю: там воля свершалась Твоя.  
А я заблудилась в сплошной белизне коридора.  
Тому человеку послала я пульс бытия,  
отвергнутый им как помеха докучного вздора.

Он словно очнулся от жизни, случившейся с ним  
для скромных невзгод, для страданий привычно-родимых.  
Ему в этот миг был объявлен пронзительный смысл  
недавних бессмыслиц — о, сколь драгоценных, сколь дивных!

Зеницу предсмертья спасали и длили врачи,  
наильную жизнь в безучастное тело вонзя.  
В обмен на сознание — знание вступало в врачки.  
Я видела знание, его содержанья не зная.

Какая-то дача, дремотный гамак, и трава,  
и голос влюбленный: „Сыночек, вот это — ромашка”,  
и далее — свет. Но мутилась моя голова  
от вида цветка и от мощи его аромата.

Чужое мгновенье себе я взяла и снесла.  
Кто жив — тот не опытен. Тёмен мой взор виноватый.  
Увидевший то, что до времени видеть нельзя,  
страшись и молчи, о, хотя бы молчи, соглядатай.

Июнь 1984

Ленинград

Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть.  
 Это только снаружи больница скушна, непреклонна.  
 А внутри — очень много событий, занятий и чувств.  
 И больные гуляют, держась за перила балкона.

Одиночество боли и общее шарканье ног  
 вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту.  
 Лишь покойник внизу оставался совсем одинок:  
 санитар побежал за напарником, бросив каталку.

Столь один — он, пожалуй, еще никогда не бывал.  
 Сочиняй, починяй — все сбиваемся в робкую стаю.  
 Даже хладный подвал, где он в этой ночи ночевал,  
 кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.

Но зато, может быть, никогда он так не был любим.  
 Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже.  
 Соучастье любви на мгновенье стусилось над ним.  
 Это ластились к тайне живых боязливые души.

Все свидетели скрытным себя осенили крестом.  
 За оградой — не знаю, а здесь нездоровый упадок  
 атеизма заметен. Всем хочется над потолком  
 вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.

Две не равных вершины вздымали покров простыни.  
 Вдосталь, мил-человек, ты, небось, походил по Расее.  
 Натрудила она две воздетые к небу ступни.  
 Что же делать, прощай. Не твое это, брат, воскресенье.

Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь вела:  
„Дево, радуйся!” Я — не умею припомнить акафист.  
Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.  
Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест.

Июнь 1984

Ленинград

## НОЧЬ НА 6-е ИЮНЯ

Перечит дрёме въедливая дрель:  
то ль блещет шпиль, то ль бредит голос птицы.  
Ах, это ты, всенощный белый день,  
оспоривший снотворный шприц больницы.

Простёртая для здоровой простоты  
пологость, упокоенная на ночь,  
разорвана, как невские мосты, —  
как я люблю их с фонарями навзничь.

Меж вздыбленных разъятых половин  
сознания — что уплывет в далёкость?  
Какой смотритель утром повелит  
с виском сложить висок и с локтем локоть?

Вдруг позабудут заново свести  
в простую схему рознь примет никчемных,  
что под щекой и локоном сестры  
уснувшей — знает назубок учебник?

Раздвоен мозг: былой и новый свет,  
совпав, его расторгли полушарья.  
Чтоб возлежать, у лежебоки нет  
ни знания: как спать, ни прилежанья.

И вдруг смеюсь: как повод прост, как мал —  
не спать, пенять струне неумолимой:  
зачем поёт! А это пел комар  
иль незнакомец в маске комариной.



Я вспомню, вспомню... вот сейчас, сейчас...  
Как это было? Судно вдаль ведомо  
попутным ветром... в точку уменьшась,  
забившись в щель, достичь родного дома...  
Несчастливая! Каких лекарств, мещанств  
наелась я, чтоб не узнать Гвидона?

Мой князь, то белена и курослеп,  
подслеповатость и безумье бденья.  
Пожалуй в рознь соседних королевств!  
Там — общий пир, там чей-то день рожденья.

Скажи: что конь? что тот, кто на коне?  
На месте ли, пока держу их в книге?  
Я сплю. Но гений розы на окне  
грустит о том, чей день рожденья ныне.

У всех — июнь. У розы — май и жар.  
И посылает мстительность метафор  
в окно мое неутолимость жал:  
пусть вволю пьют из кровеносных амфор.

Июнь 1984

Ленинград

Какому ни предамся краю  
для ловли дум, для траты дней, —  
всегда в одну игру играю  
и много мне веселья в ней.

Я знаю: скрыта шаловливость  
в природе и в уме вещей.  
Лишь недогадливый ленивец  
не зван соотноситься с ней.

Люблю я всякого предмета  
притворно-благодравный вид.  
Как он ведёт себя примерно,  
как упоительно хитрит!

Так быстрый взор смолянки нежной  
из-под опущенных ресниц  
сверкнет — и старец многогрешный  
грудь в орденах перекрестит.

Как всё ребячливо на свете!  
Все вещества и существа,  
как в угол вдвинутые дети,  
понура жаждут озорства.

Заметят, что на них воззрилась  
любовь, — восторгов и щедрот  
не счесть! И бытия взаимность —  
сродни щенку иль сам щенок.

Совсем я сбилась с панталыку!  
Рука моя иль чья-нибудь  
пускай потреплет по затылку  
меня, чтоб мысль ему вернуть.

Не образумив мой загрибок,  
вид из окна — вошел в окно,  
и тварей утвари игрой  
его вторженье развлекло.

Того оспорю неужели,  
чье имя губы утаят?  
От мысли станет стих тяжеле,  
пусть остается глуповат.

Пусть будет вовсе глуп и волен.  
Ко мне утратив интерес,  
рассудок белой ночью болен.  
Что делать? Обойдемся без.

Начнем: мне том в больницу прислан.  
Поскольку принято капризам  
возлегших на ее кровать  
подобострастно потакать,  
по усмотренью доброты  
ему сопутствуют цветы.

Один в палате обыватель:  
сам сочинит и сам прочтет.  
От сочинителя читатель  
спешит узнать: разгадка в чём?

Скажу ему, во что играю.  
Я том заветный открываю,  
смеюсь и подношу цветок  
стихотворению „Цветок”.

О, сколько раз всё это было:  
и там, где в милый мне овраг

я за черемухой ходила  
или ходила просто так,

и в робкой роще подмосковной,  
и на холмах вблизи Оки —  
наильный, мною не искомый,  
накрапывал пунктир строки.

То мой, то данный мне читальней,  
то снятый с полки у друзей,  
брала я том для страсти тайной,  
для прочной прихоти моей.

Подснежники и медуницы  
и всё, что им вослед растет,  
привыкли соединять страницы  
с произрастаньем милых строк.

В материальности материй  
не сведущий — один цветок  
мертворожденность иммортелей  
непринужденно превозмог.

Мы знаем, что в лесу иль в поле,  
когда — не знаем, он возрос.  
Но сколько выросших в неволе  
ему я посвятила роз.

Я разоряла их багряность,  
жалеючи, рукой своей.  
Когда мороз — какая радость  
сказать: „Возьми ее скорей”.

Так в этом мире беззащитном,  
на трагедийных берегах,  
моим обмолвкам и ошибкам  
я предаюсь с цветком в руках.

И рада я, что в стольких книгах  
останутся мои цветы,

что я повинна только в играх,  
что не черны мои черты,

что розу не отдавший вазе,  
еще не сущий аноним  
продлит неутолимость связи  
того цветка с цветком иным.

За это — столько упоений,  
и две зари в одном окне,  
и весел Тот, чей бодрый гений  
всегда был милостив ко мне.

Июнь 1984

Ленинград

*Александрю Блоку*

Бессмертьем душу обольщая,  
всё остальное отстранив,  
какая белая, большая  
в окне больничном ночь стоит.

Все в сборе: муть окраин, гавань,  
вдохнувшая морская близь,  
и грезит о герое главном  
собрание действующих лиц.

Поймем ли то, что разыграют,  
покуда будет ночь свежень?  
Из умолчаний и загадок  
составлен роковой сюжет.

Тревожить имени не стану,  
чей первый и последний слог  
непроницаемую тайну  
безукоризненно облёк.

Всё сказано — и всё сокрыто.  
Совсем прозрачно — и темно.  
Чем больше имя знаменито,  
тем неразгаданней оно.

А это, от чьего наитья  
туманно в сердце молодом, —  
тайник, запретный для открытья,  
замкнувший створки медальон.

Когда смотрел в окно вагона  
на вспышки засух торфяных,  
он знал, как грозно и огромно  
предвестье бед, и жаждал их.

Зачем? Непостижимость таинств,  
которые он взял с собой,  
пусть называет чужестранец  
Россией, фатумом, судьбой.

Что видел он за мглой, за гарью?  
Каким был светом упоён?  
Быть может, бытия за гранью  
мы в этом что-нибудь поймем.

Всё прозорливее, чем гений.  
Не сведущ в здравомыслье зла,  
провидит он лишь высь трагедий.  
Мы видим, как их суть низка.

Чего он ожидал от века,  
где всё — надрыв и всё — навзрыд?  
Не снесший пошлости ответа,  
так бледен, что уже незрим.

Искавший мук, одну лишь мýку:  
не петь — поющий не учел.  
Вослед замученному звуку  
он целомудренно ушел.

Приняв брезгливые проклятья  
былых сподвижников своих,  
пал кротко в лютые объятья,  
своих убийц благословив.

Поступок этой тихой смерти  
так совершенен и глубок.  
Всё приживается на свете,  
и лишь поэт уходит в срок.

*Белла Ахмадулина*

Одно такое у природы  
лицо. И остается нам  
смотреть, как белой ночи розы  
всё падают к его ногам.

Июнь 1984

Ленинград



## СТЕНА

*Юрию Ковалю*

Вид из окна: кирпичная стена.  
Строки или палаты посетитель  
стены моей пугается сперва.  
— Стена и взор, проснитесь и сойдите! —  
я говорю, хоть мало я спала,  
под утро неусыпностью пресытаться.

Двух розных зорь неутолима страсть,  
и ночь ее обходит стороною.  
Пусть вам смешно, но такова же связь  
меж мною и кирпичною стеною.  
Больничною диковинкою став,  
я не остерегаюсь быть смешною.

Стена моя, всё трудишься, корпишь  
для цели хоть полезной, но не новой.  
Скажи, какую ныне окропишь  
мою бумагу мыслью пустяковой?  
Как я люблю твой молодой кирпич  
за тайный смысл его средневековый.

Стене присущ былых времён акцент.  
Пред-родствен ей высокородный замок.  
Вот я сижу: вельможа и аскет,  
стены моей заносчивый хозяин.  
Хочу об этом поболтать — но с кем?  
Входил доцент, но он суров и занят.

Еще и тем любезна мне стена,  
что четко окорачивает зренье.

*Белла Ахмадулина*

Иначе мысль пространна, не стройна,  
как пуха тополиного паренье.  
А так — в ее вперяюсь письмена  
и списываю с них стихотворенье.

Но если встать с кровати, сесть левой,  
сидеть всю ночь и усидеть подоле,  
я вижу, как усердые тополей  
мне шлет моих же помыслов подобье,  
я слышу близкий голос кораблей,  
проведавший больничное подворье.

Стена — ревнива: ни щедрот, ни льгот.  
Мгновенье — и ощерятся бойницы.  
Она мне не показывает львов,  
сто лет лежащих около больницы.  
Чтоб мне не видеть их курчавых лбов,  
встает меж нами с выраженьем львицы.

Тут наш разлад. Я этих львов люблю.  
Всех, кто не лев, пускай берут завидки.  
Иду ко львам, верней — ко льву и льву,  
и глажу их чугунные заливки.  
Потом стене подобострастно лгу,  
что к ним ходила только из-за рифмы.

В том главное значение стены,  
что скрыт за нею город сумасходный.  
Он близко — только руку протяни.  
Но есть препоны совладать с охотой  
иметь. Не возымей, а сотвори  
всё надобное, властелин свободный.

Всё то, что взять могу и не беру:  
дворцы разъединивший мост Дворцовый  
(и Меншиков опять не ко двору),  
и Летний сад, и, с нежностью особой,  
всех львов моих — я отдаю Петру.  
Пусть наведет порядок образцовый.

Потусторонний (не совсем иной —  
застенный) мир меня ввергает в ужас.  
Сегодня я прощаюсь со стеной,  
перехожу из вымысла в насущность.  
Стена твердит, что это бред ночной, —  
не ей бы говорить, не мне бы слушать.

Здесь измышленья, книги и цветы  
со мной следили дня и ночи смену  
(с трудом — за неимением темноты).  
Стена, прощай. Поднять глаза не смею.  
Преемник мой, как равнодушно ты,  
как слепо будешь видеть эту стену.

Июнь 1984

Ленинград

Чудовищный и призрачный курорт —  
улада для заезжих чужестранцев.  
Их привлекает пристальный урод  
(знать, больше нет благообразных старцев)  
и так порочен этот вождь ворот,  
что страшно за рассеянных скитальцев.  
Простят ли мне Кирилл и Ферапонт,  
что числилась я в списке постояльцев?

Я — не виновна. Произволен блат:  
стихолобивы дивы „Интуриста”.  
Одни лишь финны, гости финских блат,  
не ощущают никакого риска,  
когда красотка поднимает взгляд,  
в котором хлад стоит и ад творится.  
Но я не вхожа в этот хладный ад:  
всегда моя потуплена зеница.

Вид из окна: сосна и „мерседес”.  
Пир под сосной мои пресытил уши.  
Официант, рожденный для злодейств,  
погрязнуть должен в мелочи и в чуши.  
Отечество, ты приютилось здесь  
подобострастно и как будто вчуже.  
Но разнбой моих ночных сердец  
всегда тебя подозревает в чуде.

Ни разу я не выходила прочь  
из комнаты. И предается думе

прислуга (вся в накрапе зримых порч):  
от бедности моей или от дури?  
Пейзаж усилен тем, что вдвинут „порш”  
в невидимые мне залив и дюны.  
И, кроме мысли, никаких нет почт,  
чтоб грусть моя достигла тети Дюни.

Чтоб городок Кириллов позабыть,  
отправлюсь-ка проведать жизнь иную.  
Дежурной взгляд не зряч, но остро-быстр.  
О, я в снэк-бар всего лишь, не в пивную.

Ликуют финны. Рада я за них.  
Как славно пьют, как весело одеты.  
Пускай себе! Ведь это — их залив.  
А я — подкидыш, сдуру взятый в дети.

С улыбкой благодетели следят:  
смотри, коль слово лишнее проронишь.  
Но не сидеть же при гостях в слезах?  
Так осмелел, что пьет коньяк приёмьш.

Финн спросил: „Where are you from, madame?”  
Приятно поболтать с негоциантом.  
— Оттеда я, где черт нас догадал  
произрасти с умом, да и с талантом.

Он поражен: — С талантом и умом?  
И этих свойств моя не ценит фирма?  
Не перейти ль мне в их торговый дом?  
— Спасибо, нет, — благодарю я финна.

Мне повезло: никто не внял словам  
того, чья слава множится и крепнет:  
ни финн, ни бармен — гордый внук славян,  
ну, а тунгусов не пускают в кемпинг.

Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь,  
где зарасту бессмертной лебедою.

Кириллов же и ближний Белозерск  
сокроются под вечною водою.

Что ж, тете Дюне — девяностый год, —  
финн речь заводит об архитектуре, —  
а правнуков ее большой народ  
мечтает лишь о финском гарнитуре.

Тут я смеюсь. Мой собеседник рад.  
Он говорит, что поставляет мебель  
в столь знаменитый близлежащий град,  
где прежде он за недосугом не был.

Когда б не он — кто бы наладил связь  
бессвязных дум? Уж если жить в мотеле  
причудливом — то лучше жить смеясь,  
не то рехнуться можно в самом деле.

В снэк-баре — смех, толкучка, красота,  
и я люблюсь финкой молодой:  
уж так свежа (хоть несколько толста).  
Я выхожу, иду к чужому дому,  
и молвят Ферапонтовы уста  
над бывшей и грядущею юдолью:  
„Земля была безвидна и пуста,  
и Божий Дух носился над водою”.

Июнь—июль 1984

Мотель-кемпинг „Ольгино”

Такая пала на́ душу метель:  
ослепли в ней и заплутали кони.  
Я в эlegantный въехала мотель,  
где и сижу в шезлонге на балконе.

Вот так-то, брат ладыжинский овраг.  
Я знаю силу твоего week-end'а,  
но здесь такой у барменов аврал, —  
прости, что говорю интеллигентно.

Въезжает в зреньё новый лимузин.  
Всяк флаг охоч до нашего простора.  
Отечество юлит и лебезит:  
Алёшки — ладно, но и Льва Толстого.

О бедное отечество, прости!  
Не всё ж гордиться и грозить чумою.  
Ты приворотным зельем обольсти  
гостей желанных — пусть тряхнут мошною.

С чего я начала? Шезлонг? Лонгшез?  
Как ни скажи — а всё сидеть тоскливо.  
Но сколько финнов! Уж не все ли здесь,  
где нет иль мало Финского залива?

Не то, что он отсутствует совсем,  
но обитает за глухой оградой.  
Мне нравится таинственный сосед,  
невидимый, но свежий и отрадный.

Его привет щекою и плечом  
приму — и вновь затворничаем оба.  
Но — Финский он. Я — вовсе ни при чём,  
хоть почитатель финского народа.

Не мне судить: повсюду и всегда  
иль только здесь, где кемпинг и суббота,  
присуща людям яркая черта  
той красоты, когда душа свободна.

Да и не так уж скрытен их язык.  
Коль придан Вакху некий бог обратный,  
они весь день кричат ему: „Изыдь!”,  
не размыкая рюмок и объятий.

Но и моя вдруг засверкала жизнь.  
Содержат трёх медведиц при мотеле.  
Невольна стала с ними я дружить,  
на что туристы с радостью глядели.

Поэт. Медведь. Все-детское „Ура!”.  
Мы шествуем с медведицей моею.  
Не обессудь, великая страна,  
тебя я прославляю, как умею.

Какой успех! Какая благодать!  
Аттракционом и смешным, и редким  
могли бы мы валюту добывать  
столь нужную — да возбранил директор.

Что делать дале? Я живу легко.  
Событий — нет. Занятия — невинны.  
Но в баре, глянув на мое лицо,  
вдруг на мгновенье умолкают финны.

Июнь—июль 1984

Мотель-кемпинг „Ольгино”



Взамен элегий — шуточки, сарказмы.  
Слог не по мне, и всё здесь не по мне.  
Душа и местность не живут в согласье.  
Что делаю я в этой стороне?

Как что? Очнись! Ты родом не из финнов,  
не из дельфинов. О, язык-болтун!  
Зачем дельфинов помянул безвинных,  
в чей ум при мне вникал глупец Батум?

Прости, прости, упасший Ариона,  
да и меня — летящую во сне  
во мгле Красногвардейского района  
в первопрестольном городе Москве.

Вот, объясняю, родом я откуда.  
Но сброд мотеля смотрит на меня  
так, словно упомянутое чудо —  
и впрямь моя недалняя родня.

Немудрено: туристы да прислуга,  
и развлечения их невелики.  
А тут — волною о скалу плеснуло:  
в диковинку на суше плавники.

Запретный блеск чужого ширпотреба  
приелся пресным лицам россиян.  
— Забудь всё это! — кроткого привета  
раздался всплеск, и образ просиял.

Отбор довел до совершенства лица:  
лишь рознь пороков оживляет их.  
— Забудь! Оставь! — упрасивал и длился  
печальный звук, но изнемог и стих.

Я шла на зов — бар по пути проведая.  
Вдруг как-то мой возвысился удел.  
Зрачком Петра я глянула на шведов.  
За стойкой плут — и тот похолодел.

Он — сложно-скрытен, в меру раболепен,  
причастен тайне, неизвестной нам.  
— Оставь! Иди! — опять забрежжил лепет. —  
Иду. Но как прозрачно-скупен хам.

Как беззащитно уязвлен обидой.  
— Иди! — неслось. — Скорей иди сюда!  
Вот этих, с тем, что в них, автомобилей  
напрасно жаждать — лютая судьба.

Мне белоснежных шведов стало жалко:  
смущен, повержен, ранен в ногу Карл.  
Вдруг — тишина. Но я уже бежала:  
окликни вновь, коль прежде окликал!

Вчера писала я, что на запоре  
к заливу дверь. Слух этот справедлив,  
но лишь отчасти: есть дыра в заборе.  
— Не стой, как пень, — мне указал залив.

Я засмеялась: к своему имению  
финн не пролез. А я прошла. Вдали,  
за длительной серебряною мелью,  
стояло небо, плыли корабли.

Я шла водой и слышала взаимность  
воды, судьбы, туманных берегов.  
И, как Петрова вспылчивая милость,  
явился и сокрылся Петергоф.

С тех пор меня не видывала суша.  
Воспетый плут вернуться завлекал.  
В мотеле всем народам стало скушно,  
но полегчало мокрым плавникам.

Июнь—июль 1984

Мотель-кемпинг „Ольгино”

## ПОСТОЙ

Не полюбить бы этот дом чужой,  
где звук чужой пеняет без утайки  
пришельцу, что еще он не ушел:  
де, странник должен странствовать, не так ли?

Иль полюбить чужие дом и звук:  
уменьшиться, привадиться, втесаться,  
стать приживалой сущего вокруг,  
свое — прогнать и при чужом остаться?

Вокруг — весны разор и красота,  
сырой песок, ведущий в Териоки.  
Жилец корпит и пишет: та-та-та, —  
диктант насильный заточая в строки.

Всю ночь он слышит сильный звук чужой:  
то измышленья прежних постояльцев,  
пока в окне неистощим ожог,  
снут, отбившись от умов и пальцев.

Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив  
забыт иль за ненадобностью брошен?  
Непосвященный слушатель молчит.  
Он дик, смешон, давно ль он ел — не спрошен.

Длиннее звук, чем маленькая тьма.  
Затворник болен, но ему не внове  
входить в чужие звуки и дома  
для исполненья их капризной воли.

Он раболепен и душой кривит.  
Составленный вчерне из многоточья,  
к утру готов бесформенный клави́р  
и в стройные преобразован ключья.

Покинет гость чужие дом и звук,  
чтоб никогда сюда не возвращаться  
и тосковать о распре музык двух.  
Где — он не скажет. Где-то возле счастья.

11–12 мая 1985

Репино

Всех обожаний бедствие огромно.  
И не совпасть, и связи не прервать.  
Так навсегда, что даже у надгробья, —  
потупившись, не смея быть при Вас, —  
изъявленную внятно, но не грозно  
надземную приемлю неприязнь.

При веяньях залива, при закате  
стою, как нищий, согнанный с крыльца.  
Но это лишь усмешка, не проклятье.  
Крест благородней, чем чугун креста.  
Ирония — избранников занятье.  
Туманна окончательность конца.

12 мая 1985

Комарово

## ДОМ С БАШНЕЙ

Луны еще не востала, а заря ведь  
уже сошла — откуда взялся свет?  
Сеть гамака ужасная зияет.  
Ах, это май: о тьме и речи нет.

Дом выпренный на берегу залива.  
В саду — гамак. Всё упустила сеть,  
но не пуста: игриво и лениво  
в ней дней былых полёживает смерть.

Бывало, в ней покачивалась дрёма  
и упал том Стриндберга из рук.  
Но я о доме. Описание дома  
нельзя построить наобум и вдруг.

Проект: осанку вычурного замка  
венчают башни шпиль и витражи.  
Красавица была его хозяйка.  
— Мой ангел, пожелай и прикажи.

Поверх кустов сирени и малины —  
балкон с пространством видом на залив.  
Всё гости, фейерверки, именины.  
В тот майский день молился ль кто за них?

Сооруженье: вместе дом и остров  
для мыслящих гребцов среди моря зла.  
Здесь именитый возвещал философ  
(он и поэт): — Так больше жить нельзя!

Какие ночи были здесь! Однако  
хозяев нет. Быть дома ночью — вздор.  
Пора бы знать: „Бродячая собака”  
лишь поздним утром их отпустит в дом.

Замечу: знаменитого подвала  
таинственная гостя лишь одна  
навряд ли здесь хотя бы раз бывала,  
иль раз была — но боле никогда.

Покой и прелесть утреннего часа.  
Красотка-финка самовар внесла.  
И гимназист, отрекшийся от чая,  
всех пристыдил: — Так больше жить нельзя!

В устройстве дома — вольного абсурда  
черты отрадны. Запределен бред  
предположенья: вдруг уйти отсюда.  
Зачем? А дом? А башня? А крокет?

Балы, спектакли, чаепитья, пренья.  
Коса, румянец, хрупкость, кисея —  
и голосок, отвлекшийся от пенья,  
расплакался: — Так больше жить нельзя!

Влюблялись, всё смеялись, и стрелялись  
нередко, страстно ждали новостей.  
Дом с башней ныне — робкий постоялец,  
чуждак-изгой на родине своей.

Нет никого. Ужель и тот покойник —  
незнаемый, тот, чей гамак дыряв,  
к сосне прибивший ржавый рукомошник,  
заткнувший щели в окнах и дверях?

Хоть не темнеет, а светает рано.  
Лет дому сколько? Мenee, чем сто.  
Какая жизнь в нём сильная играла!  
Где это всё? Да было ль это всё?



Я полюбила дом, и водостока  
резной узор, и, более всего,  
со шпилем башню и цветные стёкла.  
Каков мой цвет сквозь каждое стекло?

Мне кажется, и дом меня приметил.  
Войду в залив, на камне постою.  
Дом снова жив, одушевлен и светел.  
Я вижу дом, гостей, детей, семью.

Из кухни в погреб золотистой финки  
так весел промельк! Как она мила!  
И нет беды печальной детской свинки,  
всех ужаснувшей, — да и та прошла.

Так я играю с домом и заливом.  
Я занята лишь этим пустяком.  
Над их ко мне пристрастием взаимным  
смеется кто-то за цветным стеклом.

Как всё сошлось! Та самая погода,  
и тот же тост: — Так больше жить нельзя!  
Всего лишь май двенадцатого года:  
ждут Сапунова к ужину не зря.

12–13 мая 1985

Репино

Темнеет в полночь и светает вскорее.  
Есть напряженье в столь условной тьме.  
Пред-свет и свет, словно залив и море,  
слились и перепутались в уме.

Как разгляжу незримость их соитья?  
Грань меж воды я видеть не могу.  
Канун всегда таинственной событья —  
так мнится мне на этом берегу.

Так зорко, что уже подслеповато,  
так чутко, что в заумии звенит,  
я стерегу окно, и непонятно:  
чем сам себя мог осветить залив?

Что предпочесть: бессонницу ли? сны ли?  
Во сне видней что видеть не дано.  
Вслепую — книжки Блока записные  
я открываю. Пятый час. Темно.

Но не совсем. Иначе как я эти  
слова прочла и поняла мотив:  
„Какая безысходность на рассвете”.  
И отворилось зренье глаз моих.

Я вышла. Бодрый север по заливку  
трепал меня, отверстый нюх солил.  
Рассвету вспять я двинулась к заливу  
и далее, по валунам, в залив.

Он морем был. Я там остановилась,  
где обрывался мощный край гряды.  
Не знала я: принять за гнев иль милость  
валы непроницаемой воды.

Да, уж про них не скажешь, что лизнули  
резиновое облачение ног.  
И никакой поблажки и лазури:  
горбы судьбы с поклажей вечных нош.

Был камень сведущ в мысли моря тайной.  
Но он привык. А мне, за все века,  
повиснуть в них подробностью случайной  
впервой пришлось. Простите новичка.

„Какая безысходность на рассвете”.  
Но рассвело. Свет боле не иском.  
Неужто прыткий получатель вести  
ее обманет и найдет исход?

Вдруг возгорелась вкрапина гранита:  
смотрел на солнце великанский лоб.  
Моей руке шершаво и ранимо  
отозвалась незыблемая плоть.

„Какая безысходность на рассвете”.  
Как весел мне мой ход поверх камней.  
За главный смысл лишь музыка в ответе.  
А здравый смысл всегда перечит ей.

13–14 мая 1985

Репино

Завидев дом, в испуге безъязыком,  
я полюбила дома синий цвет.  
Но как залива нынче цвет изыскан:  
сам как бы есть, а цвета вовсе нет.

Вода вольна быть прозрачна, но слово  
о ней такое ж — не со-цветно ей.  
Об имени для цвета никакого  
ты, синий дом, не думай, а синей!

А занавески желтые на окнах!  
Утешно сине-желтое пятно.  
И дома-балаганчика невольник  
не веселей, должно быть, чем Пьеро.

Я слышала, и обвели чернила,  
след музыки, что прежде здесь жила.  
Так яблоко, хоть полно, но червиво.  
Так этих стен ущербна тишина.

То ль слуху примерещилась больному  
двоюродная му́ка грёз и слёз,  
то ль не спалось подкидышу-бемолю.  
Потом прошло, затихло, улеглось.

Увы тебе, грядущий мой преемник,  
таинственный слагатель партитур.  
Не преуспеть тебе в твоих паренях:  
в них чуждые созвучья прорастут.

Прости меня за то, что озарили  
тебя затмения моего ума.  
Всегда ты будешь думать о заливе.  
Тебя возьмется припекать луна.

Потом пройдет. Исчезнет звук насильный,  
но он твою не оскорбил струну.  
Прошу тебя: люби мой домик синий  
и занавесок яд и желтизну.

Они причастны тайне безобидной.  
Я не смогу покинуть их вполне,  
как близко сущий, но сейчас не видный  
залив в моём распахнутом окне.

И что залив, загадка, поволока?  
Спросила — и ответа заждалась.  
Пожалуй, имя молодого Блока  
подходит цвету, скрытому от глаз.

14 мая 1985

Репино

## ПОБЕРЕЖЬЕ

*Льву Копелеву*

Не грех ли на залив сменять  
дом колченогий, пусторукий,  
о том, что есть, не вспоминать,  
иль вспоминать с тоской и мýкой.

Руинам предпочесть родным  
чужого бытия обломки  
и городских окраин дым  
вдали — принять за весть о Блоке.

Мысль непрестанная о нём  
больному Блоку не поможет,  
и тот обещанный лимон  
здоровье чье-то в чай положит.

Но был так сильно, будто есть  
день упоенья, день надежды.  
День притаился где-то здесь,  
на этом берегу, — но где же?

Не тяжек грех — тот день искать  
в камнях и песках рассвета.  
Но не бесчувственна ли мать,  
избравшая занятие это?

Упрочить сердце, и детей  
подкинуть обветшалой детской,  
и ослабеть для слёз о тех,  
чье детство — крайность благоденствий.

Услышат все и не поймут  
намёк судьбы, беды предвестье.  
Ум, возведенный в абсолют,  
не грамотен в аз, буки, веди.

Но дом так чудно островерх!  
Канун каникул и варенья,  
день Ангела, и фейерверк,  
том золоченый Жюля Верна.

Всё потерять, страдать, стареть —  
всё ж меньше, чем пролёт дороги  
из Петербурга в Сестрорецк,  
Куоккалу и Териоки.

Недаром протяжён уют  
блаженных этих остановок:  
ведь дальше — если не убьют —  
Ростов, Батум, Константинополь.

И дальше — осенит крестом  
скупым Святая Женевьева.  
Пусть так. Но будет лишь потом  
всё то, что долго, что мгновенно.

Сначала — дама, господин,  
приникли кружева к фланели.  
Всё в мире бренно — но не сын,  
вверх-вниз гоняющий качели.

Не всякий под крестом, кто юн  
иль молод, мёртв и опозорен.  
Но обруч так летит вдоль дюн,  
июнь, и небосвод двузорен.

И господин и дама — тот  
имеют облик, чье решенье —  
труды истории, итог,  
триумф ее и завершенье.

А как же сын? Не надо знать.  
Вверх-вниз летят его качели,  
и юная бледнеет мать,  
и никнут кружева к фланели.

В Крыму, похожий на него,  
как горд, как мёртв герой поручик.  
Нет, он — дитя. Под Рождество  
какие он дары получит!

А чудно островерхий дом?  
Ведь в нём как будто учреждение?  
Да нет! Там ёлка под замком.  
О Ты, чье празднуют рожденье,

Ты милосерд, открой же дверь!  
К серьгам, браслетам и оковам  
привыкла ли турчанка-ель?  
И где это — под Перекопом?

Забудь! Своих детей жалея  
за то, что этот век так долог,  
за вырубленность их аллея,  
за бедность их безбожных ёлок,

за не-язык, за не-латынь,  
за то, что сырый ум — бледнее  
без книг с обрезом золотым,  
за то, что Блок тебе больнее.

Я и жалею. Лишь затем  
стою на берегу залива,  
взирая на чужих детей  
так неотрывно и тоскливо.

Что пользы днём с огнём искать  
снег прошлогодний, ветер в поле?  
Но кто-то должен так стоять  
всю жизнь возможную — и доле.

14–15 мая 1985  
Репино



## ПОСТУПОК РОЗЫ

*Памяти Н. Н. Сапунова*

„Как хороши, как свежи...” О, как свежи,  
как хороши! Пять было разных роз.  
Всему есть подражатели на свете  
иль двойники. Но роза розе — рознь.

Четыре сразу сгнули. Но главной  
был так глубок и жадно-дышащ зев:  
когда б гортань стать захотела гласной, —  
рык издала бы роза — царь и лев.

Нет, всё ж не так. Я слышала когда-то,  
мне слышалось, иль выдуманно мной  
безвыходное низкое контральто:  
вулканный выдох глубины земной.

Речей и пенья на высоких нотах  
не слышу: как-то мелко и малó.  
Труд розы — вдох. Ей не положен отдых.  
Трудись, молчи, сокровище моё.

Но что же запах, как не голос розы?  
Смолкает он, когда она мертва.  
Прости мои развязные вопросы.  
Поговорим, о госпожа моя.

Куда там! Норов розы не покладист.  
Вдруг аромат — отлёт ее души?  
Восьмой ей день. Она свежа покамест.  
Как свежи, Боже мой, как хороши

*Белла Ахмадулина*

слова совсем бессмысленной и нежной,  
прелестной и докучливой строки.  
И роза, вместо смерти неизбежной,  
здорова — здравомыслию вопреки.

Светает. И на синеве, как рана,  
отверсто горло розы на окне  
и скорбно черно-алое контральто.  
Сама ль я слышу? Слышится ли мне?

Не с повеленьем, а с монаршей просьбой  
не спорить же. К заливу я иду.  
— О, не шути с моей великой розой! —  
прошу и розу отдаю ему.

Плыви, о роза, бездну украшая.  
Ты выбрала. Плыви светло, легко.  
От Териок водою до Кронштадта,  
хоть это смерть, не так уж далеко.

Волнам предайся, как художник милый  
в ночь гибели, для века роковой.  
До берега, что стал его могилой,  
и ты навряд ли доплывешь живой.

Но лучше так — в разгар судьбы и славы,  
предчувствуя, но знанья избежав.  
Как он спешил! Как нервы были правы!  
На свете та́к один лишь раз спешат.

Не просто тело мёртвое качалось  
в бесформенном удушии воды —  
эпоха упования кончалась  
и занимался крах его среды.

Вы встретитесь! Вы сто́ите друг друга:  
одна осанка и один акцент,  
как принято среди избранного круга,  
куда не вхож богатый фармацевт.

Я в дом вошла. Стоял стакан коряво.  
Его настой другой цветок лакал.  
Но слышалось бездонное контральто,  
и выдох уст еще благоухал.

Вот истечение поминальных суток  
по розе. Синева и пустота.  
То — гордой розы собственный поступок.  
Я ни при чём. Я розе — не чета.

15–16 мая 1985

Репино

## ГРЯДА КАМНЕЙ

### I

Как я люблю гряду моих камней,  
моих, моих! — и камни это знают,  
и череду пустых и светлых дней,  
из коих каждый лишь заливом занят.

Дарован день — и сразу же прощен.  
Его изгиб — к заливу приниканье.  
Привадились прыжок, прыжок, прыжок  
на крайнем останавливаться камне.

Мой этот путь проторен столько крат,  
так пристально то медлил, то парил он,  
что в опыт камня свой принёс карат  
моих стояний и прыжков период.

Гряда моя вчера была черна,  
свергал меня валун краеугольный.  
Потопная воды величина  
вал насылала, сумрачный и вольный.

Чуть с ног не сбил и до лица достал  
взрыв бурных брызг. Лишь я и многоводность.  
Коль смоем море лишнюю деталь,  
не будет ничего здесь, никого здесь.

В какую даль гряду не протянуть —  
пунктир тысячелетий до Кронштадта.  
Кто это — Петр? Что значит — Петербург?  
Века проходят, волны в пыль крошатся.

Я не умею помышлять о том.  
Не до того мне. Как недавней рыбе  
не занестись? Она — уже тритон,  
впервой вздохнувший на гранитной глыбе.

Как хорошо, что жабрам и хвосту  
осознавать не надо бесконечность.  
Не боязлив мой панцирь, я расту,  
и мне уютна отчая кромешность.

Еще ничьи не молвили уста  
над непробудной бездной молодой:  
„Земля была безвидна и пуста,  
и Божий Дух носился над водою”.

Вдруг новое явилось существо.  
Но явно: то — другая разновидность,  
движение двух конечностей его  
приблизилось ко мне, остановилось.

Спугнувший горб и перепонки лап,  
пришелец сам подавлен и растерян.  
Непостижимый первобытный взгляд  
страшит его среди сырых расщелин.

Пришлось гасить сверканье чешуи,  
сменить обличье, утаить породу,  
и тьмы времён прожить для чепухи —  
раскланяться и побранить погоду.

Ознобно ждать, чтобы чужак ушел,  
в беседе задышаться подневольной,  
вернуться в дом: прыжок, прыжок, прыжок —  
и вновь предаться думе земноводной.

## II

Как я люблю гряду моих камней,  
простёртую в даль моего залива, —

*Белла Ахмадулина*

прочь от строки, влачащейся за ней.  
Как быть? Строка гряды не разлюбила.

Я тут как тут в едва шестом часу.  
Сон — краткий труд, зато пространен роздых.  
Кронштадт — вдали, поверх и навесу,  
словно Карсавина, прозрачно розов.

Андреевский собор, опять пришел  
к тебе мой взор — твой нежный прихожанин.  
Гряда: шаг, шаг, стою, прыжок, прыжок,  
стою. Вдох лёгких ненасытно жаден.

Целую воду. Можно ли воды  
чуть-чуть испить? — Пей вдоволь! — Смех залива  
пью и целую. Я люблю гряды  
все камни — безутешно, но взаимно.

Я слышу ласку сдержанных камней,  
ладонью взгорбья их умов читая,  
и различаю ошупью моей  
обличий и осанок очертанья.

Их формой сжата формула времён,  
вся длительность и вместе краткий вывод.  
Смысл заточен в гранит и утаен —  
укрытье смысла наблюдатель видит.

Но осязает чуткая рука  
ответный пульс слежавшихся энергий,  
и стиснутые, спёртые века́  
теплы и внятны коже многонервной.

Как пусто это сказано: века́.  
Непостижимость сиясь опровергнуть,  
в глубь тайны прянет взглядчивость зрачка —  
и слепо расшибется о поверхность.

Миг бытия вмещается в зазор  
меж камнем и ладонью. Ты теряешь

его в честь камня. Твой недвижим взор,  
и голос чайки душераздирающ.

Воздвигнув на заглавном валуне  
свой штрих непрочный над пустыней бледной,  
я думаю: на память обо мне  
останется мой камень заповедный.

Но — то ль Кронштадт меня в залив сманил,  
то ль сам слизнул беспечный смех залива —  
я в нём. Над унижением моим  
белеет чайка стройно и брезгливо.

Бывает день, когда смешливость уст —  
занятье дня, забывшего про вечность.  
Я отрясаю мокрость и смеюсь.  
Родную брэнность не пора ль проведать?

Оскальзываюсь, вспять гряды иду,  
оглядываюсь на воды далёкость.  
И в камне, замыкающем гряду,  
оттиснута мгновенья мимолётность.

### III

Как я люблю — гряду или строку,  
камень или слов — не разберу спросонок.  
Цвет ночи, подступающей к окну,  
пустой страницей на столе срисован.

Глаз дня прикрыт — мгновенье ока: тьма —  
и снова зряч. Жизнь лакомств сокрушая,  
гром дятла грянул в честь житья-бытья.  
Ночь возвращает зренью долг Кронштадта.

Его объем над плосководьем волн —  
как белый профиль дымчатой камен.  
Из ряда прочих видимостей вон  
он выступил, приемля поклоненье.

Как я люблю гряды ... — но я смеюсь:  
тону в строке, как в мелкости прибрежной.  
Пытается последней мглы моллюск  
спастись в затворе раковины нежной.

Но сумрак вскрыт, разъят, преодолен  
сверканьем, — словно, к ужасу владельца,  
заветный отворили медальон,  
чтоб в хрупкое сокровище взглядеться.

И я из тех, кто пожелал глядеть.  
Сон был моей случайною ошибкой.  
Всё утро, весь пред-белонощный день  
залив я озираю беззащитный.

Он — содержанье мысли и окна.  
Но в полночь просит: — Не смотри, не надо!  
Так — нагота лица утомлена,  
зачитана сторонней волей взгляда.

Пока залив беспомощно простёр  
все прихоти свои, все поведенья,  
я знаю, как гнетет его присмотр:  
сама — зевак законные владенья.

Что — я! Как нам залив не расплескать?  
Паломники его рассветной рани  
стекаются с припасами пластмасс  
и беспородной рукотворной дряни.

День выходной: день — выход на разбой.  
Поруганы застенчивые дюны,  
и побирушкой роется прибой  
в останках жалкой и отравной дури.

Печальный звук воздымлен на устах  
залива: — Всё тревожишь, всё неволишь.  
Что мне они! Хоть ты меня оставь.  
Мое уединение — мое лишь.



Оно — твое лишь. Изнутри запри  
покрепче перламутровые створки.  
Есть время от зари и до зари.  
Ночь сплющена в его ужайшем сроке.

Я задвигаю занавес. Бледны  
залив и я в до-утренних кулисах —  
в его, в моих. Но сбивчивой волны  
бег неусыпен в наших схожих лицах.

Меня ночным прохожим выдает,  
сквозь штор неплотность, лампы процветанье.  
Разоблаченный рампой водоём  
забыл о ней и предается тайне.

Прощай, гряда, прощай, строка о ней.  
Залив, зачем всё больно, что родимо?  
Как далеко ведет гряда камней,  
не знала я, когда по ней бродила.

Май 1985

Репино

Этот брег — только бред двух схватившихся зорь,  
двух эпох, что не равно померялись мощью,  
двух ладоней, прихлопнувших маленький вздор —  
надоевшую невозродимую мошку.

Пролетал-докучал светлячок-изумруд.  
Усмехнулся историк, заплакал ботаник,  
и философ решал, как потом назовут  
спор фатальных предчувствий и действий батальных.

Меньше века пройдет, и окажется прав  
не борец-удалец, а добряк энтомолог,  
пожалевший пыльцу, обращенную в прах:  
не летит и не светится — страшно, темно ведь.

Новых крыл не успели содеять крыла,  
хоть любили, и ждали, и звали кого-то.  
И — походка корява и рожа крива  
у хмельного и злого урода-курорта.

Но в отдельности — бедствен и жалостен лик.  
Всё покупки, посылки, котомки, баулы.  
Неужель я из них — из писателей книг?  
Нет, мне родственней те, чьи черты слабоумны.

Как и выжить уму при большом, молодом  
ветре моря и мая, вскрывающем почки,  
под загробный, безвыходный стук молотков,  
в продуктовые ящики бьющий на почте?

Я на почту пришла говорить в телефон,  
что жива, что люблю. Я люблю и мертвею.  
В провода, съединившие день деловой,  
плач влетает подобно воздушному змею.

То ль весна сквозь слезу зелена, то ль зрачок  
робкой девочки море увидел и зелен,  
то ль двужилен и жив изумруд-светлячок,  
просто скрытен — теперь его опыт надземен.

Он следит! Он жалеет! Ему не претит  
приласкать безобразия горб многотрудный.  
Он — слетит и глухому лицу причинит  
изумляющий отсвет звезды изумрудной.

В ночь на 27 мая 1985

Репино

Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого́ нет,  
но воздуха и вод удвоен гласный звук,  
как если б кто-то был и вымолвил: Коонен...  
О ком он? Сонм колонн меж белых твердей двух.

Я помню голос тот, неродственный канонам  
всех горл: он одинок единоголasyя средь,  
он плоской высоте приходится каньоном,  
и зренью приоткрыт многопородный срез.

Я слышала его на поминанье Блока.  
(Как грубо молода в ту пору я была.)  
Из перьев синих птиц, чья вотчина — эпоха  
былая, в дне чужом нахохлилось боа.

Ни перьев синих птиц, ни поминанья Блока  
уныньем горловым — понять я не могла.  
Но сколько лет прошло! Когда боа поблёлкло,  
рок маленький ко мне послал его крыла.

Оо, какой простор! Но кто сказал: Коонен?  
Акцент долгот присущ волнам и валунам.  
Аа — таков ответ незримых колоколен.  
То — эхо возвратил недалний Валаам.

4–5 июня 1985

Сортавала

Мне дан июнь холодный и пространный  
и два окна: на запад и восток,  
чтобы в эпитет ночи постоянный  
вникал один, потом другой висок.

Лишь в полночь меркнет полдень бесконечный,  
оставив блик для рыбы и блесны.  
Преобладанье призелени нежной  
главенствует в составе белизны.

Уже второго часа половина,  
и белой ночи сложное пятно  
в ее края невхожего павлина  
в залив роняет зрячее перо.

На любованье маленьким оттенком  
уходит час. Светло, но не рассвет.  
Сверяю свет и слово — так аптекарь  
то на весы глядит, то на рецепт.

Кирьява-Лахти — имя вод окольных,  
пред-ладожских. Вид из окна — ушел  
в расплывчатость. На белый подоконник  
будильник белый грубо водружен.

И не бела цветная ночь за ними.  
Фиалки проступают на скале.  
Мерцает накипь серебра в заливе.  
Синеет плащ, забытый на скамье.

Четвертый час. Усилен блеск фиорда.  
Метнулась птицы взбалмошная тень.  
Распахнуты прозрачные ворота.  
Весь розовый, в них входит новый день.

Еще ночные бабочки роятся.  
В одном окне — фиалки и скала.  
В другом — огонь, и прибылью румянца  
позлащена одна моя скула.

5–6 июня 1985

Сортавала

## ШЕСТОЙ ДЕНЬ ИЮНЯ

Словно лев, охраняющий важность ворот  
от пролаза воров, от досужего сглаза,  
стерегу моих белых ночей приворот:  
хоть ненадобна лампа, а всё же не гасла.

Глаз недрёмано-львиный и нынче глядел,  
как темнеть не умело, зато рассветало.  
Вдруг я вспомнила — Чей занимается день,  
и не знала: как быть, так мне весело стало.

Растревожила печку для пущей красоты,  
посылая заре измышление дыма.  
Уу, как стал расточитель червонной казны  
хохотать, и стращать, и гудеть нелюдимо.

Спал ребенок, сокрыто и стройно летя.  
И опять обожгла безоплошность решенья:  
Он сегодня рожден и покуда дитя,  
как всё это недавно и как совершенно.

Хватит львом чугунеть! Не пора ль пировать,  
кофеином ошпарив зевок недосыпа?  
Есть гора у меня, и крыльца перевал  
меж теплом и горою, его я достигла.

О, как люто, как северно блещет вода.  
Упасенье черемух и крах комариный.  
Мало севера мху — он воззрился туда,  
где магнитный кумир обитает незримый.

Есть гора у меня — из гранита и мха,  
из лишайных диковин и диких расщелин.

*Белла Ахмадулина*

В изначалье ее укрывается мгла  
и стенает какой-то пернатый отшельник.

Восхожу по крутым и отвесным камням  
и стыжусь, что моя простодушна утеха:  
всё мемории милые прячу в карман —  
то перо, то клочок золотистого меха.

Наверху возлежит триумфальный валун.  
Без оглядки взошла, но меня волновало,  
что на трудность подъема уходит весь ум,  
оглянулась: сиял Белый скит Валаама.

В нижнем мраке еще не умолк соловей.  
На возглыбии выпуклом — пекло и стужа.  
Чей прозрачный и полый вон тот силуэт —  
неподвижный зигзаг ускользанья отсюда?

Этот контур пустой — облаченье змеи,  
„вЫползина”. (О, как Он расспрашивал Даля  
о словечке!) Добычливы руки мои,  
прытки ноги, с горы напрямик упадая.

Мне казалось, что смотрит нагая змея,  
как себе я беру ее кружев обноски,  
и смеется. Ребенок заждется меня,  
но подарком змеи как упьется он после!

Но препона была продвижению вниз:  
на скале, под которою зелен мой домик, —  
дрожь остуды, сверканье хрустальных ресниц,  
это — ландыши, мытарство губ и ладоней.

Дале — книгу открыть и отдать ей цветок,  
в ней и в небе о том перечитывать повесть,  
что румяной зарёю покрывлся восток,  
и обдумывать эту чудесную новость.

6–7 июня 1985

Сортавала



## ЧЕРЕМУХА БЕЛОНОЩНАЯ

Черемухи вдыхатель, воздыхатель,  
опять я пью настой ее души.  
Пристрастьем этим утомлен читатель,  
но мысль о нём не водится в глуши.

Май подмосковный жизнь ее рассеял  
и сестрорецкий позабыл июнь.  
Я снегирем преследовала север,  
чтобы врасплох застать ее канун.

Фиалки собирала Сортавала,  
но главная владычица камней  
еще свои намеренья скрывала,  
еще и слуху не было о ней.

И кто она? Хоть родом из черемух —  
не ищет и чурается родства.  
Вдоль строгих вод серебряно-чернёных  
из холода она произросла.

Я — вчуже ей, южна и чужестранна.  
Она не сообщительна в цвету:  
нисколько задушевничать не стала,  
в неволю не пошла на поводу.

Рубаха-куст, что встрёпан и распахнут,  
ей жалок. У нее другая статья.  
Как замкнуто она, как гордо пахнет —  
ей не пристало ноздри развлекать.

*Белла Ахмадулина*

Когда бы поэтических намёков  
был введом слог красавице моей, —  
ей был бы предпочтителен Набоков.  
А с челядью — зачем якшаться ей?

Что делать мне? К вниманию маньяка  
черемуха брезглива и слепа.  
Не ровня ей навязчивый меняла  
запретных тайн на мелкие слова.

Она — бельмо в моих глазах усталых  
и кисея завесы за окном:  
в ее черте, в урочище русалок  
был возведен бледно-зеленый дом.

Дом и растение призрачны на склоне  
горы, бледно-зеленом, как они.  
Все здесь бледны, все зелены, но вскоре  
порозовеет с правой стороны.

Ночного света маленькая убыль.  
Внутри огня, помоста на краю,  
с какой тоской: — Она меня не любит! —  
я голосом Сальвини говорю.

Соцветья суверенные повисли,  
но бодрствуют. Кому она верна?  
Зачем не любит? Как ее по-фински  
зовут? С утра спрошу у словаря.

...Нет надобного словаря в читальне.  
Не утерпевшей на виду не быть,  
пусть имя маски остается в тайне —  
не Блоку же перечить и грубить.

Записку мне послала Сортавала.  
Чья милая, чья добрая рука  
для блажи чужака приоткрывала  
родную одинокость языка?

Всё нежность, нежность. И не оттого ли  
растенье потупляет наготу  
пред грубым взором? Ведь, она — туоми.  
И кúкива туоми, коль в цвету.

Туоми пуу — дерево. Не легче  
от этого. Вблизи небытия  
ответствует черемухи наречье:  
— Ступай себе. Я не люблю тебя.

Еще свежа и голову туманит.  
Ужель вся эта хрупкость к сентябрю  
на ягоды пойдет? (Туомénмáрьят —  
я с тайным раздраженьем говорю.)

И снова ночь. Как удалась мгновенью  
такая закись света и темна?  
Туоми, так ли? Я тебе не верю.  
Прощай, Туоми. Я люблю тебя.

7–9 июня 1985

Сортавала

Не то, чтоб я забыла что-нибудь, —  
я из людей, и больно мне людское, —  
но одинокий мной проторен путь:  
взойти на высший камень и вздохнуть,  
и всё смотреть на озеро морское.

Туда иду, куда меня ведут  
обочья скал, лиловых от фиалок.  
Возглавие окольных мхов — валун.  
Я вглядываюсь в север и в июнь,  
их распластав внизу, как авиатор.

Меня не опасается змея:  
взгляд из камней недвижим и разумен.  
Трезубец воли, скрытой от меня,  
связует воды, глыбы, времена  
со мною и пространство образует.

Поднебно вздыбье каменных стропил.  
Кто я? Возьму державинское слово:  
я — некакий. Я — некий нетопырь,  
не тороплив мой лёт и не строптив  
чуть выше обитания земного.

Я думаю: вернуться ль в род людей,  
остаться ль здесь, где я не виновата  
иль прощена? Мне виден ход ладей  
пред-ладожский и — дальше и левей —  
нет, в этот миг не видно Валаама.

8–9 июня 1985

Сортавала

Здесь никогда пространство не игриво,  
но осторожный анонимный цвет —  
уловка прятков, ночи мимикрия:  
в среде черемух зримой ночи нет.

Но есть же! — это мненье циферблата,  
два острия возведшего в зенит.  
Благоуханье не идет во благо  
уму часов: он невпопад звенит.

Бескровны формы неба и фиорда.  
Их полых впадин кем-то выпит цвет.  
Диковиной японского фарфора  
черемухи подрагивает ветвь.

Восславив полночь дребезгами бреда,  
часы впадают в бледность забытья.  
Взор занят обреченно и победно  
черемуховой гроздью бытия.

10–11 июня 1985

Сортавала

Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет,  
от соседства-родства упасенный отшибом.  
Лишь увидела дом — я подумала: вот  
обиталище надобных снов и ошибок.

В его главном окне обитает вода,  
назовем ее Ладогой с малой натяжкой.  
Не видна, но Полярная светит звезда  
в потайное окно, притесненное чащей.

В эти створки гляжу, как в чужой амулет  
иль в укрытие слизня, что сглазу не сносит.  
Склон горы, опрокинувшись и обомлев,  
дышит жабрами щелей и бронхами сосен.

Дом причастен воде и присвоен горой.  
Помыкают им в очередь волны и камни.  
Понукаемы сдвоенной белой зарей  
преклоненье хребта и хвоста пресмыканье.

Я люблю, что его чешуя зелена.  
И ночному прохожему видно с дороги,  
как черемухи призрак стоит у окна  
и окна выражение потусторонне.

Дому придан будильник. Когда горизонт  
расплывется и марля от крыльев злоторных  
добавляет туману, — пугающий звон  
издает заточенный в пластмассу затворник.

Дребезжит самовольный перпетуум-плач.  
Ветвь черемухи — большего выпуклый образ.  
Второгодник, устав от земных неудач,  
так же тупо и пристально смотрит на глобус.

Полночь — вот вопросительной ветви триумф.  
И незримый наставник следит с порицанием.  
О решенье задачи сносился мой ум.  
Вид пособия наглядного непроницаем.

Скудость темени — свалка пустот и чернот.  
Необщительность тайны меня одолеет.  
О, узреть бы под утро прозрачный чертог  
вместо зыбкого хаоса, как Менделеев.

Я измучилась на белонощном посту,  
и черемуха перенасыщена мною.  
Я, под панцирем дома, во мхи уползу  
и лицо оплесну неразгаданной мглою.

Покосившись на странность занятий моих,  
на работу идет непроснувшийся малый.  
Он не знает, что грустно любим в этот миг  
изнуренным окном, перевязанным марлей.

Кто прощает висок, не познавший основ?  
Кто смешливый и ласковый смотрит из близи?  
И колышется сон... убаюканный сон...  
сон-аргентум в отчетливой отчетной таблице.

11–12 июня 1985

Сортавала

Я — лишь горы моей подножье,  
и бытия величина  
в жемчужной раковине ночи  
на весь июнь заточена.

Внутри немеркнувшего нимба  
души прижился завиток.  
Иль Ибсена закрыта книга,  
а я — засохший в ней цветок.

Всё кличет кто-то: Сольвейг! Сольвейг! —  
в чащобах шхер и словарей.  
И, как на исповеди совесть,  
блаженно страждет соловей.

В жемчужной раковине ночи,  
в ее прозрачной свето-тьме  
не знаю я сторонней нови,  
ее гонец не вхож ко мне.

Мгновенье сомкнутого ока  
мою зеницу бережет.  
Не сбережет: меня жестоко  
всеобщий призовет рожок.

Когда в июль слепящий выйду  
и вспомню местность и людей,  
привыкну ль я к чужому виду  
наружных черт судьбы моей?



Дни станут жарче и короче,  
и чайка выключет чуть свет  
в жемчужной раковине ночи  
невзрачный водянистый след .

12–13 июня 1985

Сортавала

Где Питкьяранта? Житель питкьярантский  
собрался в путь. Автобус дребезжит.  
Мой тайный глаз, живущий под корягой,  
автобуса оглядывает жизнь.

Пока стоим. Не поспешает к цели  
сквозной приют скитальцев и сирот.  
И силуэт старинной финской церкви  
в проёме арки скорбно предстает.

Грейпфрут — добыча многих. Продавала  
торговли придурь неуместный плод.  
Эх, Сердоболь, эх, город Сортавала!  
Нюх отворён и пришлый запах пьёт.

Всех обликов так скудно выраженье,  
так загнан взгляд и неказиста стать,  
словно они эпоху Возрожденья  
должны опровергать и попирать.

В дверь, впопыхах, три девушки скакнули.  
Две первые пригожи, хоть грубы.  
Содеяли уроки физкультуры  
их наливные руки, плечи, лбы.

Но простодушна их живая юность,  
добротна плоть, и дело лишь за тем  
(он, кстати, рядом), кто зрачков угрюмость  
примерит к зову их дремотных тел.

Но я о той, о третьей их подруге.  
Она бледна, расплывчато полна,  
пьяна, но четко обнимают руки  
припасы бедной снеди и вина.

Совсем пьяна, и сонно и безгрешно  
пустует глаз, безвольно голубой,  
бесцветье прядей Ладогe прибрежно,  
бесправье черт простёрто пред судьбой.

Поехали! И свалки мимолётность  
пронзает вдруг единством и родством:  
котомки, тетки, дети, чей-то локоть —  
спасемся ль, коль друг в друга прорастём?

Гремим и едем. Хвойными грядами  
обведено сверкание воды.  
На всех балконах — рыбьих душ гирлянды.  
Фиалки скал издалика видны.

Проносится роскошный дух грейпфрута,  
словно гуляка, что тряхнул мошной.  
Я озираю, мучась и ревнуя,  
сокровища черемухи сплошной.

Но что мне в этой, бледно-белой, блёклой,  
с кульками и бутылками в руках?  
Взор, слабоумно-чистый и далекий,  
оставит грамотея в дураках.

Ее толкают: — Танька! — дремлет Танька,  
но сумку держит цепкостью зверька.  
Блаженной, древней исподволи тайна  
расширила бессмыслицу зрачка.

Должно быть, снимок есть на этажерке:  
в огромной кофте Танька лет пяти.  
Готовность к жалкой и неясной жертве  
в чертах приметна и сбылась почти.

*Белла Ахмадулина*

Да, этажерка с розаном, каморка.  
В таких стенах роль сумки велика.  
Брезгливого и жуткого кого-то  
в свой час хмельной и Танька завлекла.

Подружек ждет обнимка танцплощадки,  
особый смех, прищуриванье глаз.  
Они уйдут. А Таньке нет пощады.  
Пусть мается — знать, в мае родилась.

С утра не сыщется маковой росинки.  
Окурки, стужа, лютая кровать.  
Как размыкать ей белые ресницы?  
Как миг снести и век провековать?

Мне — выходить. Навек я Таньку брошу.  
Но всё она стоит передо мной.  
С особенной тоской я вижу брошку:  
юродивый цветочек жестяной.

13–14 июня 1985

Сортавала

## НОЧНОЕ

Ночные измышленья, кто вы, что вы?  
Мне жалко вашей робкой наготы.  
Жаль, что нельзя, нет сил надвинуть шторы  
на дождь в окне, на мокрые цветы.

Всё отгоняю крылья херувима  
от маленького ада ночника.  
Черемуха – слепая балерина –  
последний акт печально начала.

В чём наша связь, писания ночные?  
Вы – белой ночи собственная речь.  
Она пройдет – и вот уже ничьи вы.  
О ней на память надо ль вас беречь?

И белый день туманен, белонощен.  
Вниз поглядеть с обрыва – всё равно  
что выхватить кинжал из мягких ножен:  
так вод холодных остро серебро.

Дневная жизнь – уловка, ухищренья  
приблизить ночь. Опаска всё сильнее:  
а вдруг вчера в над-ладожском ущелье  
дотла испепелился соловей?

Нет, Феникс мой целёхонек и свищет:  
слог, слог – тире, слог, слог – тире, тире.  
Пунктира ощупь темной цели ищет,  
и слаще слова стопор слов в строке.

*Белла Ахмадулина*

Округла полночь. Всё свежо, всё внове.  
Я из чужбины общей ухожу  
и возвращаюсь в отчее, в ночное.  
В ночное — что? В ночное — что хочу.

14—15 июня 1985

Сортавала

Вся тьма — в отсутствии, в опале,  
да несподручно без огня.  
Пишу, читаю — но лампы  
нет у людей, нет у меня.

Электрик запил, для элегий  
тем больше у меня причин,  
но выпросить простых энергий  
не удалось мне у лучин.

Верней, лучинушки-лучины  
не добыла, в сарай вошел:  
те, кто мотиву научили,  
сокрыли, как светец возжечь.

Немногого недоставало,  
чтоб стала жизнь моя красна,  
веретено мое сновало,  
свисала до полу коса.

А там, в рубахе кумачовой,  
а там, у белого куста...  
Ни-ни! Брусникою мочёной  
прилежно заняты уста.

И о свече — вотще мечтанье:  
где нынче взять свечу в глуши?  
Не то бы предавалась тайне  
душа вблизи ее души.

Я б села с кротким рукодельем...  
ах, нет, оно несносно мне.  
Спросила б я: — О, Дельви́г, Дельви́г,  
бела ли ночь в твоём окне?

Мне б керосинового света  
зеленый конус, белый круг —  
в канун столетия и лета,  
где сад глубок и берег крут.

Меня б студента-златоуста  
пленил мундир, пугал апломб.  
„Так говори, как Заратустра!“ —  
он написал бы в мой альбом.

Но всё это пустая грёза.  
Фонарик есть, да нет в нём сил.  
Ночь и электрик правы розно:  
в ночь у него родился сын.

Спасибо вечному обмену:  
и ночи цвет не поврежден,  
и посрамленному Амперу  
соперник новый нарожден.

После полуночи темнеет —  
не вовсе, не дотла, едва.  
Все спать улягутся, но мне ведь  
привычней складывать слова.

Я авторучек в автолавке  
больной букет приобрела:  
темны их тайные таланты,  
но масть пластмассы так бела.

Вот пальцы зоркие поймали  
бег анемичного пера.  
А дальше просто: лист бумаги  
чуть ярче общего пятна.



Несупротивна ночи белой  
неразличимая строка.  
Но есть светильник неумелый —  
сообщник моего окна.

Хранит меня во тьме короткой,  
хранит во дне, хранит всегда  
черемухи простонародной  
высокородная звезда.

Вдруг кто-то сыщется и спросит:  
зачем при ней всю ночь сижу?  
Что я отвечу? Хрупкий ответ,  
как я должна, так обвожу.

Прости, за то прости, читатель,  
что я не смыслов поставщик,  
а вымыслов приобретатель  
черемуховых и своих.

Электрик, загулявший на ночь,  
сурово смотрит на зарю  
и говорит: „Всё сочиняешь?” —  
„Всё починяешь?” — говорю.

Всяк о своем печётся свете  
и возгорается, смеясь,  
залатанной электросети  
с вот этими стихами связь.

15–17 мая 1985

Сортавала

Лапландских летних льдов недалняя граница.  
Хлад Ладоги глубок, и плавлен ход ладьи.  
Ладони ландыш дан и в ладанке хранится.  
И ладен строй души, отверстой для любви.

Есть разве где-то юг с его латунным пеклом?  
Брезгливо серебро к затратам золотым.  
Ночь-римлянка влачит свой белоснежный пеплум.  
(Латуни не нашлось, так сыщется латынь.)

Приладились слова к приладожскому ладу.  
(Вкруг лада — всё мое, Брокгауз и Ефрон.)  
Ум — гения черта, но он вредит таланту:  
стих, сочиненный им, всегда чуть-чуть соврёт.

В околицах ума, в рассеянных чернотах,  
ютится бедный дар и пробует сказать,  
что он не позабыл ладыжинских черемух  
в пред-ладожской стране, в над-ладожских скалах.

Лещинный мой овраг, разлатанный, ледащий,  
мною обольщен и мною приважен к похвалам.  
Валунный водолей, над Ладогой летящий,  
благослови его, владыко Валаам.

Черемух розных двух пересеченьем тайным  
мой помысел ночной добыт и растворен  
в гордыне бледных сфер, куда не вхож ботаник, —  
он, впрочем, не вступал в безумный разговор.

Фотограф знать не мог, что выступит на снимке  
присутствие судьбы и дерева в окне.  
Средь схемы световой — такая сила схимы  
в зрачке, что сил других не остается мне.

Лицо и речь — души неодолимый подвиг.  
В окладе хладных вод сияет день молодой.  
Меж утомленных век смешались полночь, полдень,  
лад, Ладога, ладонь и сладкий сон благой.

17–20 июня 1985

Сортавала

Всё шхеры, фиорды, ущельных существ  
оттуда пригляд, куда вживе не ходят.  
Скитания омутно-леший сюжет,  
остуда и оторопь, хвоя и холод.

Зажжён и не гаснет светильник сырой.  
То — Гамсуна пагуба и поволока.  
С налёту и смолоду прянешь в силок —  
не вырвешь души из его приворота.

Болотный огонь одолел, опалил.  
Что — белая ночь? Это имя обманно.  
Так назван условно маньяк-аноним,  
чьим бредням моя приглянулась бумага.

Он рыщет и свищет, и виснут усы,  
и девушке с кухни понятны едва ли  
его бормотанья: — Столь грешные сны  
страшны или сладостны фрёкен Эдварде?

О, фрёкен Эдварда, какая тоска —  
над вечно кипящей геенной отвара  
помешивать волны, клубить облака —  
какая отвага, о фрёкен Эдварда!

И девушка с кухни страшится и ждет.  
Он сгинул в чащобе — туда и дорога.  
Но огненной порчей смущает и жжет  
наитье прохладного глаза дурного.

Я знаю! Сама я гоняюсь в лесах  
за лаем собаки, за гильзой пустою,  
за смехом презренья в отравных устах,  
за гибелью сердца, за странной мечтою.

И слышится в сырости мха и хвоща:  
— Как скушно! Ничто не однажды, всё — дважды  
иль многожды. Ждет не хлыста, а хлыща  
звериная душенька фрёкен Эдварды.

Все фрёкен Эдварды во веки веков  
бледны от белил захолустной гордыни.  
Подале от них и от их муженьков!  
Обнимемся, пёс, мы свободны отныне.

И — хлыст оставляет рубец на руке.  
Пёс уши уставил в мой шаг осторожный.  
— Смотри, — говорю, — я хожу налегке:  
лишь посох, да плащ, да сапог остроносый.

И мне, и тебе, белонощный собрат,  
двоюродны люди и ровня — наяды.  
Как мы — так никто не глядит на собак.  
Мы встретились — и разминёмся навряд ли.

Так дивные дива в лесу завелись.  
Народ собирался и медлил с облавой —  
до разрешенья ответственных лиц  
покончить хотя бы с бездомной собакой.

С утра начинает судачить табльдот  
о призраках трёх, о кострах их наскальных.  
И девушка с кухни кофейник прольет  
и слепо и тупо взирает на скатерть.

Двоится мой след на росистом крыльце.  
Гость-почерк плетет письма предо мною.  
И в новой, чужой, за-озерной красе  
лицо провинилось пред явью дневною.

*Белла Ахмадулина*

Всё чушь, чешуя, серебристая чудь.  
И девушке с кухни до страсти охота  
и страшно — крысиного яства чуть-чуть  
добавить в унылое зелье компота.

20–21 июня 1985

Сортавала

Так бел, что опалает веки,  
кратчайшей ночи долгий день,  
и белоручкам белошвейки  
прощают молодую лень.

Оборок, складок, кружев, рюшей  
сегодня праздник выпускной  
и расставанья срок горячий  
моей черемухи со мной.

В ночи девичьей, хороводной  
есть болевотворная тоска.  
Ее, заботой хлороформной,  
туманят действия цветка.

Воскликнет кто-то: знаем, знаем!  
Приелся этот ритуал!  
Но всех поэтов всех избранниц  
кто не хулил, не ревновал?

Нет никого для восклицаний:  
такую я сыскала глушь,  
что слышно, как, гонимый цаплей,  
в расщелину уходит уж.

Как плавно выступала пава,  
пока была ее пора! —  
опалом пагубным всплывала  
и Анной Павловой плыла.

Еще ей рукоплещут ложи,  
еще влюблен в нее бинокль —  
есть время вымолвить: о Боже! —  
нет черт в ее лице больном.

Осталась крайность славы: тризна.  
Растенье свой триумф снесло,  
как знаменитая артистка, —  
скоропостижно и светло.

Есть у меня чулан фатальный.  
Его окно темнит скала.  
Там долго гроб стоял хрустальный,  
и в нём черёмуха спала.

Давно в округе обгорело,  
быльём зеленым поросло  
ее родительское древо  
и всё недалнее родство.

Уж примерялись банты бала.  
Пылали щёки выпускниц.  
Красавица не открывала  
дремотно-приторных ресниц.

Пеклась о ней скалы дремучесть  
всё каменистей, всё лесней.  
Но я, любя ее и мучась, —  
не королевич Елисей.

И главной ночью длинно-белой,  
вблизи неутолимых глаз,  
с печальной грацией несмелой  
царевна смерти предалась.

С неизъяснимою тоскою,  
словно былую жизнь мою,  
я прах ее своей рукою  
горы подножью отдаю.



– Еще одно настало лето, –  
сказала девочка со сна.  
Я ей заметила на это:  
– Еще одна прошла весна.

Но жизнь свежа и беспощадна:  
в черемухи прощальный день  
глаз безутешный – мрачно, жадно  
успел воззриться на сирень.

21–22 июня 1985

Сортавала

Лишь июнь сортавальские воды согрел —  
поселенья опальных черемух сгорели.  
Предстояла сирень, и сильнее и скорей,  
чем сирень, расцвело обожанье к сирени.

Тьмам цветений назначил собор Валаам.  
Был ли молод монах, чье деянье сохранно?  
Тосковал ли, когда насаждал-поливал  
очертания нерукотворного храма?

Или старец, готовый пред Богом предстать,  
содрогнулся, хоть глубь этих почв не червива?  
Суммой сумрачной заросли явлена страсть.  
Ослушанье послушника в ней очевидно.

Это — ересь июньских ночей на устах,  
сон зрачка, загулявший по ладожским водам.  
И не виден мне богобоязненный сад,  
дали ветку сирени — и кажется: вот он.

У сиреневых сводов нашелся один  
прихожанин, любое хождение отвергший.  
Он глядит нелюдимо и сиднем сидит,  
и крыльцу его — в невидаль след человеческий.

Он заране запасся скалою в окне.  
Есть сусек у него: ведовская каморка.  
Там он держит скалу, там случилось и мне  
заглядеться в ночное змеиное око.

Он хватает сирень и уносит во мрак  
(и выносит черемухи остов и осыпь).  
Не причастен сему светлоликий монах,  
что терпеньем сирени отстаивал остров.

Наплывали разбой и разор по волнам.  
Тем вольней принималась сирень разрастаться.  
В облаченье лиловом вставал Валаам,  
и смотрело растенье в глаза святотатца.

Да, хватает, уносит и смотрит с тоской,  
обожая сирень, вождедея сирени.  
В чернокнижной его кладовой колдовской  
борода его кажется старше, синее.

Приворотный отвар на болотном огне  
закипает. Летают крылатые мыши.  
Помутилась скала в запотевшем окне:  
так дымится отравное варево мысли.

То ль юннат, то ли юный другой следопыт  
был отправлен с проверкою в дом под скалою.  
Было рано. Он чая еще не допил.  
Он ушел, не успев попрощаться с семьею.

Он вернулся не скоро и вчуже смотрел,  
говорил неохотно, держался сурово.  
— Там такие дела, там такая сирень, —  
проронил — и другого не вымолвил слова.

Относили затворнику новый журнал,  
предлагали газету, какую угодно.  
Никого не узнал. Ничего не желал.  
Грубо ждал от смущенного гостя — ухода.

Лишь остался один — так и прыгнул в тайник,  
где храним ненаглядный предмет обожанья.  
Как цветет его радость! Как душу томит,  
обещать не умея и лишь обольщая!

Неужели нагрянут, спугнут, оторвут  
от судьбы одинокой, другим не завидной?  
Как он любит течение ее и триумф  
под скалою лесною, звериной, змеиной!

Экскурсантам, что свойственны этим местам,  
начал было твердить предводитель экскурсий:  
вот-де дом под скалой... Но и сам он устал,  
и народу казалась история скушной.

Был забыт и прощён ее скромный герой:  
ответ острова сердце склоняет к смиренью.  
От свершений мирских упасаем горой,  
пусть сидит со своей монастырской сиренью.

22–23 июня 1985

Сортавала

То ль потому, что ландыш пожелтел  
и стал невзрачной пользой аптечной,  
то ль отвращенье возбуждал комар  
к съедобной плоти — родственнице тел,  
кормящихся добычей бесконечной,  
как и пристало лакомым кормам...

То ль потому, что встретила змея, —  
я бы считала встречу добрым знаком,  
но так она не расплела колец,  
так равнодушно видела меня,  
как если б я была пред вещим зраком  
пустым экраном с надписью: „конец”...

То ль потому, что смерклось на скалах  
и паузой ответила кукушка  
на нищенский и детский мой вопрос, —  
схоласт-рассудок явственно сказал,  
что мне мое не удалось искусство, —  
и скушный холод в сердце произрос.

Нечаянно рука коснулась лба:  
в чём грех его? в чём бедная ошибка?  
Достало и таланта, и ума,  
но слишком их таинственна судьба:  
окраинней и глуше нет отшиба,  
коль он не спас — то далее куда?

Вчера, в июня двадцать третий день,  
был совершенен смысл моей печали,

как вид воды — внизу, вокруг, вдали.  
Дано ль мне знать, как глаз змеи глядел?  
Те, что на скалах, ландыши увяли,  
но ландыши низин не отцвели.

23–24 июня 1985

Сортавала

Сверканье блёсен, жалобы уключин.  
Лишь стол и я смеемся на мели.  
Все ловят щук. Зато веленьем щучьим  
сбываются хотения мои.

Лилового махрового растенья  
хочу! — сгустился робкий аметист  
до зауми чернильного оттенка,  
чей мрачный слог мастит и знаменит.

Исчадь дальне-родственных династий,  
породы упованье и итог, —  
пустив на буфы бархат кардинальский,  
цветок вступает в скудный мой чертог.

Лишь те, чей путь — прыжок из грязи в князи,  
пугаются кромешности камор.  
А эта гостья — на подмостках казни  
войдет в костер: в обыденный комфорт.

Каморки заковыристой отшелье —  
ночных крамол и таинств закрома.  
Не всем домам дано вовнутрь ущелье.  
Нет, не во всех домах живет скала.

В моём — живет. Мох застилает окна.  
И Север, преступая перевал,  
зажигает и туманит стёкла,  
вот и сегодня вспомнил, побывал.

Красе цветка отечественна здравость  
темнот застойных и прохладных влаг.  
Он полюбил чужбины второзданность:  
чащобу-дом, дом-волю, дом-овраг.

Явилась в нём нездешняя осанка,  
и выдаст обращенья простота,  
что эта, под вуалем, чужестранка —  
к нам ненадолго и не нам чета.

Кровь звёзд и бездн под кожей серебрится,  
и запах умоляюще не смел,  
как слабый жест: ненадобно так близко!  
здесь — грань прозрачных и возбранных сфер.

Высокородный выкормыш каморки  
приемлет лилий флорентийских весть,  
обмолвки, недомолвки, оговорки  
вобрав в лилейный и лиловый цвет.

Так, усмотреньем рыбы востроносой,  
в теснине каменистого жилья,  
со мною делят сумрак осторожный  
скала, цветок и ночь-ворожея.

Чтоб общежитья не смущать основы  
и нам пред ним не возгордиться вдруг,  
приходят блики, промельки, ознобы  
и замыкают узко-стройный круг.

— Так и живете? — Так живу, представьте.  
Насущнее всех остальных проблем —  
оставленный для Ладоги в пространстве  
и Ладогой заполненный пробел.

Соединив живой предмет и образ,  
живет за дважды каменной стеной  
двужильного уединенья доблесть,  
обняв сирень, оборонясь скалой.



А этот вот, бредущий по дороге,  
невзгодой оглушенный человек  
как связан с домом на глухом отроге  
судьбы, где камень вещ и островерх?

Всё связано, да объяснить не просто.  
Скала — затем, чтоб тайну уберечь.  
Со временем всё это разберется.  
Сейчас — о ночи и сирени речь.

24–25 июня 1985

Сортавала

Вошла в лиловом в логово и в лоно  
ловушки — и благословил ловец  
всё, что совсем, почти, едва лилово  
иль около-лилово, наконец.

Отметина преследуемой масти,  
вернись в бутон, в охранную листву:  
всё, что повинно в ней хотя б отчасти,  
несет язычник в жертву божеству.

Ему лишь лучше, если цвет уклончив:  
содеяв колоколенки разор,  
он нехристом напал на колокольчик,  
но распалил и не насытил взор.

Анютиных дикорастущих глазок  
здесь досталь, и, в отсутствие Анют,  
их дикие глаза на скалолазов  
глядят, покуда с толку не собыют.

Маньяк бросает выросший для взгляда  
цветок к ногам лиловой госпожи.  
Ей всё равно. Ей ничего не надо,  
но выговорить лень, чтоб прочь пошли.

Лишь кисть для акварельных окроплений  
и выдох жабр, нырнувших в акваспорт,  
нам разъясняют имя аквилегий,  
и попросту выходит: водосбор.

В аквариум окраины садовой  
растенье окунает плавники.  
Завидев блеск серебряно-съедобный,  
охотник чайкой прынул в цветники.

Он страшен стал! Он всё влачит в лачугу  
к владычице, к обидчице своей.  
На Ладоги вечернюю кольчугу  
он смотрит всё угрюмей и сильней.

Его терзает сизое сверканье  
той части спектра, где сидит фазан.  
Вдруг покусится на перо фазанье  
запреты презирающий азарт?

Нам повезло: его глаза воззрились  
на цветовой потуги абсолют —  
на ирис, одинокий, как Озирис  
в оазисе, где лютик робко-лют.

Не от сего он мира — и погибнет.  
Ущербно-львиный по сравненью с ним,  
в жилище, баснословном, как Египет,  
сфинкс захолустья бредит и не спит.

И даже этот волокита-рыцарь,  
чьи притязанья отемнили дом, —  
бледнеет раб и прихвостень царицын,  
лиловой кровью замарав ладонь.

Вот — идеал. Что идол, что идея!  
Он — грань, пред-хаос, крайность красоты,  
устойчивость и грация изделия  
на волосок от роковой черты.

Покинем ирис до его скончанья —  
тем боле что лиловости вампир,  
владея ею и по ней скучая,  
припас чернил давно до дна допил.

*Белла Ахмадулина*

Страдание сознания больного —  
сирень, сиречь: наитье и напасть.  
И мглистая цветочная берлога —  
душно-лилова, как медвежья пасть.

Над ней — дымок, словно она — Везувий  
и думает: не скушно ль? не пора ль?  
А я? Умно ль — Офелией безумной  
цветы собирать и песню напевать?

Плутаю я в просторном фиолете.  
Свод розовый стал меркнуть и синеть.  
Пришел художник, заиграл на флейте.  
Звана сирень — ослышалась свирель.

Уж примелькалась слуху их обнимка,  
но дудочка преследует цветок.  
Вот и сейчас — печально, безобидно  
всплыл в сумерках их общий завиток.

Как населили этот вечер летний  
оттенков неземные мотыльки!  
Но для чего вошел художник с флейтой  
в проём вот этой прерванной строки?

То ль звук меня расстроил неискомый,  
то ль хрупкий неприкаянный артист  
какой-то незапамятно-иконный,  
прозрачный свет держал между ресниц, —

но стало грустно мне, так стало грустно,  
словно в груди всплакнула смерть птенца.  
Сравненью ужаснувшись, трясогузка  
улепетнула с моего крыльца.

Что делаю? Чего ищу в сирени —  
уж не пяти, конечно, лепестков?  
Вся жизнь моя — чем старе, тем страннее.  
Коль есть в ней смысл, пора бы знать: каков?

Я слышу — ошибаюсь неужели? —  
я слышу в еженощной тишине  
неотвратимой воли наущенье —  
лишь послушанье остается мне.

Лишь в полночь весть любовного ответа  
явилась изумленному уму:  
отверстая заря была со-цветна  
цветному измышленью моему.

25–27 июня 1985

Сортавала

Пора, прощай моя скала,  
и милый дом, и в нём каморка,  
где всё моя сирень спала, —  
как сновиденно в ней, как мокро!

В опочивальне божества,  
для козней цвета и уловок,  
подрагивают существа  
растений многажды лиловых.

В свой срок ступает на порог  
акцент оттенков околичных:  
то маргариток говорок,  
то орхидеи архаичность.

Фиалки, водосбор, люпин,  
качанье перьев, бархат мантий.  
Но ирис боле всех любим:  
он — средоточье черных магий.

Ему и близко равных нет.  
Мучителен и хрупок облик,  
как вывернутость тайных недр  
в кунсткамерных прозрачных колбах.

Горы подножье и подвал —  
словно провал ума больного.  
Как бедный Врубель тосковал!  
Как всё безвыходно лилово!

Но зачарован мой чулан.  
Всего, что вне, душа чуралась,  
пока садовник учинял  
сад: чудо-лунность и чуланность.

И главное: скалы визит  
сквозь стену и окно глухое.  
Вошла — и тяжело висит,  
как гобелен из мха и хвои.

А в комнате, где правит стол,  
есть печь — серебряная львица.  
И соловьиный произвол  
в округе белонощной длится.

О чём уста ночных молитв  
так вздыхают и пекутся?  
Сперва пульсирует мотив  
как бы в предсердии искусства.

Всё горячее перебой  
артерии сакраментальной,  
но бесполезен перевод  
и суесловен комментарий.

Сомкнулись волны, валуны,  
канун разлуки подневольной,  
ночь белая и часть луны  
над Ладогою хладноводной.

Ночь, соловей, луна, цветы —  
круг стародавних упований.  
Преуспеянью новизны  
моих не нужно воспеваний.

Она б не тронула меня!  
Я — ей вреда не причиняла  
во глубине ночного дня,  
в челне чернильного чулана.

*Белла Ахмадулина*

Не признавайся, соловей,  
не растолковывай, мой дальний,  
в чём смысл страдальческой твоей  
нескладицы исповедальной.

Пусть всяко понимает всяк  
слогов и пауз двуединость,  
утайки маленькой пустяк —  
заветной тайны нелюдность.

28 июня 1985

Сортавала



Сирень, сирень — не кончилась бы худом  
моя сирень. Боюсь, что не к добру  
в лесу нашла я разоренный хутор  
и у него последнее беру.

Какое место уготовил дому  
разумный финн! Блеск озера слезил  
зрачок, когда спускалась за водою  
красавица, а он за ней следил.

Как он любил жены златоволосой  
податливый и плодоносный стан!  
Она, в невестах, корень приворотный  
заваривала — он о том не знал.

Уже сынок играл то в дровосека,  
то в плотника, и здраво взгляд синел, —  
всё мать с отцом шептались до рассвета,  
и всё цвела и сыпалась сирень.

В пять лепестков она им колдовала  
жить-поживать и наживать добра.  
Сама собой слагалась Калевала  
во мраке хвой вокруг светлого двора.

Не упасет неустрашимый Калев  
добротной, животворной простоты.  
Всё в бездну огнедышащую канет.  
Пройдет полвека. Устоят цветы.

Душа сирени скорбная витает —  
по недосмотру бывших здесь гостей.  
Кто предпочел строению — фундамент,  
румяной плоти — хрупкий хруст костей?

Нашла я доску, на которой режут  
хозяйки снедь на ужинной заре, —  
и заболел какой-то серый скрежет  
в сплетенье солнц, в дыхательном ребре.

Зачем мой ход в чужой цветник вломился?  
Ужель, чтоб на кладбище пировать  
и языка чужого здравомыслье  
возлюбленную речью попирать?

Нет, не затем сирени я добытчик,  
что я сирень без памяти люблю  
и многотолпен стал ее девичник  
в сырой пристройке, в северном углу.

Всё я смотрю в сиреневые очи,  
в серебряные воды тишины.  
Кто помышлял: пожалуй, белой ночи  
достаточно — и дал лишь пол-луны?

Пред-северно, продольно, сыровато.  
Залив стоит отвесным серебром.  
Дождит, и отзовется Сортавала,  
коли ее окликнешь: Сердоболь.

Есть у меня будильник, полномочный  
не относиться к бдению иль сну.  
Коль зазвенит — автобус белонощный  
я стану ждать в двенадцатом часу.

Он появляться стал в канун сирени.  
Он начал до потопа, до войны  
свой бег. Давно сносились, устарели  
его крыла, и лица в нём бледны.

Когда будильник полночи добьется  
по усмотренью только своему,  
автобус белонощный пронесется —  
назад, через потоп, через войну.

В обратность дней, вспять времени и смысла,  
гремит его брезентовый шатёр.  
Погони опасаясь или сыска,  
тревожно озирается шофер.

Вдоль берега скалистого, лесного  
летит автобус — смутен, никакков.  
Одна я слышу жуткий смех клаксона,  
хочу взглядеться в лица седоков.

Но вижу лишь бескровный и зловещий  
туман обличий и не вижу лиц.  
Всё это как-то связано с зацветшей  
сиренью возле старых пепелищ.

Ужель спешат к владениям отцовским,  
к пригожим женам, к милым сыновьям.  
Конец июня: обоняньем острым  
о сенокосе грезит сеновал.

Там — дом смолист, нарядна черепица.  
Красавица ведро воды несла —  
так донесла ли? О скалу разбиться  
автобусу бы надо, да нельзя.

Должна ль я снова ждать их на дороге  
на Питкяранту? (Славный городок,  
но как-то грустно, и озябли ноги,  
я ныне странный и плохой ходок.)

Успею ль сунуть им букет заветный  
и прокричать: — Возьми, несчастный друг! —  
в обмен на скользь и склизь прикосновений  
их призрачных и благодарных рук.

*Белла Ахмадулина*

Легко ль так ночи проводить, а утром,  
чей загодя в ночи содеян свет,  
опять брести на одинокий хутор  
и уносить сирени ветвь и весть.

Мой с диким механизмом поединок  
надолго ли? Хочу чернил, пера  
или заснуть. Но вновь блажит будильник.  
Беру сирень. Хоть страшно – но пора.

28–29 июня 1985

Сортавала

— Что это, что? — Спи, это жар во лбу.

— Чьему же лбу такое пламя впору?

Кто сей со лбом и мыслью лба: веду  
льва в поводу и поднимаюсь в гору?

— Не дать ли льда изнеможенью лба?

— Того ли лба, чья знала дальновидность,  
где валуны воздвигнуть в память льда:  
де, чти, простак, праматерь ледовитость?

— Испей воды и не дотла сгори.

Всё хорошо. Вот склянки, вот облатки.

— Со лбом и львом уже вверху горы:  
клубится грива и сверкают латы.

— Спи, это бред, испекший ум в огне.

— Тот, кто со львом, и лев идут к порогу.  
Коль это мой разыгран бред вовне,  
пусть гением зовут мою хворобу.

И тот, кого так сильно... тот, кому  
прискучил блеск быстротекучей ртути,  
подвёл меня к замёрзшему окну,  
и много счастья было в той минуте.

С горы небес шел латник золотой.  
Среди ветвей, оранжевая, длилась  
его стезя — неслышимой пятой  
след голубой в ней пролагала львиность.

Вождь льва и лев вблизи подошли ко мне.  
Мороз и солнце — вот в чём было дело.  
Так день настал — девятый в декабре.  
А я болела и в окно глядела.

Затмили окна, затворили дом  
(день так сиял!), задвинули ворота.  
Так страшно сердце расставалось с Днём,  
как с тою — тот, где яд, клинок, Верона.

Уж много раз менялись свет и темь.  
В пустыне мглы, в тоске неодолимой,  
сиротствует и полыхает День,  
мой не воспетый, мой любимый — львиный.

19–20 декабря 1985

Ленинград

## ЁЛКА В БОЛЬНИЧНОМ КОРИДОРЕ

В коридоре больничном поставили ёлку. Она и сама смущена, что попала в обитель страданий. В край окна моего ленинградская входит луна и недолго стоит: много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна, переходит луна, и доносится шорох стараний утаить от соседок, от злого непрочного сна нарушение порядка, оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже. Но всё же — канун Рождества. Завтра кто-то дождетя известий, гостинцев, свиданий. Жизнь со смертью — в соседях. Каталка всегда не пуста — лифт в ночи отскрипит равномерность ее упаданий.

Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла. Оснований других не оставлено для упований, но они так важны, так огромны, так несть им числа, что прощен и утешен безвестный затворник подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где ёлка — причина для слёз (не хотели ее, да сестра заносить повелела), сердце бьется и слушает, и — раздалось, донеслось: — Эй, очнитесь! Взгляните — восходит Звезда Вифлеема.

Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву, поспешанье волхвов и неопытной матери локоть, упасавший Младенца с отметиной чуждой во лбу. Остальное — лишь вздор, затянувшейся лжи мимолётность.

Этой плоти больной, извращенной трудом и войной,  
что нужней и отрадней столь просто описанной сцены?  
Но — корят то вином, то другою какою виной  
и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:  
каплей был и блестел, как бессмысленный черный фонарик, —  
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:  
в колокольчик на ёлке названивал крошка-звонарик.

Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.  
Цвет — был меньше, чем розовый: родом из робких, не резких.  
Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.  
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.

А как стали вставать, с неохотой глаза открывать, —  
вдоль метели пронёсся трамвай, изнутри золотистый.  
Все столпились у окон, как дети: — Вот это трамвай!  
Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый, огнистый.

Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.  
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда  
или невидали мне достанет для слёз и любви.  
— Вам не надо ль чего-нибудь? — Нет, ничего нам не надо.

Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.  
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.  
Мать Божия! Смилуйся! Сына о том же проси.  
В День Рожденья Его дай молиться и плакать о каждом!

25 декабря 1985

Ленинград



Поздней весны польза-обнова.  
Быстровелик оползень поля:  
коли и есть посох-опора,  
брод не возбредится к нам.  
„Бысть человек послан от Бога,  
имя ему Иоанн”.

Росталь: растущей воды окиянье.  
Полночь, но опалены  
рытвины вежд и окраин канавье  
досталью полулуны.  
Несть нам отверзий принесть покаянье  
и не прозреть пелены.  
Ходу не имем, прийди, Иоанне,  
к нам на берега полыньи.  
Имя твое в прародстве с именами  
тех, чьи кресты полегли  
в снег, осененный тюрьмой и дымами, —  
оборони, полюби  
лютость округи, поруганной нами,  
иже рекутся людьми.

„Бысть человек послан от Бога,  
имя ему Иоанн”.

О, не ходи! Нынче суббота,  
праздник у нас: посвист разбоя,  
обморок-март, путь без разбора,  
топь, поволока, туман.

Март 1986

Иваново

*Белла Ахмадулина*

## ИВАНОВСКИЕ ПРИПЕВКИ

Созвали семинар — проникнуть в злобу дня,  
а тут и без него говеют не во благе.

Заезжего ума пустует западня:  
не дался день-злодей ловушке и облаве.

Двунадесять язык в Иванове сошлись  
и с ними мой и свой, тринадцатый, злосчастный.  
Весь в Уводь не изыдь, со злобой не созлись,  
Ивановичей род, в хмельную ночь зачатый.

А ежели кто трезв — отымет и отъест  
судьбы деликатес, весь диалект — про импорт.  
Питают мать-отец плаксивый диатез  
тех, кто, возмыв из детств, убьет, но и повымрет.

Забавится дитя: пешком под стол пойдя,  
уже удавку въет для Жучки и для Васьки.  
Ко мне: „Почто зверям суёшь еды-питья?“ —  
„Аз есмь родня зверья, а вы мне — не свояси“.

Перечу языку — порочному сынку  
порушенных пород и пагубного чтива.  
Потылицу чешу, возглавицей реку  
то, что под ней держу в ночи для опочива.

Захаживал Иван, внимал моим словам,  
поддакивал, кивал: „Душа твоя — Таврида.  
Что делаешь-творишь?“ — „Творю тебе стакан“. —  
„Старинно говоришь. Скажи: что есть творило?“ —

„Тебя за речь твою приму ко двору.  
Стучись — я отворю. Отверстый ход — творило”. —  
„В заочье для чего слывешь за татарву?” —  
„Заочье не болит, когда тавром тавримо”.

Ой, город-городок, ой, говор-говорок:  
прядильный монотон и матерок предельный —  
в ооканье вовлѣк и округлил роток,  
опутал, обволок, в мое ушко продетый.

У нас труба копит превыспреннюю синь  
и ненависть когтит промеж родни простенок.  
Мы знаем: стыдно пить, и даже в сырь и стынь  
мы сикера не пьем, обходимся проствейном.

Окликнул семинар: „Куда идешь, Иван?” —  
„На Кубу, семинар, всё наше устремленье”.  
Дивится семинар столь дальним именам.  
(На Кубу — в магазин, за грань, за вод струенье.)

Раздолье для невест — без петуха насест,  
а робятишки есть, при маме и во маме.  
Ест поедом тоска, потом молва доест.  
Чтоб не скучать — девчат черпнули во Вьетнаме.

Четыреста живых и чужеродных чад  
усилили вдовства и девства многолюдность.  
Улыбки их дрожат, потѣмки душ — молчат.  
Субтропиков здесь нет, зато сугуба лютость.

Смуглы, а не рябы, робки, а не грубы,  
за малые рубли великими глазами  
их страх глядит на нас — так, говорят, грибы  
глядят, когда едят их едоки в Рязани.

Направил семинар свой променад в сельмаг,  
проверил провиант — не сныть и не мякину.  
Бахвалился Иван: „Не пуст сусек-сервант.  
Полпяди есть во лбу — читай телемахину”.

За словом не полез — зачем и лезть в карман?  
„Рацеей, — объяснял, — упитана Расея.  
Мы к лишним вообще бесчувственны кормам.  
Нам коло-грядский жук оставил часть растенья”.

Залётный семинар пасет нас от беды:  
де, буйствует вино, как паводок апрельский.  
Иван сказал: „Вино отлично от воды,  
но смысл сего не здесь, а в Кане Галилейской”.

От Иоанна — нам есть наущенье уст,  
и слышимо во мглах: „Восстав, сойдем отсюда”.  
Путина — нет пути. То плачу, то смеюсь,  
то ростепель терплю, то новую остуду.

„Эй, ты куда, Иван?” — „На Кубу, брат-мадам.  
А ты?” — „Да по следам твоим, через половодье”. —  
„Держися за меня! Пройдемся по водам!”  
И то: пора всплакнуть по певчем по Володе.

Ивану говорю по поводу вина:  
„Нам отворенный ход — творило, хоть — травило”.  
Ответствует: „Хвалю! Ой, девка, ой, умна!  
А я-то помышлял про кофе растворимо...”

Март 1986

Иваново

Хожу по околицам дюжей весны,  
вкруг полой воды, и сопутствие чье-то  
глаголаше: „Колицем должен еси?“ —  
сочти, как умеешь, я сбилась со счёта.

Хотелось мне моря, Батума, дождя,  
кофейни и фески Омара-соседа.  
Бубнило уже: „Ты должна, ты должна!“ —  
и двинулась я не овамо, а семо.

Прибой возыметь за спиной, на восток,  
вершины ожегший, воззриться — могла ведь.  
Всевластье трубы помавает хвостом,  
предместье-прихвостье корпит, помогает.

Закат — и скорбит и робеет душа  
пред пурпуром смрадным, прекрасно-зловещим.  
Над гранью земли — ты должна, ты должна! —  
на злате небес — филигрань-человечек.

Его пожирает отверстый вулкан,  
его не спасет тихомолка оврага,  
идет он — и поздно его окликать —  
вдоль пламени, в челюсти антропофага.

Сближаются алое и фиолет.  
Как стебель в середине захлопнутой книги,  
меж ними расплющен его силуэт —  
лишь вмятина видима в стынущем нимбе.

Добыча побоища и дележа —  
невзрачная крапина крови и воли.

Как скушно жужжит: „Ты должна, ты должна!“ —  
тому ли скитальцу? Но нет его боле.

Я в местной луне, поначалу, своей  
луны не узнала, да сжалилась лунность  
и свойски зависла меж черных ветвей —  
так ей приглянулась столь смелая глупость.

Меж тем, я осталась одна, как она:  
лишь нищие звери тянулись во други,  
да звук допекал: „Ты должна, ты должна!“ —  
ужель оборучью хапуги-округи?

Ее постояльцы забыли мотив,  
родимая речь им далече латыни,  
снуют, ненасытной мечтой охватив  
кто — реки хмельные, кто — горы золотые.

Не ласки и взоры, а лягз и возня.  
Пришла для подачи — осталась при плаче.  
Их скаредный скрытень скрадет и меня.  
Незнаемый молвил: „Тем паче, тем паче“.

Текут добры молодцы вотчины вспять.  
Трущобы трещат — и пусты деревеньки.  
Пошто бы им загодя джинсы не дать?  
По сей промтовар все идут в делинквенты.

Восход малолетства задирчив и быстр:  
тетрадки да прятки, а больше — рогатки.  
До зверских убийств от звериных убийств  
по прямопутку шагают ребятки.

Заради наживы решат на ножах:  
не пусто ли брату остаться без брата?  
Пребудут не живы — мне будет не жаль.  
Истец улыбнулся: „Неправда, неправда“.

Да ты их не видывал! Кто ты ни есть,  
они в твою высь не взглянули ни разу.

И крестят детей, полагая, что крест —  
условье улова и средство от сглазу.

До станции и до кладбища дошла,  
чей вид и название содеяны сажей.  
Опять донеслось: „Ты должна, ты должна!” —  
я думала, что-нибудь новое скажет.

Забытость надгробья нежна и прочна.  
О, лакомка, сразу доставшийся раю!  
„Вкушая, вкусих мало мёду, — прочла,  
уже не прочесть: — и се аз умираю”.

Заведомый ангел, жилец не земной,  
как прочие все оснащенный скелетом.  
„Ночной — на дневной, а шестой — на седьмой!” —  
вдруг рывкнул вблизи станционный селектор.

Я стала любить эти вскрики ничьи,  
пророчества малых событий и ругань.  
Утешно мне их соучастье в ночи,  
когда сортируют иль так, озоруют.

Гигант-репетир ударяет впотьмах,  
железо наслав на другое железо:  
вагону, под горку, препона — „башмак” —  
и сыплется снег с потрясенного леса.

Твердящий темно: „Ты должна, ты должна!” —  
учись направлять, чтобы слышащий понял,  
и некий ночной, грохоча и дрожа,  
вспомнил свой долг и веленье исполнил.

Незрячая ошупь ума не точна:  
лелея во мгле коридора-ущелья,  
не дали дитяти дьячка для тычка,  
для лестовицей ременной наущенья.

Откройся: кто ты? Ослабел и уснул  
зломурый, как мурын, посёлок немыйтый.

*Белла Ахмадулина*

Суфлёр в занебесном укрытье шепнул:  
„Ты знаешь его, он — неправедный мытарь.

Призвал он когóждо из должников,  
и мало взыскал, и хвалим был от Бога”.  
Но, буде ты — тот, почему не таков  
и не отпустишь от мзды и побора?

Окраина эта тошна и душна! —  
Брезгливо изрёк сортировочный рупор:  
„Зла суща — ступай, ибо ты не должна  
ни нам, ни местам нашим гиблым и грубым.

Таков уж твой сорт”. — И подавленный всхлип  
превысил слова про пути и про рейсы.  
Потом я узнала: там сцепщик погиб.  
Сам голову положил он на рельсы.

Не он ли вчера, напоследок дыша,  
вдоль неба спешил из огня да в полымя?  
И слабый пунктир — ты должна, ты должна! —  
насквозь пролегал между нами двоими.

Хожу к тете Тасе, сижу и гляжу  
на розан бумажный в зеленом вазоне.  
Всю ночь потолок над глазами держу,  
понять не умею и каюсь во злобе.

Иду в Афанасово крепким ледком,  
по талой воде возвращаюсь оттуда.  
И по пути, усмехнувшись тайком,  
куплю мандариновый джем из Батума.

Покинувший — снова пришел: „Ты должна  
заснуть, возомненья приидут иные”.  
Заснежило, и снизошла тишина,  
и молвлю во сне: отпускаеши ныне...

Март 1986

Иваново



## ПРИГОРОД: НАЗВАНЬЯ УЛИЦ

Стихам о люксембургских розах  
совсем не нужен Люксембург:  
они порой цветут в отбросах  
окраин, свалками обросших,  
смущая сумрак и сумбур.

Шутил ботаник-переулок,  
любитель роз и тишины:  
две улицы и переулок  
(он — к новостройке первопуток) —  
растенью грёз посвящены.

Мы, для унятия страданий  
коровьих, — не растим травы.  
Народец мы дрянной и драный,  
но любим свой родной дендрарий,  
жаль — не сносить в нём головы.

Спасибо розе люксембургской  
за чашу, полную услад:  
к ней ходим за вином-закуской  
(хоть и дают ее с нагрузкой),  
цветём, как Люксембургский сад.

Не по прописке — для разбора,  
чтоб в розных кущах не пропасть,  
есть Роза-прима, Роза-втора,  
а мелкий соименник вздора  
зовется: Розкин непролаз.

Лишь розу чтит посёлок-бука,  
хоть идол сей не им взращен.  
А вдруг скажу, что сивка-бурка  
катал меня до Люксембурга? —  
пускай пошлют за псих-врачом.

А было что-то в этом роде:  
плющ стены замка обвивал,  
шло готике небес предгрозые,  
склоняясь к люксембургской розе,  
ее садовник поливал.

Царица тридевятой флоры!  
Зачем на скромный наш восток,  
на хляби наши и заборы,  
на злоначальные затворы  
пал твой прозрачный лепесток?

Но должно вот чему дивиться,  
прочла — и белый свет стал мил:  
„ул. им. Давыдова Дениса”.  
— Поведай мне, душа-девица,  
ул. им. — кого? ум — ил затмил.

— Вы что, неграмотная, что ли? —  
спросила девица-краса. —  
Пойдите, подучитесь в школе. —  
Открылись щёлки, створки, шторы,  
и выглянули все глаза.

— Я мало видывала видов —  
развейте умственную тьму:  
вдруг есть среди ваших индивидов  
другой Денис, другой Давыдов? —  
Красавица сказала: — Тьфу!

Пред-магазинною горою  
я шла, и грустно было мне.

Свет, радость, жизнь! Ночной порою  
тебе певцу, тебе герою,  
не страшно в этой стороне?

Март 1986

Иваново

Тому назад два года, но в июне:  
„Как я люблю гряды моих камней”, —  
бубнивший ныне чужд, как новолюдые,  
себе, гряде, своей строке о ней.  
Чем ярче пахнет яблоко на блюде,  
тем быстрый сон о Бунине темней.

Приснившемуся сразу же несносен,  
проснувшийся свой простоватый сон  
так опроверг: вид из окна на осень,  
что до утра от зренья упасён,  
на яблочек всех невидимую осыпь —  
как яблоко слепцу преподнесён.

Для краткости изваяна округа  
так выпукло, как школьный шар земной.  
Сиди себе! Как помысла прогулка  
с тобой поступит — ей решать самой.  
Уж знать не хочет — началась откуда?  
Да — тот, кто снился, здесь бывал зимой.

Люблю его с художником свиданье.  
Смеюсь и вижу и того, и с кем  
не съединило пресных польз съеданье,  
побег во снег из хладных стен и схем,  
смех вызволения, к станции — сюда ли?  
а где буфет? Как блещет белый свет!

Иль пайщик сна — табак, сохранный в грядке?  
Ночует ум во дне сто лет назад,

уж он влюблен, но встретится навряд ли  
с ним гимназистки безмятежный взгляд.  
Вперяется дозор его оглядки  
в уездный город, в предвечерний сад.

Нюх и цветок сошлись не для того ли,  
чтоб вдоха кругосветного в конце  
очнулся дух Кураевых торговли  
на площади Архангельской в Ельце  
и так пахнуло рыбой, что в тревоге  
я вышла в дождь и холод на крыльце.

Еще есть жизнь – избранников улада,  
изделе их, не меньшее, чем явь.  
Не дом в саду, а вымысел-усадыба  
завещана, чтоб на крыльце стоять.  
Как много тайн я от цветка узнала,  
а он – всего лишь слово с буквой „ять”.

Прочнее блеск воспетого мгновенья  
чем то одно, чего нельзя воспеть.  
Я там была, где зыбко и неверно  
паломник робкий усложняет смерть:  
о, есть! – но, как Святая Женевьева,  
ведь не вполне же, не воочью есть?

Восьмого часа исподволь. Забыла  
заря возжечься слева от лица.  
С гряды камней в презрение залива  
обрушился громоздкий всплеск пловца.  
Пространство отчужденно и брезгливо  
взирает, словно Бунин на льстеца.

Сентябрь–октябрь 1987

Репино

Постоялец вникает в реестр проявлений  
 благосклонной судьбы. Он польщен, что прощен.  
 Зыбкий перечень прихотей, прав, привилегий  
 исчисляющий — знает, что он ни при чём.  
 Вид: восстанье и бой лежебок-параллелей,  
 кривь на кось натравил геометра просчёт.  
 Пир элегий соседствует с паром варений.  
 Это — осень: течет, задувает, печет.  
 Всё сгодится! Пришедший не стал привередой.  
 Или стал? Он придирчиво список прочтет.

Вот — читает. Каких параллелей восстанье?  
 Это просто! Залив, возлежащий плашмя,  
 ныне вздыблен. Обрато небес нависанье  
 воздыманью воды, улетанью плаща.  
 Урожденного в не суверенной осанке,  
 супротивно стене своеволие плюща.  
 Золотится потатчица астры в стакане,  
 бурелома добытчица рубит с плеча.  
 Потеплело — и тел кровопьющих останки  
 мим расплющил, танцуя и рукоплеща.

Нет, не вздор! Комаров возродила натура.  
 Бледный лоб отвлекая от высших хлопот,  
 в освещенном окне сочинитель ноктюрна  
 грациозно свершает прыжок и хлопок  
 и, вернувшись к роялю, должно быть: „Недурно!“ —  
 говорит, ибо эта обитель — оплот  
 одиноких избранников. Взятся откуда

здесь изгой и чужак, возымевший апломб  
молвить слово... Молчи! В слух отверстый надуло  
рознью музык в умах и разъятьем эпох  
на пустых берегах. Содержанье недуга  
не открыто пришельцу, но вид его плох.

Что он делает в гордых гармониях чужбине?  
Тридевятая нота октавы, деталь,  
ей не нужная, он принимает ушибы:  
тронул клавишу кто-то, охочий до тайн.  
Опыт зеркала, кресел ленивых ужимки —  
о былых обитаньях нескромный доклад.  
Гость бормочет: слагатели звуков, ушли вы,  
но оставили ваш неусыпный диктант.  
Звук-подкидыш мне мил. Мои струны учтивы.  
Пусть вознянчится ими детёныш-дикарь.

Вдоль окраины моря он бродит, и резок  
силуэт его черный, угрюм капюшон.  
Звук-приёмьш возрос. Выживания средством  
прочих сирых существ круг широкий прельщен.  
Их сподвижник стеснён и, к тому же, истерзан  
упомянутым ветролюбивым плащом,  
да, но до — божеством боязливым. О, если б  
не рояль за спиной и за правым плечом!  
Сочинитель ноктюрна следит с интересом  
за сюжетом, не вовсе сокрытым плющом.

Сентябрь—октябрь 1987

Репино

Так запрокинут лоб, отозванный от яви,  
что перпендикуляр, который им возвращён,  
опорой яви стал и, если бы отняли,  
распался бы чертеж, содеянный зрачком.

Семь пядей изведя на построенье это,  
пульсирует всю ночь текущий выпрь пунктир.  
Скудельный лоб иссяк. Явился брезг рассвета.  
В зените потолка сыт лакомка-упырь.

Обратен сам себе стал оборотень-сидень.  
Лоб — озираетел бездн, луны анахорет —  
пал ниц и возлежит. Ладонь — его носитель.  
Под заушь его не устоял хребет.

А осень так светла! Избыток солнца в доме  
на счастье так похож! Уж не оно ль? Едва ль.  
Мой безутешный лоб лежит в моей ладони  
(в долони, если длань, не правда ль, милый Даль?).

Бессонного ума бессрочна гауптвахта.  
А тайна — чудный смех донесся, — что должна —  
опять донесся смех, — должна быть глуповата,  
летает належке, беспечна и нежна.

Октябрь 1987

Репино



## ЛАРЕЦ И КЛЮЧ

*Осипу Мандельштаму*

Когда бы этот день — тому, о ком читаю:  
де, ключ он подарил от... скажем, от ларца  
открытого... свою так оберёг он тайну,  
как если бы ловил и окликал ловца.

Я не о тайне тайн, столь явных обиталищ  
нет у нее, вся — в нём, прозрачно заперта,  
как суть в устройстве сот. — Не много ль ты болтаешь? —  
мне чтенье говорит, которым занята.

Но я и так — молчок, занятые уст — вино лишь,  
и терпок поцелуй имеретинских лоз.  
Поправший Кутаис, в строку вступил Воронеж —  
как пекло дум зовут, сокрыть не удалось.

Вернее — в дверь вошел общения искатель.  
Тоскою уязвлен и грёзой оболещен,  
он попросту живет как житель и писатель  
не в пекле ни в каком, а в центре областном.

Я сообщалась с ним в смущении двояком:  
посол своей же тьмы иль вестник роковой  
явился подтвердить, что свой чугунный якорь  
удерживает Пётр чугунною рукой?

„Эй, с якорем!“ — шутил опалы завсегда.  
Не следует дерзить чугунным и стальным.  
Что вспылчивый изгой был лишнею загадкой,  
с усмешкой небольшой приметил властелин.

*Белла Ахмадулина*

Строй горла ярко наг и выдан пульсом пенья  
и высоко над ним — лба над-сдьмая пядь.  
Где хруст и лязг возьмут уменя и терпенья,  
чтоб дланью не схватить и не защелкнуть пасть?

Сапог — всегда сосед священного сосуда  
и вхож в глаза птенца, им не живать втроём.  
Гость говорит: тех мест писателей союза  
отличный малый стал теперь секретарем.

Однако — поздний час. Мы навсегда простились.  
Ему не надо знать, чьей тени он сосед.  
Признаться, столь глухих и сумрачных потылиц  
не собиратель я для пиршеств иль бесед.

Когда бы этот день — тому, о ком страданье —  
обыденный устой и содержанье дней,  
всё длилось бы ловца коггистого свиданье  
с добычей меж ресниц, которых нет длинней.

Играла бы ладонь вещицей золотою  
(лишь у совсем детей взор так же хитроват),  
и был бы дну воды даруем ключ ладонью,  
от тайнописи чьей отпрянет хиромант.

То, что ларцом зову (он обречён покраже),  
и улем быть могло для слёта розных крыл:  
пчелит аэроплан, присутствуют плюмажи,  
Италия плывет на сухопарый Крым.

А далее... Но нет! Кабы сбылось „когда бы”,  
я наклоненья где двойной посул найду?  
Не лучше ль сослагать купавы и канавы  
и наклоненье ив с их образом в пруду?

И всё это — с моей последнею сиренью,  
с осою, что и так принадлежит ему,  
с тропой — вдоль соловья, через овраг — к селенью,  
и с кем-то, по тропе идущим (я иду),

нам нужен штрих живой, усвоенный пейзажем,  
чтоб поступиться им, оставить дня вовне.  
Но всё, что обречем, куда мы денем? Скажем:  
в ларец. А ключ? А ключ лежит воды на дне.

Июнь 1988

в Малеевке

## ДВОРЕЦ

Мне во владенье дан дворец из алебастра  
(столпов дебелих строй становится полней,  
коль возвести в уме, для общего баланса,  
виденье над-морских, над-земных пропилей).

Я вдвинулась в портал, и розных двух диковин  
взаимный бред окреп и затвердел в уют.  
Оврага храбрый мрак возлёт на подоконник.  
Вот-вот часы внизу двенадцать раз пробьют.

Ночь — вотчина моя, во дне я — чужестранец,  
молчу, но не скромна в глазах утайка слёз.  
Сословье пошляков, для суесловья трапез  
содвинувшее лбы, как Батюшков бы снёс?

К возлюбленным часам крадусь вдоль коридора.  
Ключ к мертвой тайне их из чьей упал руки?  
Едины бой часов и поступь Командора,  
но спящих во дворце ему скушны грехи.

Есть меж часами связь и благородной группой  
предметов наверху: три кресла, стол, диван.  
В их времени былом какой гордец угрюмый  
колена преклонял и руки воздевал?

Уж слышатся шаги тяжелые, и странно  
смотреть — как хрупкий пол нарядно навощён.  
Белей своих одежд вы стали, донна Анна.  
И Батюшков один не знает, кто вошел.

Новёхонький витраж в старинной есть гостиной.  
Моя игра с зарей вечерней такова:  
лишь испечет стекло рубин неугасимый,  
всегда его краду у алого ковра.

Хватаю — и бегу. Восходит слабый месяц.  
Остался на ковре — и поправ изумруд.  
Но в комнате моей он был бы незаметен:  
я в ней тайком от всех держу овраг и пруд.

Мне есть во что играть. Зачем я прочь не еду?  
Всё длится меж колонн овражный мой постой.  
Я сведуща в тоске. Но как назвать вот эту?  
Не Батюшкова ли (ей равных нет) тоской?

Вспомнила стихи, что были им любимы.  
Сколь кротко перед ним потупилось чело  
счастливого певца Руслана и Людмилы,  
но сумрачно взглянул — и не узнал его.

О чём, бишь? Что со мной? Мой разум сбивчив, жарок,  
а прежде здрав бывал, смешлив и незлобив.  
К добру ль плутает он средь колоннад и арок,  
электики больной возляпье возлюбив?

Кружится голова на глиняном откосе,  
балясины прочны, да воли нет спастись.  
Изменчивость друзей, измена друга, козни...  
Осталось: „Это кто?” — о Пушкине спросить.

Все-пошлость такова, — ты лучше лоб потрогай, —  
что из презренья к ней любой исход мне гожд.  
— Ты попросту больна. — Не боле, чем Петроний.  
Он тоже во дворец был раболепно вхожд.

И воздалось дворцу. — Тебе уж постелили. —  
Возможно дважды жить, дабы один лишь раз  
сказать: мне сладок яд, рабы и властелины.  
С усмешкой на устах я покидаю вас.

*Белла Ахмадулина*

Мои овраг и пруд, одно неоспоримо:  
величью перемен и превращений вспять  
лоб должен испарять истому аспирина,  
осадок же как мысль себе на память взять.

Закат — пора идти за огненным трофеем.  
Трагедии внутри давайте-ка шалить:  
измыслим что-нибудь и ощупью проверим  
явь образа — есть чем ладони опалить!

Три кресла, стол, диван за ловлею рубина  
участливо следят. И слышится в темне:  
вдруг вымыслом своим, и только, ты любима?  
довольно ли с тебя? не страшно ли тебе?

Вот дерзок почему пригляд дворцовой стражи  
и челядь не таит ухмылочку свою.  
На бал чужой любви в наёмном экипаже  
явилась, как горбун, и, как слепец, стою.

Вдобавок, как глупец, дня расточаю убыль.  
Жив на столе моём ночей анахорет.  
Чего еще желать? Уж он-то крепко любит  
сторожкий силуэт: висок, зрачок, хребет.

Из комнаты моей, тенистой и ущельной,  
не слышно, как часы оплакивают день.  
Неужто — всё, мой друг? Но замкнут круг ущербный:  
свет лампы, пруд, овраг. И Батюшкова тень.

Июнь—июль 1988

в Малеевке

Вспять времени идет идущий по аллее.  
Коль в сумерках идет — тем ярче и верней  
надежда, что пред ним предстанут пропилен  
и грубый чад огней в канун Панафиной.

Он с лирою пришел и всем смешон: привыкла  
к звучанию кифар людская толчея.  
Над нею: — Вы — равны! — несется глас Перикла.  
— Да, вы — равны, — ему отвечает чума.

Что там еще? Расцвет искусства. Ввоз цикуты  
налажен. По волнам снуёт торговый флот.  
Сурово край одежд сократовых целуйте,  
пристало ль вам рыдать, Платон и Ксенофонт?

Эк занесло куда паломника! Пусть бродит  
и уставляет взор на портик и фронтоны,  
из скопища колонн, чей безымянен ордер,  
соорудив в уме аттический фантом.

Эй, эй, остерегись! Возбранностью окружя  
себя не обводи, великих не гневи.  
Рожденная на свет в убранстве всеоружья —  
исчадь не твоей, а Зевсовой главы.

Помешан — и твердит: — Люблю ее рожденье  
во шлеме, что тусклей сокрытых им волос.  
Жизнь озера ушла на блеска отраженье.  
Как озеро звалось? — Тритон — оно звалось. —

Гефест, топор! А мать, покуда неповинна,  
проглочена... — Молчи! — Событья приведут  
к тому — что вот она! Не знается Афина  
со сбродом рожениц, кормилиц, повитух.

Всё подвиги свершать, Персея на Горгону  
натравливать, терпеть хвалу досужих уст,  
охочих до сладостей. А не обречь ли грому  
купальщиц молодых, боящихся медуз?

Когда б не плеск и смех — герои и атлеты  
из грешных чресел их произрасти могли б,  
и прачки, и рабы. — Идущий по аллее,  
страшись! Гневлив, ревнив и молчалив Олимп.

— Что ж, — дерзкий говорит, — я Зевсу не соперник.  
Но и моей главы возлюбленная дочь,  
в сей миг, замедлив шаг на мраморных ступенях,  
то не она ль стоит и озирает чернь?

Громоздко-стройный шлем водвинув в мрак заката,  
свободно опершись на грозное копьё,  
живее и прочней, чем Фидиево золото,  
ожгло мои зрачки измыслие мое.

Гром отвечал ему. В отъезде иль уходе  
он не был уличён, но слухов нет о нём.  
Я с ужасом гляжу на дерево сухое,  
спаленное ему ниспосланным огнём.

Он виноват, он лгал! Содеян не громоздко  
богини стройный шлем, и праведно ее  
воздетое для войн, искусства и ремёсла  
и всех купальщиц вздор хранящее копьё.

Но поздно! Месть сбылась змеиной, совоокой,  
великой... ниц пред ней! (Здесь перерыв в строке:  
я пала ниц.) Неслась вселенная вдоль окон,  
дуб длани воздевал, как мученик в костре.



Такой грозы, как в день тринадцатый июня,  
усилившейся в ночь на следующий день,  
не видывала я. Довольно. Спать иду я.  
Заря упразднена или не смеет рдеть.

Живого смысла нет в материальном мифе.  
Афины — плоть тепла, непререкаем Зевс.  
Светло живет душа в неочевидном мире,  
приемля гнев богов как весть: — Мы суть. Мы здесь.

Июль 1988

в Малеевке

## ВЕНЕЦИЯ МОЯ

*Иосифу Бродскому*

Темно, и розных вод смешались имена.  
Окраиной басов исторгнут всплеск короткий.  
То розу шлёт тебе, Венеция моя,  
в Куоккале моей рояль высокородный.

Насупился — дал знать, что он здесь ни при чём.  
Затылка моего соведатель настойчив.  
Его: „Не лги!” — стоит, как Ангел за плечом,  
с оскомою в чертах. Я — хаос, он — настройщик.

Канала вид... — Не лги! — в окне не водворен  
и выдворен помин о виденном когда-то.  
Есть под окном моим невзрачный водоём,  
застой бесславных влаг. Есть, признаюсь, канава.

Правдивый за плечом, мой Ангел, такова  
протечка труб — струи источие реально.  
И розу я беру с роялева крыла.  
Рояль, твое крыло в родстве с мостом Риальто.

Не так? Но роза — вот, и с твоего крыла  
(застенчиво рука его изгиб ласкала).  
Не лжёт моя строка, но всё ж не такова,  
чтоб точно обвести уклончивость лекала.

В исходе час восьмой. Возрождено окно.  
И темнота окна — не вырождение света.  
Цвет — не скажу какой, не знаю. Знаю, кто  
содеял этот цвет, что вижу, — Тинторетто.

Мы дожили, рояль, мы — дожи, наш дворец  
расписан той рукой, что не приемлет розы.  
И с нами Марк Святой, и золотой отверст  
зев льва на синеве, мы вместе, все не взрослые.

— Не лги! — но мой зубок изгрыз другой букварь.  
Мне ведом звук черней диеза и бемоля.  
Не лгу — за что запрет и каркает бекар?  
Усладу обрету вдали тебя, близ моря.

Труп розы возлежит на гущине воды,  
которую зову как знаю, как умею.  
Лев сник и спит. Вот так я коротаю дни  
в Куоккале моей, с Венецией моею.

Обóсенел простор. Снег в ноябре пришел  
и устоял. Луна была зрачком искома  
и найдена. Но что с ревнивцем за плечом?  
Неужто и на час нельзя уйти из дома?

Чем занят ум? Ничем. Он пуст, как небосклон.  
— Не лги! — и впрямь я лгун, не слыть же недолгой.  
Не верь, рояль, что я съезжаю на поклон  
к Венеции — твоей сопернице великой.

.....

Здесь — перерыв. В Италии была.  
Италия светла, прекрасна.  
Рояль простил. Но лампа, сокровище окна, стола, —  
погасла.

Декабрь 1988

Репино

## ОДЕВАНИЕ РЕБЕНКА

*Андрею Битову*

Ребенка одевают. Он стоит  
и сносит — недвижимый, величавый —  
угодливость приспешников своих,  
наскучив лестью челяди и славой.

У вешалки, где церемониал  
свершается, мы вместе провисаем,  
отсутствуем. Зеницы минерал  
до-первобытен, свеж, непроницаем.

Он смотрит вдаль, поверх услуг людских.  
В разъятый пух продеты кисти, локти.  
Побыть бы им. Недолго погостить  
в обители его лилейной плоти.

Предаться воле и опеке сил  
лелеющих. Их укачаться зыбкой.  
Сокрыться в нём. Перемешаться с ним.  
Стать крапинкой под рисовой присыпкой.

Эй, няньки, мамки, кумушки, вы что  
разнюнились? Быстрее одевайте!  
Не дайте, чтоб измыслие вошло  
поганым войском в млечный мир дитяти.

Для посягательств прыткого ума  
возбранны створки замкнутой вселенной.  
Прочь, самозванец, званный, как чума,  
тем, что сияло и звалось Сиеной.

Влекут рабы ребенка паланкин.  
Журчит зурна. Порхает опахало.  
Меня — набег недуга полонил.  
Всю ночь во лбу неслось и польхало.

Прикрыть глаза. Сна гобелен соткать.  
Разглядывать, не нагляжусь покамест,  
Палаццо Пикколомини в закат  
водвинутость и вогнутость, покатошь,

объятыя нежно-каменный зажим  
вкруг зрелища: резвится мимолётность  
внутри, и Дева-Вечность возлежит,  
изгибом плавным опершись на локоть.

Сиены площадь так нарёк мой жар,  
это его наречья идиома.  
Оставим площадь — вечно возлежать  
прелестной девой возле водоёма.

Врач смущена: — О чём вы? — Ни о чём.  
В разор весны ступаю я с порога  
не сведущим в хождение новичком.  
— Но что дитя? — Дитя? Дитя здорово.

Апрель 1990

Репино

Как строить твой портрет, дородное палаццо?  
Втесался гость Коринф в дорический портал.  
Стесняет сброд колонн лепнины опояска.  
И зодчий был широк, и каменщик приврал.

Меж нами сходство есть, соитъе разных родин.  
Лишь глянет кто-нибудь, желая угадать,  
в какой из них рождён наш многосуший ордер, —  
разгадке не нужна во лбу седьмая пядь.

Собратен мне твой бред, но с наипушей лаской  
пойду и погляжу, поглажу, назову:  
мой тайный, милый мой, по кличке „мой миланский”,  
гераневый балкон — на пруд и на зарю.

В окне — карниз и фриз, и бабий бант гирлянды.  
Вид гипса — пучеглаз и пялиться горазд  
на зрителя. Пора наведаться в герани.  
Как в летке пыл и гул, должно быть, так горят.

За ели западал сплав ржавчины и злата.  
Оранжевый? Жаркóй? Прикрас не обновил  
красильщик ни один, и я смиренно знала:  
прилипчив и линюч эпитет-анилин.

Но есть перо, каким миг бытия врисован  
в природу — равный ей. Зарю и пруд сложу  
с очнувшейся строкой и, по моим резонам,  
„мой бунинский балкон” про мой балкон скажу.

Проверить с е й туман за Глухово ходила.  
А там стоял туман. Стыл островерхий лес.  
Всё — вотчина моя. Родимо и едино:  
Тамань — я там была, и сям была — Елец.

Прости, не прогони, приют порочных таинств.  
Когда растёт сентябрь, то ластясь, то клубясь,  
как жалко я спешу, в пустых полях скитаясь,  
сокрыться в мощный плюш и дряблый алебастр.

Как я люблю витраж, чей яхонт дважды весел,  
как лал и как сапфир, и толстый барельеф,  
куда не львиный твой, не родовитый вензель  
чванливо привнесен и выпячен: „эЛЬ эФ”.

Да, есть и желтизна. Но лишь педант архаик  
предтечу помянёт, названье огласит.  
В утайке недр земных и словарей сохранен  
сородич не цветка, а цвета: гиацинт.

Вот схватка и союз стекла с лучом закатным.  
Их выпечка лежит объёмна и прочна.  
Охотится ладонь за синим и за алым,  
и в желтом вязнет взор, как алчная пчела.

Пруд-изумруд причтёт к сокровищам шкатулка.  
Сладчайшей из добыч пребудет вольный парк,  
где барышня веков читает том Катулла,  
как бабочка веков в мой хлороформ попав.

Там, где течет ковер прозрачной галереи,  
бюст-памятник забыл: зачем он и кому.  
Старинные часы то плач, то говоренье  
мне шлют, учуяв шаг по тихому коврау.

Пред входом во дворец — мыслителей арена.  
Где утренник молодой куртины разорил,  
не снизошедший знать Палладио Андреа,  
под сень враждебных чар вступает русофил.

Чем сумерки сплошной, тем ближе италиец,  
что в тысяча пятьсот восьмом году рожден  
в семье ди Пьетро. У, какие затаились  
до времени красы базилик и ротонд.

Отчасти, дом, и ты — Палладио обитель.  
В тот хрупкий час, когда темно, но и светло,  
Виченца — для нее обочин путь обычен —  
вовсельником вжилась в заглушное село.

И я туда тащусь, не тщась дойти до места.  
Возлюбленное мной — чем дале, тем сильней.  
Укачана ходьбой, как дремою дормеза,  
задумчивость хвалю возницы и коней.

Десятый час едва — без малой зги услада.  
Возглавие аллей — в сиянье и в жару.  
Во все свои огни освещена усадьба,  
столетие назад, а я еще живу.

Радужен фронт-фронтон. Осанисты колонны.  
На сходбище теней смотрю из близкой тьмы.  
Строения черты разумны и холёны.  
Конечно, не вполне — да восвоюсь мы.

Кто лалы расхватал, тот времени подмену  
присвоит, повлачит в свой ветреный сусек.  
Я знаю: дальше что, и потому помедлю,  
пока не лязгнет век — преемник и сосед.

Я стала столь одна, что в разноляпье дома,  
пригляда не страшась, гуляет естество.  
Скульптуры по ночам гримасничает догма.  
Эклектика блазнит. Пожалуй, вот и всё.

Осень 1991 и 1992

в Малеевке



## ВОКЗАЛЬЧИК

Сердчишко жизни — жил да был вокзальчик.  
Горбы котомок на перрон сходили.  
Их ждал детей прожорливый привет.  
Юродивый там обитал вязальщик.  
Не бельмами — зеницами седыми  
всего, что зримо, он смотрел поверх.

Поила площадь пьяная цистерна.  
Хмурь душ, хворь тел посуд не полоскали.  
Вкус жесткой жижи и на вид — когтист.  
А мимо них любители сотерна  
неслись к нему под тенты полосаты.  
(Взамен — изгой в моём уме гостит.)

Одно казалось мне недостоверно:  
в окне вагона, в том же направленье,  
ужель и я когда-то пронеслась?  
И хмурь, и хворь, и площадь, где цистерна, —  
набор деталей мельче нонпарели —  
не прочитал в себя глядевший глаз?

Сновала прыткость, супилось терпенье.  
Вязальщик оставался строг и важен.  
Он видел запрокинутым челом  
надземные незнаемые петли.  
Я видела: в честь вечности он вяжет  
безвыходный эпический чулок.

Некстати всплыло: после половодий,  
когда прилив заманчиво и гадко

подводит счёт былому барахлу,  
то ль вождь беды, то ль вестник подневольный,  
какого одинокого гиганта  
сиротствует башмак на берегу?

Близ сукровиц драчливых и сумятиц,  
простых сокровищ надобных взалкавших,  
брела, крестясь на грубый обелиск,  
живых и мертвых горемык со-матерь.  
Казалось — мне навязывал вязальщик  
наказ: ничем другим не обольстись.

Наказывал, но я не обольщалась  
ни прелестью чужбин, ни скушной лестью.  
Лишь год меж сентябрем и сентябрем.  
Наказывай. В угрюмую прыщавость  
смотрю подростка и округи. Шар ведь  
земной — округлый помысел о нём.

Опять сентябрь. Весть поутру блазила:  
— Хлеб завезли на станцию! Автобус  
вот-вот прибудет! — Местность заждалась  
гостинцев и диковинки бензина.  
Я тороплюсь. Я празднично готовлюсь  
не пропустить сей редкий дилижанс.

В добрососедство старых распрей вторглась,  
в приют гремучий. Встречь помчались склоны,  
рябины радость, рдяные леса.  
Меньшой двойник отечества — автобус.  
Легко добыть из многоликой злобы  
и возлюбить сохранный свет лица.

Приехали. По-прежнему цистерна  
язвит утробы. Булочной сегодня  
ее триумф оспорить удалось.  
К нам нынче неприветлива Церера.  
Торгует георгинами зевота.  
Лишь яблок вдосыть — под осадой ос.

Но всё ж и мы не вовсе без новинок.  
Франтит и бредит импорт домотканый.  
Сродни мне род уродов и калек.  
Пинает лютость мýку душ звериных.  
Среди сует, метаний, бормотаний —  
вязальщика слепого нет как нет.

Впустую обошла я привокзалье,  
дивясь тому, что очередь к цистерне  
на карликов делилась и верзил.  
Дождь с туч свисал, как вещее вязанье.  
Сплетатель самовольной Одиссеи,  
глядевший ввысь, знать, сам туда возмыл.

Я знала, что изделие бесконечно  
вязальщика, пришедшего оттуда,  
где бодрствует, связуя твердь и твердь.  
Но без него особенно кромешна  
со мной внутри кровавая округа.  
Чем искуплю? Где Ты ни есть, ответь.

1992

в Малеевке

## ВИД СНИЗУ ВВЕРХ

*Борису Толокнову*

Был май в начале. Хладных и кипящих  
следила я движенье сил морских.  
К ним жало жажды примерял купальщик.  
О, море-лев, зачем тебе москит,  
пусть улетит. Уже зари натёки  
кормяще впади в озеро Инкит.  
Купальщик зябкий — яблоко на тёрке.  
Взмахни хвостом, лев-море, пусть летит  
подале, прочь от волн — горбов корпящих, —  
мешает созерцанью красоты.  
Зачем тебе докучливый купальщик?  
Ответствовало море: — Это ты  
валов моих невольная докука.  
Я снизу вверх из волн на брег гляжу.  
Лететь легко ль, да и лететь докуда?  
Когда узнаю — жаль, что не скажу.

1993

Осенний день, особый день —  
былого дня неточный слепок.  
Разор дерев, раздор людей  
так ярки, словно напоследок.

Опальный Пасынок аллея,  
на площадь сосланный Страстную, —  
суров. Вблизи — молодой атлет  
вкушает вывеску съестную.

Живая проголодь права.  
Книго́чий изнурён тоскою.  
Я неприкаянно брела,  
бульвару подчинясь Тверскому.

Гостинцем выпечки летел  
лист, павший с клёна, с жара-пыла.  
Не восхвалить ли мой Лицей?  
В нём столько молодости было!

Останется сей храм наук,  
наполненный гурьбой задорной,  
из страшных герценовских мук  
последнею и смехотворной.

Здесь неокрепшие умы  
такой воспитывал Куницын,  
что пасмурный румянец мглы  
льнул метой оспы к юным лицам.

Предсмертный огонь окна светил,  
и Переделкинский изгнанник  
простил ученикам своим  
измены роковой экзамен.

Где мальчик, чей триумф-провал  
услужливо в погибель вырос?  
Такую подлость затевал,  
а малости вина — не вынес.

Совпали мы во дне земном,  
одной питаемые кашей,  
одним питаемые злом,  
чьё лакомство снесёт не каждый.

Поверженный в забытый прах,  
Сибири свежий уроженец,  
ты простодушной жертвой пал  
чужих веленьиц и решеньиц.

Прости меня, за то прости,  
что уцелела я невольной,  
что я весьма или почти  
жива и пред тобой виновна.

Наставник вздоров и забав —  
умылка пасти нездоровой,  
чьему железу — по зубам  
нетвёрдый твой орех кедровый.

Нас нянчили надзор и сыск,  
и в том я праведно виновна,  
что, восприняв ученья смысл,  
я упаслась от гувернёра.

Заблудший недоученик,  
я, самодельно и вслепую,  
во лбу желала учинить  
пядь своедумную седьмую.

За это — в близкий час ночной  
перо поведает странице,  
как грустно был проведан мной  
страдалец, погребённый в Ницце.

19 октября 1996

*Фазилю Искандеру*

Согласьем розных одиночеств  
составлен дружества уклад.  
И славно, и не надо новшеств  
новой, чем сад и листопад.

Цветет и зябнет увяданье.  
Деревьев прибылен урон.  
На с Кем-то тайное свиданье  
опять мой весь октябрь уйдёт.

Его присутствие в природе  
наглядней смыслов и примет.  
Я на балконе — на перроне  
разлуки с Днём: отбыл, померк.

День девятнадцатый, октябрьский,  
печально щедрый добродей,  
отличен силой и окраской  
от всех, ему не равных, дней.

Припёк остуды: роза блекнет.  
Балкона ледовит причал.  
Прощайте, Пущин, Кюхельбекер,  
прекрасный Дельвиг мой, прощай!

И Ты... Но нет, так страшно близок  
ко мне Ты прежде не бывал.  
Смеётся надо мною призрак:  
подкравшийся Тверской бульвар.



Там дома двадцать пятый номер  
меня тоскою донимал:  
зловеще бледен, ярко нуден,  
двойк и дик, как диамат.

Издёвка моего Лицея  
пошла мне впрок, всё — не беда,  
когда бы девочка Лизетта  
со мной так схожа не была.

Я, с дальнозоркого балкона,  
смотрю с усталой высоты  
в уроки времени былого,  
чья давность — старее, чем Ты.

Жива в плечах прямая сажень:  
к ним многолетье снизошло.  
Твоим ровесником оставшись,  
была б истрачена на что?

На всплески рук, на блёстки сцены,  
на луч и лики мне в лицо,  
на вздор неодолимой схемы...  
Коль это — всё, зачем мне всё?

Но было, было: буря с мглою,  
с румяною зарёй восток,  
цветок, преподносимый мною  
стихотворению „Цветок”,

хребет, подверженный ознобу,  
когда в иных мирах гулял  
меж теменем и меж звездою  
прозрачный перпендикуляр.

Вот он — исторгнут из жаровен  
подвижных полушарий двух,

как бы спасаемый жонглёром  
почти предмет: искомый звук.

Иль так: рассчитан точным зодчим  
отпор ветрам и ветеркам,  
и поведенья позвоночника  
блюсти обязан вертикаль.

Но можно, в честь Пизанской башни,  
чьим креном мучим род людской,  
клониться к пятистоппной блажи  
ночь напролёт и день-деньской.

Ночь совладеет с днём коротким.  
Вдруг, насылая гнев и гнёт,  
потёмки, где сокрыт католик,  
крестом пометил гугенот?

Лиловым сумраком аббатства  
прикинулся наш двор на миг.  
Сомкнулись жадные объятя  
раздумья вкруг друзей моих.

Для совершенства дня благого,  
покуда свет не оскудел,  
надземней моего балкона  
внизу проходит Искандер.

Фазиля детский смех восславить  
успеть бы! День, повремени.  
И нечего к строке добавить:  
„Бог помочь вам, друзья мои!”

Весь мой октябрь иссякнет скоро,  
часы, с их здравомысльем спора,  
на час назад перевели.  
Ты, одинокий вождь простора,

бульвара во главе Тверского,  
и в Парке, с томиком Парни́  
прости быстротекучесть слова,  
прерви медлительность экспромта,  
спать благосклонно повели...

19 и в ночь на 27 октября 1996

## ПОЕЗДКА В ГОРОД

*Борису Мессереру*

Я собиралась в город ехать,  
но всё вперялись глаз и лоб  
в окно, где увяданья ветхость  
само сюжет и переплёт.

О чём шуршит интрига блеска?  
Каким обречь её словам?  
На пальцы пав пылью обреза,  
что держит взаперти сафьян?

Мне в город надобно, — но втуне,  
за краем книги золотым,  
вникаю в листовенной латуни  
непостижимую латынь.

Окна усидчивый читатель,  
слежу вокабул письменна,  
но сердца брат и обитатель  
торопит и зовёт меня.

Там — дом-артист нескладно статен  
и переулков приворот  
издревле славит Хлеб и Скатерть  
по усмотренью Поваров.

Возлюблен мной и зарифмован,  
знать резвость грубую ленив,  
союз мольберта с граммофоном  
надменно непоколебим.

При нём крамольно чистых пиршеств  
не по усам струился мёд...  
...Сад сам себя творит и пишет,  
извне отринув натюрморт.

Сочтёт ли сад природой мёртвой,  
снаружи заглянув в стекло,  
собрание рухляди аморфной  
и нерадивое стило?

Поеду, право. Пушкин милый,  
всё Ты, всё жар Твоих чернил!  
Опять красу поры унылой  
Ты самовластно учинил.

Пока никчемному посёлку  
даруешь золото и багрец,  
что к Твоему добавит слову  
тетради узник и беглец?

Вот разве что́: у нас в селенье,  
хоть улицы весьма важней,  
проулок имени Сирени  
перечит именам вождей.

Мы из М и ч у р и н ц а, где листья  
в дым обращает садовод.  
Нам П е р е д е л к и н о — столица.  
Там – ярче и хмельней народ.

О недороде огорода  
пекутся честные сердца.  
Мне не страшна запретность входа:  
собачья стража – мне сестра. ♪

За это прозвищем „не наши”  
я не была уязвлена.  
Сметливо-кротко, не однажды,  
я в их владения звана.

*Белла Ахмадулина*

День осени не сродствен злобе.  
Вотще охоч до перемен  
рождённый в городе Козлове  
таинственный эксперимент.

Люблю: с оградой бодаясь,  
привет козы меня узнал.  
Ба! я же в город собиралась!  
Придвинься, Киевский вокзал!

Ни с места он... Строптив и бурен  
талант козы — коз помню всех.  
Как пахнет яблоком! Как Бунин  
„прелестную козу” воспел.

Но я — на станцию, я — мимо  
угодий, пасек, погребов.  
Жаль, электричка отменима,  
что вольной ей до Поваров?

Парижский поезд мимолётный,  
гнушаясь мною, здраво прав,  
оставшись россыпью мелодий  
в уме, вспомнившем Пиаф.

Что ум ещё в себе имеет?  
Я в город ехать собралась.  
С пейзажа, что уже темнеет,  
мой натюрморт не сводит глаз.

Сосед мой, он отторгнут мною.  
Я саду льщу, я к саду льну.  
Скользит октябрь, гоним зимою,  
румяный, по младому льду.

Опомнилась руки повадка.  
Зрачок устал в дозоре лба.  
Та, что должна быть глуповата,  
пусть будет, если не глупа.

Луны усилилось значенье  
в окне, в окраине угла.  
Ловлю луча пересечение  
со струйкой дыма и ума,

пославшего из недр затылка  
благожелательный пунктир.  
Растратчик: детская копилка —  
всё получил, за что платил.

Спит садовод. Корпит ботаник,  
влеком Сиреневым Вождём.  
А сердца брат и обитатель  
взглянул в окно и в дверь вошёл.

Душа — надземно, над-оконно —  
примерилась пребыть не здесь,  
отведав воли и покоя,  
чья сумма — счастье и есть.

Ночь на 27 октября 1996



*Белла  
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2

ПЕРЕВОДЫ





## Ованес Туманян

\* \* \*

Бессонница моя — твои владенья,  
И ты — не сновиденье, но виденье,  
Отчетливое, зримое, как свет.  
Ты так прекрасна. Но тебя здесь нет.

Как, поступаясь отсутствием своим,  
Проходишь ты по комнатам пустым  
И близишься, открывши мне объятья,  
Но руку протяну — и ты обратно  
Уходишь в непроглядность темноты?  
Не приходила, но уходишь ты.

Как удастся смеху твоему  
Звучать в тобой покинутом дому?  
И всё лепечешь детскими губами  
Ту песенку, что позабыта нами,  
И вновь уходишь в тайну темноты.  
Не пела вовсе, но умолкла ты.

Бессонница моя — твои владенья,  
И ты — не сновиденье, но виденье,  
Отчетливое, зримое, как свет.  
Ты так прекрасна. Но тебя здесь нет.

1891

Никто в ночи не ведает — каков  
Тот труд незримый, что творит природа.  
Но вот луга. И в темноте лугов  
Роса сверкает при свечах восхода.

Никто не знает степени тоски,  
В которую вознесся ум поэта.  
Но вот строка. И в темноте строки  
Его печаль имеет зримость света.

1892

Не проси меня петь. Я немного немей.  
Я печаль мою пением не обнаружу.  
Мне б достало ползвуча печали моей,  
Чтоб вконец погубить твою бедную душу.  
Не по силам тебе эту муку терпеть.  
Пощади хоть себя! Не проси меня петь!

Как я пел на горе, среди живой красоты,  
Что меня к своим нежным цветам допустила!  
Там пустыня теперь. Там убиты цветы.  
Ни травинки там нет. Там простерлась пустыня.  
На горе, опаленной дыханьем моим,  
Не воскреснуть цветам и растениям иным.

Разве я не надеялся, что разорю  
И тебе раздарю всю красу и прохладу:  
Золотую, во мгле разлитую зарю  
И весну, благосклонную к чистому саду?  
Но уму моему не дано превозмочь  
Силу пенья, в котором лишь горе и ночь.

1892

Лились и означали грусть  
Ручьи тех глаз, тех уст напевы,  
Те слёзы, павшие на грудь  
Прекрасной и печальной девы.

Терпели губы тяжкий зной,  
Труд голоса душа творила,  
И, смело плача предо мной,  
Она со мною говорила.

Мне речь ее была нова,  
И я был очарован ею.  
Ее последние слова  
Я повторяю как умею:

„Ах, не могу я слёз не лить.  
Судьбы моей ничтожна малость.  
И лишь любовь... о, лишь... о, лишь...” —  
И снова плакать принималась.

1892

## ИЗГНАННИК Я, СЕСТРИЦА

Изгнанник я, сестрица, — с детских дней,  
Влекомый нетерпеньем и незнаньем,  
Бреду в страну неведомых теней, —  
Один, изгнанник.

Былые дни и нынешние дни  
Мучительно влеку я за собою.  
Утомлены ходьбой мои ступни  
И сердце — болью.

Я направляюсь в сторону беды,  
Чтобы очнуться, с горьким изумленьем, —  
Вдали родной земли, родной воды, —  
Больным оленем.

Ты говоришь, что счастлив я вполне,  
Но не умею этого заметить,  
Что мне пора забыть о той стране  
И бег замедлить.

Дитя мое! Тому свидетель Бог:  
Не так я подл, чтоб средь рабов растленных  
Вполне счастливым пребывать я мог  
В тюремных стенах.

Утешиться меж прочими людьми —  
Я не имел ни помысла, ни средства.  
Свободное от веры и любви,  
Пустует сердце.

Так, раненый беглец, бегу в туман,  
В грядущее, в угрюмую пустыню.  
Я всё покинул здесь. Неужто там  
Тебя покину?

1902

Сестра моя, иди своей дорогой,  
И пусть она окажется светла.  
Не улыбайся! Рук моих не трогай!  
Нет, я не друг тебе, моя сестра.

Отвергнув путь, спокон веков известный,  
Тоской неодолимою дыша,  
Взмывая в небо, опускаясь в бездны —  
Скитается, безумствуя, душа.

Нет рук таких и нет таких объятий,  
Чтоб удержать ее, остановив —  
Она не примет кроткой благодати,  
Умчась туда, куда влечет порыв.

Быть может, в мире нет ее безвинной,  
Но сколько душ она сведет на нет,  
Пред тем, как в темной и глухой пустыне  
Она погасит свой опасный свет...

Покуда не померкли и прекрасны  
Черты твои, покуда грусть остра, —  
О том, чтоб разминулись мы в пространстве,  
Молись, сестра! Молись, моя сестра!

1902



## НАШ ОБЕТ

Мы дали обет, и верны мы обету.  
Нас тьма окружает и беды нас бьют,  
Но дорог нам свет, и пробьемся мы к свету,  
Пусть душевные тучи дышать не дают!

Огнем и мечом и потоками крови  
Судьба нас пугала, глядела черно, —  
Ни славы у нас, ни покоя, ни кровли,  
Но, чистое, светится наше чело.

Издрано в клочья священное знамя,  
Родная страна, как чужая страна,  
Сурово глядит, как идем мы, не зная,  
Какая нам завтра беда суждена.

Пусть рок не допустит увидеть победу  
И в сумраке грозном ни проблеска нет —  
Мы дали обет, и верны мы обету,  
Взыскуя лишь света и веруя в свет.

1903

Святые отцы мои и господа!  
 Я с Музой расстался — совсем, навсегда.  
 Неужто и впрямь сочетал я легко  
 Два слова, когда их друг к другу влекло?  
 Вы думали прежде, что Муза и я —  
 Две грани в любви одного острия?  
 Но нет! Между нами зияет вражда,  
 Святые отцы мои и господа.  
 В разгуле политики и темноты  
 Стою — с непреклонным лицом тамады.  
 Но — Боже! — во мгле моего кутежа  
 Вдруг память восходит, остра и свежа,  
 И горестно я озираю края,  
 Где странствует Муза и му́ка моя.  
 В армянских горах, где чисты родники,  
 Она углубила их плачем тоски,  
 И в кровопролитье опасного дня  
 Нельзя ей забыть иль увидеть меня.  
 Но, если, отринув обман и дурман,  
 Очнутся свободные души армян,  
 И там, где бесчинствует мертвенный чад,  
 Воспрянет снегов и цветов аромат,  
 И добрые люди, собравшись толпой,  
 Воскликнут: „Безумец! Не медли и пой!“ —  
 Воскреснет мой голос и нежен, и скор,  
 И сладок губам будет этот экспромт.

1915

*В. Я. Брюсову*

Явился из снегов, издалека,  
Призвал к величью духа и любви,  
И стала так чиста и глубока  
Надежда, овладевшая людьми.

Средь скорби, увлажняющей глаза,  
Да будут наши помыслы чисты  
И страны согласуют голоса  
Под общим небосводом доброты.

Пусть крепнут в сердце милость и добро.  
Совпав в пространстве и пропав вдали,  
Пусть люди помнят, что лишь им дано  
Явить собою нравственность земли.

Уж если нам соперничать в борьбе,  
То лишь в одной: кто более других  
Выгадывает выгоду себе,  
Безмерно полюбив и одарив.

И прав поэт, что предсказал нам бег  
Вре́мён — в пресветлый и желанный век,  
Где человека любит человек,  
Где с человеком счастлив человек.

1916

## МОЯ ПЕСНЯ

Сокрыт в душе бесценный клад  
Любви моей — он щедр и светел.  
Эй, джан, безмерно я богат.  
Как совладать с богатством этим!

О дарованье, ты — не дар,  
Что выгадаешь и зароешь.  
Ты — разоренье, ты — угар,  
Ты — расточение сокровищ.

Что делать? Мне неведом страх  
Пред воров, злом и крайним крахом.  
Но мысль — утратить дар утрат —  
Меня терзает темным страхом.

Я так рожден! Я так богат!  
Я всё дарю! Я всем прощаю!  
И всё же — людям и богам  
Лишь их подарок возвращаю.

1918

## ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД СИРИУСА

Что, Сириус, в пути от мглы до мглы  
В уме ты держишь?  
Для чего минуешь  
Окружности вселенной и углы? —  
Так спрашивают бедные умы  
Земных существ.  
Зачем ты их волнуешь?

Что, Сириус, ужель тебе легко  
Могущество всевечного движенья?  
И не чрезмерно ль то, что велико?  
Твоим лучам я отдаю лицо,  
И мой зрачок испытывает жженье.

Ты умеряешь свой безмерный свет,  
Не потому ли происходит это,  
Что в небо смотрит каждый человек  
И столько зрений, обращенных вверх,  
Всё ж расхищают изобилие света?

А сколько глаз ты знаешь!  
Сколько раз  
Тебе внимали пристальные очи!  
Но взор одних — уже давно угас,  
Другим — смотреть еще не пробил час:  
Их взор еще во тьме нездешней ночи.

Кто первым увидел твой свет живой?  
Кем ты с земли впервые был замечен?

*Белла Ахмадулина*

Кто — с запрокинутою головой —  
Возьмет себе последний пламень твой,  
И — всё уже, и — любоваться нечем?..

Так в добрый путь, пресветлый чародей!  
Но, приближаясь к средоточью смерти,  
Поведай ей вопрос тоски моей:  
Как много взоров и судеб людей  
В твоём одном, в твоём прощальном свете?

1922

## ПАРВАНА

### Баллада

#### 1

Высок Джавах, но выше, чем Джавах,  
Две царственных горы — Абул и Мтин,  
Сокрывшие в снегах и облаках  
Нездешний мир, что ведом только им.

Я говорю, как говорили встарь:  
Лазурь небес была светлым-светла  
И в белом зámке жил парванский царь —  
Орлу подобный, но добрей орла.

Глуп тот охотник, что затеет спор:  
Когда взойдет или зайдет заря,  
Прекрасны лани этих гордых гор,  
Но всё ж не так, как дочь того царя.

Известно мне, что ни в одном саду  
Садовник так не пестует цветок,  
Как, добрую благословив судьбу,  
Парванский царь свое дитя берёт.

Он счастлив был, но счастье — впереди.  
Гонцы разносят весть во все края:  
— Счастливец! О, приди и победи!  
Горяч твой конь! Тверда рука твоя!

— Где, — молвит царь, — в какой земле, в каком  
Дому иль зámке сыщешь удальца,  
Достойного красою и умом  
Пресветлого царевнина лица?

*Белла Ахмадулина*

Блеск доспехов! Звон подков!  
 Все вы здесь, но сколько вас —  
 Безрассудных храбрецов,  
 Потрясающих оружием,  
 В ком явил и обнаружил  
 Всю красу свою Кавказ!  
 То ль война, то ли игра  
 Возле царского крыльца!  
 Но когда придет пора  
 Состязанию? И кто же,  
 Кто возьмет себе — о, Боже! —  
 Свет царевнина лица?

Труба запела. Чередой  
 Ступают важно царедворцы,  
 И, обмерев, взирают горцы,  
 Как с нежной девой царь седой  
 Выходит — мрачный и могучий.  
 Смотрите! Рядом с темной тучей  
 Сияет месяц молодой.  
 Царевна, светел лик твой лунный!  
 Мечтам предался воин юный,  
 Склонив колена пред тобой.

— Взгляни, моя дочь, как сильны и стройны  
 Достойные княжичи этой страны!  
 Яви твою волю и милость твою —  
 Позволь состязаться им в честном бою.  
 Вели им тебе и народу открыть  
 Сокрытую в сердце отвагу и прыть.  
 Увидишь на склоне блаженного дня,  
 Кому покоряется гордость коня —  
 Не так, как другим, и живей, чем к другим,  
 Льнет солнце к доспехам его дорогим.  
 Когда состязанью наступит конец,  
 Скажи храбрецу: „Ты — храбрейший храбрец.  
 Вот яблоко, и означает оно,



Что ты — повелитель мой. Так суждено.  
Завидует мир торжеству моему,  
Но слава прекрасному миру сему!”

Царь говорил. Толпа невдалеке  
Томила жаждой боевого гнева.  
Но вышла дева с яблоком в руке,  
И, с яблоком в руке, сказала дева:  
— И злой силач коня пускает вскачь  
И побеждает с грубостью постыдной.  
Что из того? Он — только злой силач,  
Душе моей не милый и постылый. —  
Так говорила, яблоко держа.  
Недоуменье воины терпели:  
— К чему твоя склоняется душа,  
О, Парваны прелестнейшая пери?  
Всяк вопрошал:  
— Чего же хочешь ты?  
В какой звезде небес твоя услада?  
В каменных непомерной красоты?  
Иль в тяжких звёздах серебра и злата?  
— Что серебро, что золото для меня?  
Все звёзды гаснут! Всё — тщета, всё — бренно.  
Хочу неугасимого огня! —  
Таинственно ответила царица.

Только сказала — один за другим  
Ринулись храбрые юноши в путь,  
Вдаль, за священным огнём дорогим,  
Что не затмить, не забыть, не задуть.  
Пыль, что взвилась под копытом коня,  
В прах обратилась. И годы прошли.  
Где ж смельчаки, что искали огня?  
Их не видать ни вблизи, ни вдали.

3

— Отец, отец, скажи мне, почему  
Те юноши, томимые любовью,

С огнём, оберегаемым ладонью,  
Не возвратились к дому моему?  
Ужель забыли и умчались прочь?  
Где ныне их судьба в седле качает? —  
И горестно отец ей отвечает,  
И горестно ему внимает дочь:  
— Путь храбрецов лежит сквозь кровь и тьму.  
Дракон их настигает семиглавый.  
И все-таки, овеянные славой,  
Они вернутся к дому твоему. —  
Проходит год, и спрашивает дочь:  
— Отец, отец, где мой летящий всадник,  
Что в сновиденьях, медленных и сладких,  
Летит ко мне, когда настанет ночь? —  
И говорит отец:  
— Дитя, дитя!  
Легко ль добыть огонь неугасимый?  
Кто знает? Вдруг его добытчик сильный  
В огне сгорает, до огня дойдя? —  
Вновь год прошел. На замок пала тень.  
Томится дева в горе и тревоге.  
Ни на горé, ни на пустой дороге  
Нет всадника. Так угасает день.  
— Отец, отец, на свете нет огня!  
Ни искорки! Нисколечко! Нимало!  
И сердце мое скорбное увяло!  
Весь белый свет — лишь темнота одна! —  
Тяжки царю дочерние слова.  
Седым-седой, поверженный и старый,  
Что может он? К его груди усталой  
Усталая клонится голова.

4

Всё это было так давно,  
Но и тогда летели годы.  
Царевна видела в окно  
Пустые небеса и горы.  
Что было светом — мрак унёс.

Навзрыд заплакала царевна.  
Всё минуло. Но бедных слёз  
Простая влага уцелела  
И стала озером. Оно  
Всех приняло в свои глубины.  
Ушли на сказочное дно  
Минувших дней живые были.  
Поныне в озере видны  
Сады и замо́к под водою.  
Во славу прежней Парваны  
Оно зовется Парваною...

Вы видели, как бодрствует в ночи  
Рой мотыльков, печальных и отважных.  
Во имя тайн, неведомых, но важных,  
Их привлекает слабый свет свечи.  
Что им за польза в гибельном огне?  
Неужто этой ночью заповедной  
Полётом их продолжен подвиг бедный  
Тех юношей, что жили в Парване?  
Те, храбрые, седлавшие коней,  
Блиставшие своей одеждой бранной, —  
Лишь мотыльки, что ищут казни странной  
И как о благе думают о ней.  
Так и горят все те, кто был людьми,  
Пока их ждет прекрасная царевна,  
Не ведая: смертельно иль целебно  
Опасное свечение любви.

1902

## Стихи детям

### ЛИСА

В один прекрасный день лиса сошла с горы  
И говорит: — Я жду, несите мне дары!  
Мне надобен петух. Один петух пока!  
Ах, дерзкая лиса с хвостом пышной цветка!

А бабушка моя, спасая свой насест,  
Кричит: — Держись, петух! Лиса тебя не съест!  
Ужо моя клюка помнёт твои бока,  
Постылая лиса с хвостом пышной цветка!

Но бабушке лиса пролаяла в ответ:  
— Без толку не кричи — даю тебе совет,  
Слаба твоя рука и палка коротка!..  
Бесстрашная лиса с хвостом пышной цветка!

Лиса в курятник шасть и, не боясь греха,  
Взялась хвалить красу и удаль петуха:  
— Мне даже мысль о нём приятна и сладка!..  
Лукавая лиса с хвостом пышной цветка!

Вдруг бабушка моя воскликнула: — Беда!  
Исчез мой петушок! Пропал невесть куда!  
На горе мне сюда пришла издалека  
Бесстыжая лиса с хвостом пышной цветка!

Ой, милый мой петух! Оранжевый петух!  
Как пел ты поутру! Как радовал мой слух!  
Погиб, красавец мой! Печаль моя горька...  
Жестокая лиса с хвостом пышной цветка!

Ах, маленький зверёк, удаленький зверёк,  
И след простыл твоих быстробегучих ног!  
Худы твои дела, да слава велика,  
    Премудрая лиса с хвостом пышней цветка!

1906

## ЖАВОРОНКИ

На гумне — и смех и труд.  
Жаворонки — тут как тут.  
Клювиками — тук-тук-тук.  
Улетают из-под рук.  
Незаметно, воровски  
Выбирают зёрнышки,  
И над током впереклик  
Слышится: килтык, килтык...

1907

## ВОРОБЬИ

Полторы кадушки проса у меня — чтобы посеять,  
Чтобы всходы появились, чтобы холить и лелеять  
Эти всходы молодые и водою поливать.  
Воробьи же прилетели, чтобы проса поклевать.  
Чтоб моих отборных зёрен воробьи не растащили,  
Поднял я тяжелый камень, чтобы камнем их подбить.  
Мясники ножи точили, чтоб совсем их погубить.  
Девушки, оставив игры, рукава одежд нарядных  
Засучили, чтобы птицу ощипать и опалить.  
Все старухи суетились, чтоб для яств невероятных  
Под котлом огонь затеять и в котёл воды налить.  
Все соседи собирались, чтобы есть и чтобы пить.  
Шли попы со всей округи, чтобы пир благословить.  
Сазы взяв, брели ашуги, чтобы пир наш воспевать...  
    Ой, воробушки мои,  
    Ваши крылышки малы,  
    Брюшки бёлы,  
    Спинки рябы,  
    Пили, ели,  
    Были рады,  
    Что попили и поели,  
    Ой, вспорхнули-улетели,  
Чтоб на воле вековать, чтобы зёрнышки клевать!

1908

## ЗЕЛЕНый БРАТЕЦ

– Э-э-эй, зеленый братец,  
Э-э-эй, веселый братец,  
Ты сказал нам: „Улыбайтесь,  
Забывайте о зиме!  
Пусть цветы в садах белеют,  
Пусть ягнята нежно блеют,  
Пусть скворцы птенцов лелеют,  
Распевают на заре!”  
– Э-э-эй, зеленый братец,  
Э-э-эй, веселый братец,  
Что за игры, что за радость  
На ликующей земле!

1908



## *Аветик Исаакян*

\* \* \*

Я уподобил сердце небу,  
И для любого существа  
В нём есть счастливая звезда,  
Есть высочайший трон.

Я уподобил сердце небу,  
Чтоб длился аромат цветка,  
Чтоб девушке была сладка  
Любовь, и плыли облака,  
Спасительные для пустыни  
Души, что страдала века́.

Я уподобил сердце небу...

4 февраля 1893

Тифлис

Вздыхают ветер и волна,  
Пространство осени безбрежно.  
Земля, вода, звезда, луна —  
Всё так светло и безмятежно.

Ах, сердце слабое, за что  
Тебя казнит ее немилость?  
Лишь солнце глаз ее взошло —  
Я полюбил. А солнце — скрылось.

Сгорели звёзды. Ночь темна.  
Завяли лилии и розы.  
Разбилась сладость бытия  
На горе, жалобы и слёзы.

Уходят волны и ладьи.  
От боли я изнемогаю,  
Но лишь из боли и любви  
Я песни грустные слагаю.

12 сентября 1893

Хазарапат

\* \* \*

Луна сияет безмятежно.  
С чем профиль облака так схож?  
Молчит болото. Нежно-нежно  
Тростник охватывает дрожь.

Печальный одинокий аист  
Раздумывает о своем,  
И, превзойти луну стараясь,  
Блится тусклый водоём.

Один на берегу угрюмом,  
Смотрю на воды и леса,  
Предавшись сладко-грустным думам,  
И сон ложится на глаза...

29 июня 1895

Ани

Пыльцою лилии-луны  
Осыпаны поля и речка.  
На ниве — вздохи тишины.  
Покойно сердце и безгрешно.

Сырые ветви нежных ив  
С водою спутаны и льются,  
И птицы, веки притворив,  
Мечтаньям ярким предаются.

Прилежно трудится сверчок.  
Звук тайной песни реет возле.  
Мысль важная, невесть о чём,  
Развеялась. Сияют звёзды.

Луна прошла. Ночная темь  
Над речкой моросит и вьется.  
Вот ивы плач прошелестел...  
И сердце грустно, грустно бьется...

14 сентября 1895

Ормос-Ани

Я утром видел голубя  
В решетчатом окне.  
В темницу солнце глянуло,  
Печалюсь обо мне.

Ах, я тоскую, мучаюсь,  
Кляню мою тюрьму.  
Мою голубку, солнышко,  
Когда я обниму?

1896

Ах, зелень пробилась к солнцу,  
когда же мой сын выйдет из тюрьмы?

*Слова моей матери*

В небесах: курлы-курлы...  
Это значит: дни светлы,  
Все деревья расцвели,  
Прилетели журавли.

Джан журавль, за голос твой  
Всё отдам, что есть на свете.  
Серый, белый, золотой,  
Нет ли мне от сына вести?

Увезли его в тюрьму,  
Его рученьки связали.  
С той поры гляжу во тьму  
Неусыпными глазами.

Рады небо, и вода,  
И былинка, и листочек.  
Джан журавль, скажи — когда  
Из тюрьмы придет сыночек?

В небесах: курлы-курлы...  
Это значит — дни светлы,  
Все деревья расцвели,  
Прилетели журавли.

1897

Александрополь

Ах, заблудилась тропа, заплуталась,  
В бездну морскую упёрся мой путь.  
Ах, от любви ничего не осталось,  
Мне не позвать ее и не вернуть.

Море покрыто, сокрыто туманом,  
Птиц моих дивных где ныне крыла?  
Ах, моим розам, прекрасным и алым,  
Где увяданье зима предрекла?

Птиц погубили далекие грозы,  
Каркает ворон над жизнью моей.  
Сникли любви моей алые розы,  
Смолк с перебитым крылом соловей.

24 июня 1897

Харич

Измучено море, и пена  
Летит с его взмыленных уст.  
Над мрачною бездною кипенья  
Как берег туманен и пуст!

Как рана свежа и бездонна!  
На этом пустом берегу  
Без жизни, без друга, без дома  
Я выживу, если смогу.

Все звёзды на трон бирюзовый  
Для власти всевышней взошли.  
Звук песни, неслыханно новой,  
Я слышал в себе, как вдали.

О жизнь моя, радость, ужели  
Твои отцвели времена?  
И звёзды сквозь слёзы смотрели  
На море, на мир, на меня.

1898

Одесса



Луна, как сонный лебедь, проплывает  
По морю-небу, в направленья гор.  
А на земле, объятые луною,  
Бледнеют камни и блистает двор.

Исполнена красы и одичанья,  
Вселенная над головой взошла.  
На языке великого молчанья,  
Как колокол, звенит моя душа.

1898

Простёрся туман от небес до земли,  
Над морем туман, и туман надо мною,  
Хожу, и туманятся мысли мои,  
Душа затуманена болью большою.

Ах, море, вот сердце мое — излечи,  
Иль пусть себе тонет, не жалко нимало,  
Прошу: мою бедную мать научи,  
Чтоб явь бессердечную не проклинала.

1898

Одесса

Я тени звал к себе, желая  
Умерших увидеть друзей.  
Их жизнь, когда-то столь живая,  
Воспрянула в душе моей.

Во глубь души, отверзшей раны,  
Они глядели так мертво,  
И все они навек сохранны  
Лишь в ране сердца моего.

1899

Александрополь

На яхонтовых, золотых  
Крылах летящая с востока,  
Всё солнце в сердце затаив,  
Вещунья-птица крик исторгла:

„Я — жизнь, а жизнь — всего лишь сон  
В сне мироздания непробудном.  
Колеблет колокол времён  
Лишь человек уменьем чудным”.

Пришедшая из недр огня,  
На запад улетела птица.  
Там, где во тьму вошла она,  
Смерть красная клубится...

1899

Казарапат

Вот и вечер лампы зажег,  
Чтобы ярко краснели лампы.  
Видишь, вечер в мой дом не зашел.  
Дом и сердце потёмкам не рады.

Все вернулись с полей и сейчас  
Сели ужинать чинно и строго.  
Где же ты, мой смельчак, весельчак?  
Ах, как ярко краснеет дорога!

Сны людей горячи и красны.  
Я одна. Где ты бродишь и стынешь?  
Я бы видела красные сны,  
Но мой сон — это ты, это ты лишь.

1900

Женева

От жгучего горя сердце мертво,  
И жизни моей иссяк родник.  
Мои слёзы должны океаном стать, —  
Только б скорби моей не узнала мать.

Я буду скитаться один в горах,  
Буду биться о камни головой,  
Суждено мне волчьей добычей стать, —  
Только пусть не узнает об этом мать.

1900

Цюрих

Здороваясь — молчишь. Ну, что ж,  
Я расстелюсь землей — иди же,  
Лишь помни: ты во мне живешь  
И нет тебя родней и ближе.

Черней скворчиного крыла  
Глаза мои, они лишь средство  
Суть отразить, как зеркала.  
Так с чем сравню я темень сердца?

1900

Эй, брат мой зеленый, весь мир тебе рад,  
С добром ты приходишь, зеленый мой брат.

Фиалки на склоне, и жук на ладони,  
И жаворонок наступившего дня,  
И солнце зеленое и золотое,  
Все вместе: — Иди! — понукали меня.  
Я ринулся в горы и думал: ужели  
Вернулась листва к молодым деревьям?  
Деревья, ущелье, и речка в ущелье,  
И травы, — о, как я завидовал вам!  
Опять соловьи и сады безмятежны.  
Садам, соловьям и расщелинам скал  
Кричал я: — Вы те же, вы те же, вы те же! —  
Но я-то — другой! Я иссох и устал.  
Все горы, все кущи живыми остались,  
Живей и новей их былая краса.  
О, мне бы их участь! Печальный скиталец,  
Шепчу: — Вы всё те же, поля и леса...

Эй, брат мой зеленый, ты явишься снова  
С добром для людей, для полей и ветвей  
И с нежною зеленью мха голубого  
Для бедной и сирой могилы моей...

1902

Кахзван



От суеты сокрылся я в пустыню.  
Торжественная воцарилась ночь.  
Душа изнемогла. Но я постигну  
Премудрость ночи...  
Этой ночью вновь  
Проснулись звёзды и из мглы смотрели.  
Души не стало.  
Дивной новизны  
Был миг исполнен — я не знал доселе,  
Как много в этом мире тишины...

1902

Грустная песня, бездомная птица,  
Лучше б ты в сердце моём умерла:  
Станешь скитаться, и рыскать, и биться,  
Негде тебе успокоить крыла.

Глыбы нависли, душе угрожая,  
Нет тебе места среди терний сухих,  
Жизнь и страдание, всем ты чужая,  
Птица, творящая песнь для глухих...

1902

Слов изумруды, сновидений роскошь,  
Великая любовь твоей души  
И поцелуи средь цветов возросших —  
Пришли с весной и навсегда ушли.

Гнезда себе не свил ты, как иные,  
Ты — птица бурь и сирота земли.  
Пришли на время годы молодые,  
Чуть побыли — и навсегда ушли.

Все, кто тебя любили и простили,  
Иль умерли, или живут вдали.  
Скиталец сирый, мыкайся в пустыне,  
Шли мимо караваны и ушли.

Прислушайся во мгле осенней, темной.  
Услышь, как сердце плачет тяжело.  
В чужом краю ты — нищий лишь бездомный.  
Всё, бывшее на миг, — навек ушло.

1904

В закрытые двери, как ветер бездомный,  
Стучал я, но ты не открыла мне двери.  
Я бросился в горы, я плакал, безумный,  
О горе, как небо — о высохшем древе.

Я бился о скалы, и ведомо скалам,  
Что я был свободен от помысла злого.  
Я плачем ущелья потряс, как обвалом,  
Но я не промолвил недоброго слова.

1904

Шел бедуин, и в мираже песчаном  
Тень девушки мелькнула перед ним.  
Он весел был, а сделался печальным.  
В тень девушки влюбился бедуин.

Его пустыня зноем истерзала,  
От лютой жажды рот его иссох.  
Он любит высоко и несказанно  
И умирает, пав лицом в песок.

Забывшись невещественным и вечным  
Глубоким сном, кто знает — сколько лет  
Всё ищет он в пространстве бесконечном  
Бессмертно грациозный силуэт...

1904

Бледная осень в садах непогоды  
Тихо играет — полна позолота  
Музыки желтой и желтого пенья.

Будто бы птицы в пылу перелёта  
Сбросили нежные белые перья, —  
Призрачный снег оседает на горы.

В сердце истаяла нежность до срока,  
Что ж, так бывало во все времена,  
Нет ей возврата! За чашей вина  
Помни об этом и плачь одиноко.

1922

Раскачивая яхонты в ушах,  
Та девушка вошла на мост Риальто,  
И волосы, словно река впотьмах,  
Были черны, черны невероятно.

Двух черных солнц огонь неугасим —  
Ее глаза чернели и сияли,  
И легкий стан струился и скользил  
Внутри цветастой и просторной шали.

Мой взгляд не вынес черного огня,  
Потупился я в робости великой,  
Когда она взглянула на меня  
С неясной, вечно женственной улыбкой.

Мой — опыт мук, твой — опыт красоты,  
Я не наивен, ты не виновата.  
Такая ж чернобровая, как ты,  
Как ты, смотрела на меня когда-то...

1925

Венеция

Ах, лучше бы не родиться на свет,  
Не слышать пения — там, где снег,  
Трава, пастухи и стада.  
Любимую не любить никогда,  
Земли упоительной благодать  
Не воспевать, не страдать.  
Ах, лучше бы не родиться, не знать,  
Не видеть, не слышать, не помнить мать  
И — за это —  
Не умирать...

1935



КЛЕОПАТРА

Воители, уставшие от войн,  
Как много вы гордились и грозились,  
А ныне грезите, как бедуины: вон  
Оазис, что затеял бог Озирис.  
А это — я. Я призываю вас!  
Идите же! Я напою вас влагой.  
Отважная, я проявляю власть,  
Гнушаясь вашей властью и отвагой.  
Стране врагов внушая страх и жуть,  
Как доблестно глумились вы над нею!  
Я — тоже воин и вооружусь  
Всей силою, всей слабостью моею.  
Идите же! Теперь моя пора.  
Вы славите, объятые смятением,  
Светильник, возожженный богом Ра.  
А это — я. И мой ожог — смертелен.  
Страшитесь, победители морей!  
Благие ветры вашу жизнь спасали.  
Но из пучины нежности моей  
Вам не уйти под всеми парусами.  
Маяк удачи вас к себе манил,  
И мчались вы. Как долго длилось это!  
Но кончилось! Во мглу страстей моих  
Судьба не шлет спасительного света.  
Пусть царственное мужество мужчин,  
Чье тело прочно, как стена Хеопса,  
Вас приведет принять низжайший чин  
Безмолвного и вечного холопства.  
Идите же в пески моей земли!

В глубь сердца, милосердного иль злого,  
Проникну я, как холодок змеи...  
Змея? Зачем мне страшно это слово?  
Неужто переменчива любовь  
Богов ко мне? Но это после! Ныне —  
Короны, шрамы и морщины лбов —  
К моим ногам! В ночах моей пустыни  
Вы, властные мужи, падите ниц!  
Вовек вам с рабской участью мириться  
И ластиться ко мне, как старый Нил:  
„Прости, златокоронная царица!”  
Идите же, цари! Я — царь царей.  
Я — всё, словно вселенная и вечность.  
Я — суть судьбы и возраженье ей.  
Я — женщина. Я — бог. Я — бесконечность.

1940

Объятый именем моим,  
идешь по улице с другой.  
Я, с кем-то чуждым и другим,  
иду по улице другой.  
Несчастливы и я, и ты,  
и те, чьи милые черты  
Нам не милы. О, плач земной:  
Всегда — с другим, всегда — с другой!

1953

Мне в радости иль в грусти пребывать?  
Но что скрывать: влекомая толпой,  
Я не страшусь увидеться с тобой,  
Давно губам моим не тяжек труд  
Небрежно молвить: „Как дела, мой друг?”  
Давно душе забывчивой легки  
Сладчайшие сокровища тоски,  
И темный взгляд, летящий меж людьми,  
Внушает мне предчувствие любви...

Мне в радости иль в грусти пребывать?

## ПРИГОВОР

Я признаюсь в провинности любви  
И кротко жду возмездья и позора.  
Суди меня! Пускай уста твои  
Не медлят с объявлением приговора.  
Казни меня петлёй твоей косы,  
И вслед за тем я претерплю покорно  
В раю твоих объятий и красы  
Векá потустороннего покоя.

## АССИРИЙКА

На миг замедлив деловитый шаг,  
Огромный город, вспльчивый и властный,  
К ее лицу подносит свой башмак,  
Чтоб чистила и украшала ваксой.

Как шаль ее старинная бедна,  
Как пристально лицо над башмаками,  
И чернота ее труда — бела  
В сравнении с двумя ее зрачками.

О, те зрачки — в чаду иной поры —  
Повелевали властелинам мира,  
И длились ниневийские пиры,  
И в семь цветов цвела Семирамида.

Увы, чрезмерна роскошь этих глаз  
Для созерцанья суетной дороги,  
Где мечутся и попирают грязь  
Бесчисленные ноги, ноги, ноги...

Что слава ей, что счастье, что судьба?  
Пред обувью, замаранной жестоко,  
Она склоняет совершенство лба  
В гордыне или кротости Востока.

1957

Я слабой была, но я сильной была,  
Я зла не творила, а каялась долго,  
Небрежно, небрежно жизнь прожила —  
Подобно ребенку, царице подобно.

Мне надобно было воскликнуть: „Постой!  
Продли мою жизнь! Дай побыть молодой!”  
Сказала: „Ступай! Этой ночью пустой  
Дай мне посмеяться над нашей бедою!”

Я верила чаду речей и лица,  
Когда же мне в них обмануться случилось,  
Сама отвела я глаза от лжеца,  
И это была моя месть или милость.

Вовек не искала того, что нашла,  
А то, что нашла, потеряла навеки.  
Богатством утрат возгордилась душа,  
Надменно отринув хвалу и наветы.

Я слабой была, но я сильной была,  
Я зла не творила, а каялась долго,  
Небрежно, небрежно жизнь прожила —  
Подобно ребенку, царице подобно.

1961

## ОСТАНОВИСЬ, ЧЕЛОВЕК!

Та женщина, неведомая мне,  
И по причине, неизвестной мне,  
Так плакала, припав лицом к стене,  
Беду свою всем телом понимая.  
Внимала плачу женщины стена.  
Я торопилась — чуждая страна  
Меня ждала. Мой поезд был — „стрела”.  
Шла в даль свою толпа глухонемая.

Вздетел гудок. Стакан пустился в пляс.  
Как бледный мим, витал во тьме мой плащ.  
И вдруг огромный безутешный плач  
Меня настиг среди мчащегося леса.  
Печальный поезд сострадал ему —  
Колёсами, считающими тьму,  
Он так звучал, внушая боль уму,  
Как будто это плакало железо.

Болтался плащ. Приплясывал стакан.  
О, спешка мира! Как рвануть стоп-кран?  
Плач, как палач, меня казнил стократ.  
Подушка сна была груба, как плаха.  
Остановитесь, поезда земли!  
Не рвитесь, самолеты, в высь зари!  
Мотор столетья, выключись, замри!  
Виновны мы в беде чужого плача.

Повремени, мой непреклонный век,  
С движением твоим — вперед и вверх.



Стой, человек! Там брат твой – человек  
Рыдает перед каменной стеною  
И бьется лбом в затворенный Сезам.  
Люби его! Внемли его слезам!  
Не торопись! Пусть ждет тебя вокзал  
Прогулок меж Землею и Луною.

1962

## ОСЕНЬ

В природе — сытость влагою и сырость.  
Октябрь желает желтым малевать.  
Вот и свершилось то, что сердцу снилось:  
Прощай! Разлуки нам не миновать.

Ступай! Иди, куда идти велит  
Неверности тяжелая свобода.  
Я помогу тебе — поторопись,  
Мой опыт провожаний так велик,  
Я преуспела в этом, как природа  
В искусстве провожать листву и птиц.  
В дороге соберу тебя сама:  
Все вспышки губ, все россыпи и клады  
Тайн безымянных — отдаю! Возьми!  
Ах, странник мой, полна твоя сума —  
В ней все твои неистовые клятвы,  
Непрочные, как детский вздор весны.

Что вспоминать — давно растрочен август,  
Душа и лес зияют в октябре.  
Не медли же — мне пустота не в тягость,  
О, благодарствуй — добрый путь тебе!  
А слёзы — пусть их — это лишь ошибки  
Моих зрачков. Всё минет без следа.  
Мой опыт провожаний так обширен,  
Так замкнута моей судьбы тропа...

1967

## *Агван Хачатрян*

\* \* \*

Ты волосы мои ласкаешь нежно  
Задумчивыми пальцами худыми...  
Так горный ветер, солнечный и снежный,  
Ласкает утром рощи молодые.

Ты видишь одинокий волос белый.  
Так вот где горе давнее осталось!..  
Рука твоя на миг похолодела:  
В нём цвет зимы, непрощенная старость.

Ты не грусти. Тебе нельзя пугаться  
Ни седины печальной, ни морщины —  
Всегда в снегу вершина Арагаца,  
Всегда весна цветет в его лощинах.

Но больше нету волоса седого —  
Уловка помогла тебе простая.  
Какой же лёд, холодный и суровый,  
Под пальцами твоими не растает?

Мы много дней оставим за плечами,  
Но тот же взгляд останется и голос,  
И будешь ты, как раньше, как вначале,  
Отыскивать один, но темный волос.

СОН

Себя, молодого, я видел во сне,  
Себя, молодого, на черном коне.  
Я был смельчаком. Я коня понукал.  
Цветы задевали меня по ногам.  
Ах, мама, к чему бы мне видеть во сне  
Себя, молодого, на черном коне?

И мама сказала печально и мудро:  
„Те горы — не горы, а утро — не утро.  
То зрелость влечет тебя...  
Что же, лети!  
Будь счастлив.  
Желаю удачи в пути!”

Мне снилось: я криком коснулся вершин,  
Я подвигов много в пути совершил,  
Я падал и снова коня горячил,  
А воздух был свеж и немного горчил,  
И я улыбался себе самому...  
Ах, мама, к чему бы всё это, к чему?

А мать улыбнулась мне тихо и слабо:  
„Работай, мой сын, то влечет тебя слава.  
Ты славы добьешься.  
Ну что же, лети!  
Будь счастлив.  
Желаю удачи в пути!”  
Дыша от усталости часто, неровно,

Народ я увидел, много народу,  
Стоял тот народ, головою качал  
И на вопросы мои отвечал.  
Как странен мой сон. Я его не пойму.  
К чему эти старцы? И дети к чему?

А мама коснулась ладоней моих:  
„К тому эти люди, чтоб помнить о них.  
Ты их не забудь!  
Ну что же, лети!  
Будь счастлив.  
Желаю удачи в пути!”

1935

Там, за преодоленными горами,  
Иные горы для преодоления,  
И слово мне дано для утоленья,  
Для услажденья страждущей гортани.

Слова тщеты, как я гнушался вами,  
По слову мое горло горевало,  
Я знал неодолимость перевала  
Меж совершенным словом и словами.

О слово, — влага, лакомая свежесть,  
Ты — колокол, глаголящий в тумане,  
Кратчайший путь между двумя умами  
И вечная разлука всех невежеств.

Ты — лунный свет, вместившийся в окружность  
Поющих губ, ты — синева, ты — сущность,  
Ты учишь силе и внушаешь ужас,  
Оружье ты, но ты и безоружность.

Ты просишь соразмерности, ты — способ  
Гармонии, но вовсе не бесплодность,  
Ниспослан всем, но только мудрым познан  
Твой прочный корень, воплощенный в посох.

В ничтожном шуме сутолоки брэнной  
Ты — ласточка привета из вселенной,  
Чтоб разум принял поцелуй целебный,  
Исторгнутый любовью речи древней.

Ты — крайностей родимое соседство,  
Ты — исцелитель и спаситель сердца,  
Но нет надежней и смертельней средства,  
Чтоб кровь добыть с его живого среза.

Я сопрягаю горы и глаголы,  
Я шел в горах, я там иду и ныне.  
Преодоление — суть судьбы и книги,  
Я жив. Я преодолеваю горы.

1967

## ОТ СУХУМИ ДО ЧЛОУ

Шел я день от Сухуми до Члоу,  
Шел другой, и уже по-ночному  
Потемнело небесное око.  
А до Члоу всё так же далёко.  
Тут вы вправе воскликнуть: „Да что вы!  
Час пути от Сухуми до Члоу!”

У Синопа свернул я с дороги.  
Поболтать о делах, о здоровье  
Собрались все друзья и родные,  
Все зеваки и люди иные.  
Затянулась до ночи беседа,  
Да и ночь миновала бесследно.

Поутру же, за чистым Кодором,  
Поравнялся я с другом, с которым  
Я дружил, но не виделся долго.  
Он сказал: „Неужели до дома  
Не дойдешь ты со мною и в доме  
Рог с вином не удержишь в ладони?”

О, уступчивый я, безотказный!  
Угощался я разностью разной,  
Так душа была этому рада,  
Что запели мы „Райда, о райда!”  
И хозяйка была так радушна,  
Что продолжили: „Райда, райдгуша!”

В Тамыше повстречался мне старец.  
Стодвухлетний и дерзкий красавец,



Он дразнил меня: „Видно, ты сделан  
Из ольхи — ты мне кажешься дедом”.  
В небесах красовался Ерцаху,  
И луна приступала к мерцанью.

Ветер детства на щёки мне дунул.  
Шел я в Члоу, о Члоу я думал.  
Моего промедленья провинность  
Снова длилась, как дивная дивность,  
И не знал я: когда же я двинусь?  
Ах, когда же я все-таки двинусь?

1967

Для выгоды брэнного тела —  
 О нет! Для бессмертного дела! —  
 Меж грудью твоей и спиною,  
 А всё ж меж землей и луною! —  
 В тебе — но для пользы всесветной! —  
 Таинственный пульс милосердный  
 Пылает,  
 И алчет даренья  
 Открытая рана горенья.

Сияй золотой добротою!  
 Не то тебе быть сиротою  
 В глуши немоты нелюдимой  
 На родине речи родимой,  
 Да будут слова твои правы!  
 Беспечный! Для власти и славы  
 Зачем ты лукавством мараешь  
 Уста? Ты уже умираешь.

И те, что твердили: „Достоин  
 Почёта, кто дом свой достроил”, —  
 Не крикнут: „Он умер, о Боже!”, —  
 А скажут: „Он умер, ну что же”.  
 Так дерево не даровало  
 Плодов и теперь деревянно,  
 Так высох скупой или нищий  
 Родник, никого не вспоивший.

В себе и во мгле мирозданья,  
 Спасая очаг состраданья,

Живи! — для кого-то другого,  
Чужого, родного, живого,  
А после предайся бессмертью,  
Чтоб пугник затеял беседу  
С тобою — под кроткой и милой  
Листвой над твоею могилой.

1967

Этот месяц зовется июлем —  
 И неистово мы караулим  
 Мимолётного облака тень.  
 В солнцепёке великом и лютом  
 Только море прощает и любит  
 Толчею наших страждущих тел.

Этот месяц зовется июлем —  
 И, гудящая приторным ульем,  
 В пекле улиц теснится жара.  
 Неужели, хранимая лугом,  
 Где-то полнится холодом лунным  
 Та река, что и ныне жива?

Этот месяц зовется июлем —  
 Рисовальщик, малюющий углем,  
 Он чернит наши спины и лбы.  
 Мы устали, мы загнаны в угол,  
 И над югом, объатым недугом,  
 Скорбно высятся горные льды.

Этот месяц зовется июлем —  
 Он дерзил нашим скромницам юным  
 И на нет их наряды сводил;  
 Сам Ерцаху сегодня безумен —  
 Слыл бессмертным и все-таки умер  
 Снег его поднебесных седин.

Этот месяц зовется июлем —  
 Мы сгораем, но всё ж не горюем,

Воедино нас жажда свела.  
Ах, июлем наш пир именуем —  
Мы пируем, и нас не минуют  
Мамалыга и чаша вина!

1967

## РЕКИ

Оглохли, обезумели вы, реки!  
И реки ли — та грубая вода,  
Которая наносит в диком беге  
Немало для Абхазии вреда?

Вы источили грудь ее живую,  
Что вас вспоила сладостью своей,  
Уж кость видна! Я пла́чу и целую  
Нагие раны страждущих камней.

— О, горе нам! Где мудрые растенья?  
Убита их целебная листва.  
И песней смерти станет песнь раненья,  
Коль добрый разум не спасет лесá.

1967

Слышу голос невнятный и странный...  
На исходе тишайшего дня  
Безутешность души безымянной  
Окликает и мучит меня.

Чу! Опять этой музыки лишней  
Слышен звук. Но дорога пуста.  
Где же плакальщик, слёзы проливший?  
Где певец, отворивший уста?

Слышу голос... Но что же он значит?  
Вознесясь над моей тишиной,  
Не моя ль это молодость плачет  
Надо мной, над моей сединой?

Или всё, что должно быть воспето,  
Что воспеть я хотел и не мог,  
Моего не дождавшись привета,  
Шлет мне кроткий упрёк и намёк?

Слышу голос... Добрейший, умнейший.  
Друг мой верный, ты — там, на войне,  
О, умевший любить и умерший,  
Как же ты не забыл обо мне?

Осень, вечер, в невнятице серой  
Реют лики, крыла, имена.  
Тишина — это вздох милосердный  
Чьей-то муки, простившей меня.

Слышу голос...  
— Безумный, безумный! —  
Говорят домочадцы мои.  
Это действует вечный и шумный,  
Непреложный порядок земли.

Переклик голосов бесконечен.  
Не печалься на этом пиру!  
Это добрый лепечет кузнечик.  
Это ставня скрипит на ветру.

Умоляют:  
— Не слушай, не слушай! —  
Слышу голос... И всё не пойму:  
В чём значение тайны насущной,  
Причиняющей мýку уму?

1967



Не старая, но странная она,  
Как странен всякий, кто вкусил страданий  
Неслыханных. Но как она стройна  
Под бременем печали стародавней.

В ней умер свет и всё черным-черно:  
Душа и зренье, косы и одежда —  
И детское лицо обречено  
К всезнанию и смотрит безнадежно.

Вы скажете: „Но, если молода,  
Зачем осталась чьей-то темной тенью  
И всё молчит? Неужто никогда  
Уста ее не послужили пенью?“

О, послужили! Но тогда беды  
Она не знала. Море волновалось,  
Роса цветов в ладони выливалась,  
До полночи недолго оставалось,  
Он попросил — она повиновалась,  
Помедлила и подала воды.

Владели сны усталыми людьми...  
А он всё пил. Уже луна над чашей  
Возвысилась — он всё еще над чашей  
Лицо склонял. Кричал петух, начавший  
Труды свои, но жаждою сладчайшей  
Томился всадник. Длилась ночь любви.

Один лишь раз совпали их уста.  
Но где жених? Одеждой дорогою

Зачем не блещет? Для чего рукою  
Руки не тронет? О, судьбой другою  
Он занят ныне. Он играл с рекою  
И умерщвлен рекой. Река пуста.

Всё — пустота, пустыня, пустошь. Пусть.  
Пустое минет. Станет тихо, сухо.  
А здесь — река, присвоившая пульс  
Чужого сердца, будит рану слуха.

Прекрасная, печальная, вели —  
Я буду пить, губить и мучить воду,  
Пока из заточения воды  
Душа твоя не выйдет на свободу.

То молоко, что птица для птенца  
В себе таит, я выпрошу у птицы,  
Чтобы во мраке твоего лица  
Свет удивленья приоткрыл ресницы.

Я душу изведу на снегопад,  
Чтобы твоя одежда побелела.  
Вся белая, ты ступишь в белый сад —  
Словно дитя, свежо и неумело.

И спросишь ты:  
— Но как в снега полей  
Вы столько земляники заманили? —  
Я объясню:  
— Снега души моей  
Избытком земляники знамениты.

Воскреснув от беспамятства и мук,  
Возникнет смех твой — тоненький, огромный,  
И вспомню я: такой же чистый звук  
Я слышал лишь от куропатки горной.

1967

Ах, как бы я хотел,  
Чтоб шалость колдовства  
Была еще жива  
И ведома кому-то.  
Колдунья, кто-нибудь!  
Чтоб разомкнуть уста  
И детство мне вернуть,  
Тебе нужна минута.

Пошли меня туда,  
Где в дудочку дудя,  
Жила душа дождя  
И пацха дымом пахла.  
Я меж людей — никто.  
Но я уже дитя,  
Животного живеи  
Моя гнедая палка.

Ах, как бы я хотел,  
Чтоб всё, чем я владел,  
Покинуло меня  
И стало чуждой мглою,  
Но чтобы длился день,  
В котором я летел —  
Как всадник и как тень —  
По плоскогорьям Члоу.

Беда невелика, что имя седока —  
Безвестно. О, пока

*Белла Ахмадулина*

Не до того, он — мальчик.  
Не знает мир века,  
А всё же есть река,  
Прекрасная река,  
Ее зовут Кумарчей.

Ах, как бы я хотел  
От всех былых затей  
Отречься и забыть  
Жестоких игр науку.  
Все правила детей  
Я соблюдал затем,  
Чтоб матери моей  
Дарить печаль и му́ку.

О, если бы я мог —  
Утратой всей судьбы —  
Добыть ее лицо,  
Отобранное тьмою.  
Но высоко летят  
И там седым-седы  
Крыла души ее,  
Парящей надо мною.

Ах, как бы я хотел  
По кругу бытия  
Вернуться в те края,  
Где всё — добро и польза.  
Но не ребенок я,  
А лишь ребячлив я.  
Ах, как бы я хотел...  
Да, видно, поздно... поздно...

1967

## ЖАЖДА

Вот девушка в окно на сад глядит,  
И сад в окно на девушку глядит,  
И мчится всадник, и земля летит  
Из-под копыт его коня.

— Тит! Тит! —

Так девушка собаку понукает,  
Всеобщему веселью помогает  
Петух, вознесший на плетень крыла.  
И радость девушки, как роза, расцвела.

Измучен жаждой всадник молодой,  
И гневается конь его гнедой,  
Траву сминая и звеня уздой.  
Кувшин наполнив сладкою водой,  
Холодную водою ключевою,  
Красавица поникла головою:  
— Ах, мама, мама, я боюсь беды!  
Воды просил он — и не пьет воды.

— Когда томится всадник у ворот,  
И жаждет, и кувшина не берёт,  
Ненадобно стоять разинув рот,  
А надобно вином наполнить рог, —  
Так мать ее корит и поучает,  
И девушка в смущенье отвечает:  
— Не первый день у нашего крыльца  
Томится всадник. Я страшусь отца!

— Отец твой постарел и поседел,  
Но всё же не настолько поглупел,

*Белла Ахмадулина*

Чтоб не сумел припомнить он теперь,  
Как сам он жажду тяжкую терпел.  
Давным-давно у моего крылечка,  
Ах, как он жаждал, жаждал бесконечно,  
И эта жажда весела была,  
И роза радости в моём саду цвела!

1967

Как я желал осилить перевал!  
Как перевал моей беды желал!  
Я бедствовал. Но, словно весть любви,  
Следы мои на нежный снег легли.  
Я шел сквозь ветер, как сквозь толщъ стены,  
Но были горячи мои ступни,  
И таял под моей ногою снег.  
Так я служил рожденью горных рек.

1967

## ЗАВЕЩАНИЕ

В одном из абхазских селений  
Пригожий, поджарый, столетний

Жил некогда старец на свете.  
И вот что он думал о смерти:

— Кончина — еще не причина  
Забуть про родимого сына.

И вот что сказал он:  
— О мальчик!  
Запомни: велик, но обманчив

Избыток воды поднебесной,  
Небесной, соленой и пресной.

Как много пролил ее каждый!  
Но каждый терзается жаждой;

Коль путнику лакома влага,  
Тебе это прибыль и благо.

Поэтому, сын мой, сыночек,  
Заботливо пестуй источник.

Струю утруждай жерновами,  
А пламя побалуй дровами,



Чтоб весть о рождении хлеба  
Простёрлась от пацхи до неба.

Но, правя огнём и водою,  
Не спорь с их старинной враждою.

1967

## *Иван Тарба*

\* \* \*

Кто что умеет, милая, — я должен  
В союз любви соединять слова.  
Зачем я не дитя и не художник?  
Зрачок мой робок, и рука слаба.

Когда б тот дар мой осенил рассудок,  
Я б кисти взял, и пел, и рисовал,  
И выводил твоей души рисунок,  
И был бы он то бел, то розоват.

Гудят машины, гикают возницы.  
О, чад и гам! Им будто нет конца!..  
Измучили чужие живописцы  
Красу и кротость твоего лица.

Лицу — легко ль терпеть их взор пристрастный,  
Вбирающий в себя твои черты?  
Легко ли стать чужою и прекрасной,  
Неточной тенью, павшей на холсты?

Но черт твоих им не дана разгадка!  
И над невнятной тайной глаз и лба  
Склоняется бессмысленно и сладко  
Всех выставок незрячая толпа.

Я всё терплю. Безмолвствуя и горбясь,  
Я прохожу под сводом галерей,  
И нежный, ясный, очевидный образ  
Души твоей таю в душе своей.

1969

ПЕРЕВОДЫ

Отправляясь в Сухуми, возьму ли с собою  
Это сердце пустое, не нужное мне?  
Припаду ли к волне головою седою,  
Чтоб лицо твое высмотреть там, в глубине?

Я отправляюсь! Возьму! Я отпраздную горе!  
Развесёлый, приду я на вымерший пляж,  
И окликнет меня безутешное море,  
Словно чей-то огромный, бесформенный плач.

А руки бессильны... Разъять иль свести их, —  
Всё равно. Пустота. Только высмотрит глаз,  
Как оранжевой радости малый светильник  
Угасает. Он скоро угаснет. Угас.

О, как сложно, умно — утомленье разлуки  
Претерпеть до конца, совершенно, вполне.  
О, как просто и глупо — отдать в твои руки  
Загоранье, купанье, летанье во сне.

Неужели опять разминусь с простотою,  
Попрощаюсь: „Прощай”, — оглянусь на причал,  
И возьму только темное сердце пустое,  
Отправляясь в Сухуми — в лазурь и печаль!

1969

**ПРИСЛУШАЙСЯ К СЛОВАМ**

Прислушайся к словам: „Сегодня снег идет”, —  
звук стёрся дочерна, но как бела услада!  
Прислушайся к словам: „Сегодня льется дождь”, —  
всего-то, а душа — свежей дождя и сада.

Прислушайся к словам: „Светает на земле”, —  
лицо — уже светло, еще темна природа.  
Прислушайся к словам: „Звезда встает во мгле”, —  
и обретут слова значенье небосвода.

Прислушайся к словам: „Печется хлеб в печи”, —  
нет новости старей, и нет желанней вести.  
Прислушайся к словам: „Горит огонь в ночи”, —  
при них тепло, светло, как при тепле и свете.

Прислушайся к словам: „Зеленая трава”, —  
прислушайся к словам: „Сад расцветает снова”, —  
и кажется тебе, что мать твоя жива  
и прочен на губах вкус молока парного.

Прислушайся к словам: „Уже луна взошла”, —  
на землю снизойдет покой благословенный.  
Прислушайся к словам: „Гора опять бела”, —  
и мысль соотнесешь с веками и вселенной.

1970

Устав, в груди речь пробуди былую,  
новы слова, когда печаль стара.  
Свободно шествуй, как вода по лугу,  
живи, как встарь умели мастера.

Устав, слова усталостью не мучай,  
дай им сверкать! Твои луга — везде.  
По грудь в траве идет олень могучий  
идет, пока не припадет к воде.

Устав, не дай словам изведать дрёму,  
струится сердце, как река без сна.  
Склон — по траве, ведро — по водоёму  
и по словам печелятся уста.

Устав, упейся белизною речи,  
не сочетай слова и темноту.  
Иди по жизни, как большие реки,  
как вольный тур по горному хребту.

1970

Что бы ни делалось на свете,  
всегда желавшем новизны,  
какой бы новый способ смерти  
ни вызвал старый бог войны, —

опять, как при слепом Гомере,  
лоза лелеет плод вина,  
шум трав и розы багровенья —  
всё, как в иные времена.

И слёз о смерти так же много,  
и счастлив, кто рождён уже,  
и так свежо, так старомодно  
бессмертья хочется душе!..

1970

*Н.А.Лопаткину*

Страданье человека! Милосердным  
ты делаешь того, кто человек.  
Что было домом — стало пеплом серым,  
чернейшим снегом стал белейший снег.

Страданье человека — пепел зёрен,  
казненный хлеб, не утоливший рот.  
Я видел пепел колоса. Он чёрен.  
Люблю смотреть, как зеленеет рожь.

Я тронул пепел дерева рукою  
крестьянина, не устыдившись слёз.  
Зато зимой я плакал над строкою:  
„Весною зацветает абрикос!”

Страданье человека — смысл насущный  
хлебов, погибших в пепле и золе.  
Я видел горе. Плач детей я слушал.  
Так полюбил я радость на земле.

1970

Деревья, вы — братья мои.  
Темнело, но всё же могли  
глаза мои видеть при звёздах,  
что впали вы в дрёму и отдых,  
как путник, как пахарь, как кто-то,  
кого утомила работа.  
Деревья, я раньше уйду.  
Я вам оставляю звезду,  
и снег, и рассвет, и пространство,  
к которому сердце пристрастно.  
Спасибо вам, братья мои,  
за то, что метели мели,  
за тень и за шорох листвы,  
за то, что я — раньше, чем вы...

1970



## ЧОККА

В селении Тегенекли,  
где, пав с Эльбруса, вдаль текли  
река и малость ручейка,  
жил, благоденствуя, Чокка́.  
Он умер в сто шестнадцать лет,  
из них сто лет он сеял хлеб,  
и ровно сто шестнадцать лет  
он видел горы, солнце, лес  
и высоко над головой —  
свет наших душ, Эльбрус седой.  
Здесь скот его, и огород,  
и той дороги поворот,  
где от мелькнувшего огня  
крепчала прыть его коня.  
Здесь что ни путь — то перевал,  
здесь он на свадьбах пирувал,  
здесь скорбной сухостью зрачка  
на кровь и смерть смотрел Чокка́,  
но жизни воздавал хвалу,  
растил детей, косил траву,  
и, поупрямившись сперва,  
тащился ослик по дрова.  
Так жил он сто шестнадцать лет,  
из них двенадцать лет он слеп  
от слёз. И там, вдали от гор,  
он сам не знал, зачем огонь  
он разводил, зачем зерно  
лелеял, как заведено.  
Пускай минует вас тоска,

*Белла Ахмадулина*

которой тосковал Чокка!..  
Он умер дома, в декабре,  
при белом снеге на дворе.  
Навек оставшийся в зиме,  
он счастлив, он — в родной земле.  
Теперь считать я не берусь,  
как часто позволял Эльбрус,  
чтобы Чокка́ пришел туда,  
где лишь вершина и звезда.  
Кто жил вблизи, кто жил вдали —  
всяк ехал, шел в Тегенекли́.  
Чокка́ всегда был гостю рад,  
для гостя пенился айран,  
и я недавно и давно  
ел хлеб его и пил вино.  
Я видел, как он целый день  
грёб сено, возводил плетень,  
да что там день — почти века  
трудился на земле Чокка́,  
считая не важней тщеты  
всё, что сложнее простоты.  
Попробуйте-ка так пожить,  
так знать рассвет, так стог сложить  
и незаметный вечный след  
оставить там, где вечный снег.  
Жил сто шестнадцать лет Чокка́,  
ущелья, горы, облака,  
дожди, колосья, деревья  
любил он больше, чем слова.  
А я доверился словам  
и жизнь Чокка́ поведал вам.

1970

## ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ

*Теймуразу Чиргадзе*

Сказал я печали: — Приди и владей  
душой — пусть исторгнет стихи о печали!  
Я все их отдам за веселье людей,  
которые душу мою привечали.

Веселые люди, о, как я любил  
везде — и в Тбилиси — ваш смех безрассудный!  
Вино было алым, цветок — голубым,  
и вся эта жизнь — беспредельной и чудной.

О, как я любил ожидать: вот сейчас  
войдет и, рукой ничего не касаясь,  
не ведаю как, превратит весельчак  
гостей — в острословов, а гостей — в красавиц.

Вошел врачеватель, чудак, чудодей,  
и я в нём признал незнакомца и друга,  
и вновь возлюбил я веселых людей,  
спасающих нас от беды и недуга.

При них — и холодная ночь горяча,  
как полдень, ожегший проспект Руставели.  
Зимой это было. Цвела алыча,  
и абрикосы в снегу розовели.

Пусть кто-то обидел нас иль рассердил —  
забудем! Подумаешь, важность какая!  
Но ты незабвенен, Ходжа Насреддин,  
упорствуй и смейся, осла понукая!

*Белла Ахмадулина*

Покуда плодами увешана ветвь,  
покуда земля зеленеть не забыла,  
веселые люди, ваш смех — это весть  
о том, что вовек эта жизнь неизбывна!

1970

Как много в городе людей!  
А я привык к иному краю,  
не ведаю я их затей,  
куда спешат — не понимаю.

Покуда сумерки и снег,  
не медли, незнакомец милый!  
Коль надобно — верши свой бег  
извечный и неутомимый.

Не расточай на жизнь мою  
ни слова, ни кивка, ни взгляда.  
Пусть добрую твою семью  
утешит новость снегопада.

Случайный гость твоих равнин  
и голубых вершин Арбата,  
я знаю: твой покой храним  
любовью матери иль брата.

И та, в чьих мыслях и речах  
всё ты да ты, домой вернется,  
склонится, разожжет очаг —  
иль как это в Москве зовется?..

Хоть кем-нибудь одним, родным,  
задохшимся от нетерпенья,  
ты неминуемо любим,  
и в этом смысл сердцебиенья.

*Белла Ахмадулина*

На землю белую легли  
следы — твои, мои, иные...  
Великий снегопад любви  
сплотил нас, путники земные!

Нас где-то ждут. О нас грустят.  
О нас во сне лепечут дети.  
А если всё это не так —  
что белого на белом свете?

1970

## ЛУННЫЙ СВЕТ

Лунный свет. Зрачка мученье.  
Сухо. Лунный свет. Легка  
поступь. Лунный свет. Ущелье.  
Скалы. Лунный свет. Река.

Лунный свет. Белейший верх  
гор. Дорога. Человек.

Лунный свет. Обрыв. Ограда.  
Лунный свет. Ожог меж век.  
Крыши. Лунный свет. Не надо  
плакать! Горы. Лунный свет.

Лунный свет на белый свет  
пал. Сухие камни. Снег.

Лунный свет на кукурузе.  
На воротах лунный свет.  
Лунный свет. Мгновенность грусти.  
Лунный свет. За веком — век.

В эту ночь не плачь, о нет!  
Лунный свет. Высокий снег.

1970

## МЫ СЛУШАЛИ МУЗЫКУ

*Георгию Свиридову*

Мы слушали музыку. Вечер и сад  
так верили ей, и так мысли парили,  
как будто и музыка, и снегопад,  
и всё это с нами случилось впервые.

Впервые, давно, до всего, до судьбы,  
до участи хлеба, постигшей колосья,  
до тяжести, обременившей сады,  
до встречи кувшина с водою колодца.

Казалось, что пуля не знает ствола,  
петух не приходит заре на подмогу,  
рука человека огня не зажгла  
и жернов еще не учился помолу.

Нет времени позже, чем ранняя рань,  
нет опыта утра у мглы предрассветной,  
не ведает тело премудрости ран,  
и нет ничего, кроме музыки этой.

Мы слушали музыку в мире пустом,  
уже существуя, еще не печалась:  
страданья — потом и несчастья — потом,  
пока — только музыки первоначальность!

1970



## БЕЛИЗНА ЗИМНЕЙ НОЧИ

Луна. Звезда. Притихшая чинара.  
Душа — их отраженье сочиняла,  
и вышло так: о, ночи белизна!

Безлюдная дорога. Горы. Камни.  
Им длиться дважды — явью и стихами  
короткими: о, ночи белизна!

1970

## ДВОРИК МОЕЙ МАТЕРИ

Зимою дворик матери моей  
был бел от снега, летом — жёлт от света.  
Синело небо. Рос подсолнух. Дней  
я не считал. Я думал — вечно это.

Бывало, мать оглянет огород,  
примерит к ливню или солнцепёку  
и так рассудит: — Если Бог пошлет,  
мы будем с урожаем. Слава Богу. —

Ее передник вечно был в земле.  
Не вечно, нет. Теперь я знаю это.  
А я живу. И всё труднее мне  
глухую зиму отличить от лета.

1970

## СОН ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Шел снег. И при медленном снеге,  
при стуже небес и земли,  
чем глубже я спал, тем краснее  
тюльпаны Чегема цвели.

Шел снег. Но душа ночевала  
вдали от его белизны.  
Шел снег. Зеленела чинара.  
Как зелены зимние сны!..

1970

## ТИШИНА

Не убивайте тишину!  
Лишь в ней, при лампе догоревшей,  
мудрец, взирая на луну,  
склонялся к мысли долговечной.

Лишь тишина взрастит зерно,  
чтоб хлеб живой детей насытил,  
и тишиной предрешено,  
чтоб снег поля и двор осыпал.

Весна желает тишины.  
Что справедливо — то негромко,  
и веселит трава весны  
меня и малого ягнёнка.

Нужна такая тишина,  
чтоб нежилась и зрела дыня,  
чтобы в ночи сбылась луна  
и путником руководила.

Лишь в тишине бахче легко  
налиться сладостью земною.  
Ребенок, сено, молоко  
и луг — объяты тишиною.

При тишине горит очаг  
и юной матери не спится,  
при ней родится хлеб в печах,  
пшеница зреет, реет птица.

Лишь тишина склонит ко сну,  
утешит мыслью и беседой.  
Не убивайте тишину —  
дар драгоценный, дар бессмертный!

1970

## ЗИМА ПРИШЛА

Зима пришла в селенье,  
вблизи и в отдаленье  
белы, нежны слова и дни,  
беды не жди, сюда иди!

Ночной сугроб лопатой  
от двери отгони.  
Снег, падай, падай, падай!  
Огонь, гори, гори!

Ты жив, если заранее  
сложил дрова в сарае,  
покуда сыт огонь,  
и ты — не сир, не гол.

Дымок высокопарный  
уже достиг зари.  
Снег, падай, падай, падай!  
Огонь, гори, гори!

Белы гора, и школа,  
и детвора, и что-то  
летит в глаза — смешны бои,  
щека красна, снежки белы.

Пойдешь ли на попятный  
от эдакой игры?  
Снег, падай, падай, падай!  
Огонь, гори, гори!

Жива на свете белом  
молва о снеге белом,  
земля прочна, сады белы,  
зима пришла, все дни белы.

Гуляй, маляр опрятный,  
вдоль неба и горы!  
Снег, падай, падай, падай!  
Огонь, гори, гори!

1970

## КУКУШКА

Ты слышишь? Кукушка кукует на склоне,  
где высится древняя зелень чинар.  
Столетье былое, не знаю какое,  
взывает ее кукованием к нам.

Притихли деревья, дорóги и камни,  
как мы — меж деревьев, дорóг и камней.  
Не ей, исчисляющей время века́ми,  
судить о числе наших лет или дней.

К тебе я скачу, я измучен и молод,  
прищурился глаз, углядевший меня,  
но я доскачу к тебе, если помогут  
удача судьбы и отвага коня.

От ран изнемогший, к ногам твоим рухну,  
открою глаза и увижусь с тобой.  
О, как ты умеешь протягивать руку,  
врачуя несчастье, усталость и боль!

Так было, иль будет, иль попросту мнится.  
Блаженно приемлют любовь облаков  
деревья горы. И прилежная птица  
кукует, сбиваясь со счёта веков.

Ты слышишь? Кукушка слагает два слога,  
земле возвращая покой тишины.  
И ей заморожены заросли склона,  
чинары, и травы, и реки, и мы.

1970



## ВЕЧЕР В ГОРАХ

Усталый вечер, как олень,  
возлёт на горные отроги,  
и сон олений одолел  
ущелья, склоны и дороги.

Вершины думают о том,  
что только им удел достался —  
пренебрегая суетой,  
руководить судьбой пространства.

А у подножья высоты,  
стоящей во главе природы, —  
селенья, домики, сады,  
дворы, плетни и огороды.

Веков пророческая весть  
слышна лишь там, вверху обрыва.  
Внизу — довольны тем, что есть,  
что было, думают, то было.

Зажглось и светится окно,  
и путник поспешает к дому —  
так, как вовеки суждено  
окну и путнику ночному.

Вершины сверху вниз глядят  
на склоны с кроткими ростками,  
на белый яблоневый сад,  
на остывающие камни.

*Белла Ахмадулина*

Зияют влажной чернотой  
опять раскопанные гряды,  
и дворик, теплый и сухой,  
кончает день внутри ограды.

Стада бредут под сень дворов,  
и близок отдых еженощный  
коз, буйволов, овец, коров  
и осликов с тяжелой ношей.

Созвездья высшие зажглись,  
и горы кажутся веками,  
а жизнь внизу — всего лишь жизнь  
с ее детьми и стариками.

Печется хлеб, горит очаг,  
бельё постиранное сохнет.  
Бранятся, мирятся, молчат,  
ложатся спать. Темнеет в окнах.

Вверху, в заоблачной тени,  
снега белеют, вечность длится.  
Внизу — сады, дворы, плетни  
и красных кровель черепица.

1970

## ГОВОРЮ С ЧИНАРОЙ И КОЛОСЬЯМИ

— Чинара! Тихий дождь идет.

Ты счастлива, чинара?

— Да.

— А мне зелёности твоей  
вполне достаточно для счастья,  
и тень твоя во всю длину  
лежит на глади сновиденья.

— Колосья! Тихий дождь прошел.

Вы рады ли, колосья?

— Да.

— А мне для радости довольно  
того, что солнцу рады вы,  
и длится жизнь, и хлеб печется,  
и дети игры затевают,  
и не хотят остановиться  
веселых мельниц жернова.

1970

## ГОВОРЮ В ПУТИ

Темна дорога. Высока гора.  
Вдали — окно и крыши черепица.  
В том домике живет моя сестра.  
Мой путь далёк. Моей сестре не спится.

Я приходил и уходил опять,  
но, сколь ни странствуй, нет судьбы превыше,  
чем знать, что ждут тебя сестра и мать,  
хлеб на столе и сень отцовской крыши.

Приму спокойно всё, что суждено,  
и детского обета не нарушу.  
Для каждого в ночи горит окно,  
чей свет в живых удерживает душу.

Темна дорога. Высока гора.  
Выходят звёзды в свой дозор привычный.  
Не одинок я. Ждет меня сестра  
в том домике под крышей черепичной.

1970

## ГОВОРЮ ОДИНОКОМУ ДЕРЕВУ

Ты было б совершенно одиноко,  
о дерево, когда б не тень твоя,  
но нужно небо и луны немного,  
чтоб выжить ночью, друга сотворя.

Ты безутешно полночью безлунной:  
и тени нет, пустая ночь темна.  
Ты тщетно ждешь: какой же ствол безумный  
покинет лес, чтоб навестить тебя?

Днём у тебя в гостях то я, то птица,  
а ночью ты слагаешь плач ветвей.  
Прошу луну — пусть выйдет и продлится,  
чтоб тень твоя всегда была твоей.

1970

## ВОЛЫ ПОД ДОЖДЕМ

На зеленой лужайке два черных вола,  
и на серых рогах — дождевая вода.

Мирен отдых волов. Их сюда привели  
грязь и камни дорог, где устали волы.

Перед ними — трава. И забыта арба,  
на которую грузят зерно и дрова.

На зеленой лужайке два черных вола,  
и на серых рогах — дождевая вода.

1970

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТЕНИ ДЕРЕВА

Всё сущее когда-нибудь да спит,  
усни и ты, тень дерева, не медли.  
Подушек детских тихий сон достиг,  
и спит струя, закрученная в меди.

От ног бегущих отдыхает пол,  
дверь отдыхает от дневного скрипа,  
ведро — от влаги, и от дров — топор,  
и что им снится, то от прочих скрыто.

Уже темно, тень дерева, усни,  
ненадобно склоняться над арбою,  
ушел теленок — спать в другой тени,  
нет ослика, любимого тобою.

Средь бела дня каменотёс и жнец  
узнали, как сладка твоя прохлада.  
Теперь луна. И смерклось наконец.  
Тень дерева, не трать себя, не надо.

Ты одаряла нас в полдневный зной,  
мы жаждали тебя и утомили.  
Тень дерева, поговори с луной  
и отдыхай, как всё живое в мире.

Дорога спит. Спит поле. Молоко,  
наполнив вымя, спит в коровьем теле.  
Тень дерева, спи сладко и легко,  
как спят в ночи все существа и тени.

1970

*Белла Ахмадулина*

– Беречь друзей! – ты написал, Расул. –  
Вот жить – не зря – единственное средство. –  
И, как строку ответа ни рисуй,  
не нарисуешь безутешность сердца.

Во всём ином то я, то ты не прав,  
но прав твой лист, изъятый из тетради.  
Не дай нам Бог друзей легчайший прах  
оплакивать при черном снегопаде.

Покуда пули, спящие в стволе,  
пеклись во сне о смертоносном деле,  
текли беспечно реки по земле,  
беспечно мы в глаза друзей глядели.

Недолог сон всех пуль во всех стволах,  
недолог срок от дружбы до утраты:  
где этот друг мой или тот стоял,  
теперь то снег, то – ничего, то – травы.

Склонялись мы к тому, кто падал ниц,  
не поровну нас опалило пекло.  
О, лучше ты останься и склонись,  
я буду пеплом, буду меньше пепла!

У нас пред ними не было вины,  
кроме войны, в которой неповинны  
живые мы и мёртвые – они.  
Но кто разметил эти половины?



Они хотели жить, и я хотел,  
и я хочу, но всё же не настолько,  
чтоб жить взамен тех юных душ и тел,  
убитых беспощадно и жестоко.

Железный и глухонемой туман  
был нас сильней и нас разъял с друзьями.  
Мы плакали, а он их отнимал, —  
железо не разжалобишь слезами.

Я выбрал риск, но я бы не рискнул  
не заручиться долголетьем друга.  
Как трудно уберечь друзей, Расул,  
как трудно уберечь, Расул, как трудно!..

1970

Луна над домами. Тебе и луны не дано.  
У нас уже лето. Но это тебе всё равно.

Построили дом, выпекают хлеба и поют.  
Но что для тебя этот бранный и бедный уют!

И солнца восход пред твоей темнотой — суета.  
Ты жил, сколько мог, а дальнейшее — длится всегда.

Вовеки не будет ни трав, ни дождя, ни огня,  
ни брата, ни матери и никого никогда.

Когда бы камням втолковать череду твоих дней —  
взлетел бы орел, ужаснувшись рыданью камней.

Покинутый всеми, зачем ты зываешь ко мне:  
“О, если б в Чегеме, в его каменной земле!”

Деревьям и скалам известно, что птичья беда —  
не гибель, а гибель вдали от родного гнезда.

Прости, что я плакал слезами деревьев и скал,  
прости, что ни деревом и ни скалою не стал.

Прости, что ты раньше. Прости, что при чуждой заре.  
Прости, что я позже. Прости, что в родимой земле.

Чтоб зренье не тратить на всё, что не скорбь о тебе,  
глаза прикрываю и слепо иду по тропе.

Ты — птицы беднее. Ты не дотянул до гнезда.  
Ты нищ, словно камень, упавший туда, где вода.

Как дым одичавший на месте бывшего жилья,  
как пепел пожара — печаль по тебе тяжела!..

1970

Сказали мне люди: „Поэт — кто велик,  
иначе впустую потрачена му́ка.  
Вели нам — и сделаем, как повелишь!”  
Куда там! Ни мысли, ни слова, ни звука.

Любая строка — это путь муравья,  
истершего горб о невидимость ноши.  
Рука добывала и в клочья рвала  
непостижимые формулы ночи.

Сказали мне люди: „Учи нас уму!”  
Я б раньше детей научил непременно,  
да где мне! Догадка: неужто умру? —  
влечет не учить, а любить непомерно.

Ни знанья, ни мудрости мне не дано.  
Так дни проходили и ночи чернели.  
Но знал я: что́ мне разгадать мудрено, —  
не мудрствуя, ведает пахарь в Чегеме.

Блажен грамотей, не попавший впросак  
и не удрученный сомненьем напрасным.  
Я был опрометчив, но всё же не так,  
чтоб это блаженство накликать на разум...

1970

НА БЕРЕГУ ИССЫК-КУЛЯ

Озеро синее, а берег зеленый,  
А чайки белые, как первый снег.  
И носится крик их нездешний, залётный,  
Похожий на плач и на смех.

Лежу на траве, приозябшей, серебряной.  
Стынет облачко над головой.  
И разливается запад сиреневый,  
Запад сиреневый и голубой.

Роса рассыпалась ясным бисером.  
Волны медлительны и тяжелы.  
Всё покрывается сумраком быстрым  
Среди удивительной тишины.

Песчаный берег становится влажным  
И промокает мои следы.  
Стоит Алатоо, седой и властный,  
Цвета веков и цвета слюды.

Пасутся сумерки на джайляу.  
Тени стелются по земле...  
О чём печалюсь, чего жалею?  
И тонут ноги мои в ковыле.

ПОЕЗДА

*Памяти Йиржи Волькера,  
чешского поэта*

О, деревня моя на отлёте земли!  
Я б вернулся под сень твоих добрых дворов,  
не отвергнул бы я твоих скромных даров,  
но тоска по железу железных дорог  
затуманила очи мои.  
И несется вагон вдоль натянутых рельс.  
И несется смычок вдоль натянутых струн.  
Я отведаю воздуха множества стран!  
Слава Богу, не стар я, не стар я, не стар,  
этот рейс — не последний мой рейс.  
Йиржи Волькер, я твой повторяю урок:  
быть во всех поездах и во всех городах,  
на разъездах, как в желтых и красных цветах,  
промелькнут в этих желтых и красных флажках  
чьи-то губы и вымолвят: „Ах”...  
О, тоска по железу железных дорог!  
Веселы мне, дорога, твои фонари!  
Сам с собой я играл среди этих огней:  
каждый алый фонарик — как келья, а в ней  
Пимен крошечный вторит движению дней  
и труда не прёрвет до зари.  
Так я мчался — свободный, невзрачный, ничей,  
засыпал, и ко мне, по велению сна,  
сниходила та женщина, как тишина,  
и смотрел я, как смотрит она из окна,  
и гремит по оврагу ручей.

## ОТДЫХ

Мы отдохнем! Не торопи меня.  
Повремени. Не спрашивай об этом.  
Люблю я видеть на исходе дня,  
как белый цвет граничит с черным цветом.  
Ложится снег на тайны мостовой,  
на этот камень, выпуклый, как маска  
с лица Бетховена...  
От нас с тобой  
теперь зависит этих тайн огласка.  
Смотри: дитя обёртки от конфет  
всё втаптывает в снежное свеченье,  
как будто клеит марки на конверт,  
имеющий огромное значенье.  
И трогательный высится фонарь,  
как в давности, как в сказке Андерсена,  
когда темно, и близится финал,  
и все вдруг плачут, и пустеет сцена.  
И слабость, и покой владеют мной,  
мне плакать хочется и не спешить с ответом.  
Восходит над моею головой  
конструкция обледенелых веток.  
Мы к отдыху близки, как никогда,  
но в небесах от головокруженья  
теряет равновесие звезда,  
опять внушая мне соблазн движенья.  
Я говорю себе: „О, не пора ль?“ —  
и вот, согласно моему смятенью,  
несется современная спираль,  
закрученная этою метелью.

*Белла Ахмадулина*

Проходят сквозь меня гул поездов,  
несущихся неведомо откуда,  
фонарь, ребенок, окна городов,  
и всё это — как ощущение чуда.  
Ночь принимает очертанья дня,  
и странно мне осознать всё это.  
Мы отдохнем! Не торопи меня.  
Спи, милая. Спи до рассвета.



## ХУДОЖНИК

Земля, открой мне тайну простоты!  
Твой рисовальщик, я возьмусь за дело.  
Я доведу рисунок до предела —  
и будет он естественен, как ты.

Я знаю: совершенен сталактит,  
как торс вакханки Скопаса. Едины  
законы созидания.  
Иди же  
и так твори, как мир себя творит.

Так говорил себе я и глядел,  
как ящерица напрягает мускул  
сверкающего тела.  
Вечных музык  
движение — таков ее удел.

О, формы женской и мужской руки!  
Что наделяет их значеньем разным?  
Они близки в различии прекрасном,  
как драма и трагедия близки.

В моей деревне, вставши до утра,  
я видел тайну простоты насущной  
и в женщине, свое дитя несущей,  
и в цинковом сиянии ведра.

Снег знает способ (я его не знал)  
отлить узор серебряный и мутный

*Белла Ахмадулина*

так точно, словно это мастер мудрый  
старинный подстаканник отливал.

Я перед сном твердил всё ту же речь,  
и это было прочего превыше,  
как для собаки древняя привычка  
кружить над ложем, перед тем как лечь.

## КУСТ

Мороз... Не хочется, да надо  
вставать... И голос хриповат...  
Плывет заброшенного сада  
таинственный архипелаг.

Там, меж сугробов, меж окраин  
зимы, так воздух свеж и пуст.  
Я только гость здесь. Мой хозяин —  
крыжовника зальделый куст.

Равно над садом, надо мною  
вставало солнце. Вкруг куста  
возникла тень. Что тень такое?  
Рисунок или пустота?

Был профиль дерева так тонок,  
правдив в изображенье том —  
ладошку, балуясь, ребенок  
обводит так карандашом.

Казалось, с любопытством детства,  
с одушевленностью земной  
куст в отражение гляделся,  
позировал перед зимой.

Среди природы бесконечной,  
загадывая и дразня,  
плыл негатив недолговечный  
вкруг дерева и вкруг меня.

*Белла Ахмадулина*

И по прекрасным тем законам  
на грани смежных двух времен  
был воздух февралем закован,  
и мартом перенапряжен,

и схож с тем воздухом, который  
молчит и светится едва  
перед дверьми лабораторий  
в канун опасный торжества.

## *Сабит Муқанов*

### ЛЕТНЕЕ УТРО

Отпрянуть сумерки спешат,  
восход забрезжит светом бедным,  
и в обновленном небе бледном  
сверканье звёзды завершат.

Еще висит, еще горит  
и улыбается Венера,  
но облако, что было серо,  
стать ярко-желтым норовит.

Пронизывают весь простор  
светила золотые спицы,  
и пробудившиеся птицы  
кричат средь голубых озер.

Пора горланить петухам!  
Из ночи, из ее воронок,  
уже взмывает жаворонок  
на радость старым пастухам.

И примеряет вся земля  
цветов богатые короны,  
обильно овцы и коровы  
стекаются в свои поля.

Как сладостно покинуть дом,  
проснувшись утром рано-рано!  
Ненадобно другого рая —  
Лишь здесь бы жить, смотреть кругом.



*Белла  
Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2

ВОСПОМИНАНИЯ



Не помню, как мы познакомились. Да мы и не знакомились вовсе: мы учились вместе в Литературном институте, виделись мимоходом и часто на Тверском бульваре, в Переделькино кивали друг другу с торопливой приветливостью, а сейчас редко встречаемся.

Но когда я вижу что-нибудь синее, оранжевое, золотое — любую милую яркость, которой одаряет нас мир, я вспоминаю юношу в блеклом лыжном костюме и свое нежное уважение к нему, к его восприимчивости к тем краскам, что украшают жизнь своим живым семицветьем. Вспоминаю, как однажды, давно уже, мы столкнулись с ним в долгом вечернем сумраке опустевшего институтского коридора, и я заметила, что он невелик ростом, а в скромном, тихом лице его есть второе, глубокое выражение: какой-то страстной сосредоточенности и доброй печали. Может быть, это остро-черные, пристально нацеленные в упор зрачки придавали его простым чертам многозначительность. Я знала о нём, что он — чуваш, из маленькой далекой деревни, и в Москве недавно.

— Ну, как дела? — спросила я на ходу.

Он быстро глянул своими, словно остроконечными, метко видящими зрачками и, простив мне условность вопроса и радуясь собеседнику, рассказал мне о своей деревне, как он скучает по ней, как сильно окрашено всё там: небо, ягоды, вода, глаза лошадей, и всё такого прекрасного, всеобъемлюще синего цвета.

Впервые я услышала о его стихах от Михаила Аркадьевича Светлова: он всем нам причинил то или иное добро, но хвалил нас не так уж часто. Юношу в синем костюме он, не остерегаясь, хвалил.



Впоследствии я эти стихи слышала, читала, перечитывала. Они могут показаться сложными, несколько витиеватыми, но мне думается, что не нарочитость виной тому, а серьёзная и подлинная сложность, которую ощущает в мире и в себе юный, наивно-проницательный человек, сильно, азартно устремивший в жизнь зрение, слух, руки. Он пристально смотрит вокруг, и нет такой малости, которая не показалась бы ему значительной, располагающей к раздумью. В будничном, привычном он отгадывает возвышенность и красоту, делает их предметом искусства. Многие чудеса поражают его: поездá, мелькнувший фонарь, такой таинственно-светлый, как будто маленький Пимен поместился в нём и завершает сказанье, белый архипелаг сада, дивный овал человеческого лица, человеческие выдумки и творенья и всё, чего так много и из чего и возникает постепенно непростой и прекрасный мир, близко подступающий к глазам. И как щедро, буйно и родимо этот мир расцветен: в нём и радуги, и Йиржи Волькер, и черный куст в розовом пространстве, и лиловые маляры.

Он — поэт. Вот в чём дело. Зовут его Геннадий Айги.

1964

Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устает и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: „Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда...”

Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клёкот, который всё нарастает в горле, пока не станет пением.

Мне кажется, никто не живет в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поёт сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.

Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: „Сюда”. Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом, хозяйка и две ее дочери ловко накрыли стол.

Сбор винограда только начинался, но кевври — остроконечные, зарытые в землю кувшины — уже были полны юного, еще не перебродившего вина, которое пьется легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уж все

пели за столом во много голосов, и каждый голос знал свое место, держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем.

Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в ней была доброта, много любви, немного печали, нежная благодарность земле, воспоминание и надежда, а также всё остальное, что может быть нужно человеку в такую счастливую и лунную ночь.

1964

Осенью минувшего года я впервые была в том Тбилиси, где нет Чиковани. Где нет Леонидзе. Город, любовно затверженный мной наизусть, но преображенный, искаженный их отсутствием, был мне нов и неведом. Как изменился вид на Метехи!

Но платаны на проспекте Руставели — розовели в честь предстоящей зимы!

Женщина, изогнувшись, освобождала окно от штор и допускала солнце к обилию цветущих холстов, к чрезмерной зрелости желтых роз в просторных сосудах. В огромном свете комнаты — седой, изящно сломанный в силуэте, ненаглядно красивый, шел Ладо Гудиашвили, искоса общаясь со своими творениями. Нежные, причудливые, совершенные в прелести или заданном уродстве, они зывали к нему со стен, толпились и клубились вокруг, но всё же подлежали его власти, и он с неловкостью объяснял простой смысл их доброго значения. Чудеса продолжались, и в их обширном воздухе длилась жизнь прежних, прекрасных участников. Где-то под потолком еще витало дивное бормотание любимого переделкинского гостя — восемь лет прошло с тех пор, как им любовались здесь в последний раз.

Душа моя возвращалась из горя, как из долгого странствия, и разве когда-нибудь отступится она от Метехи?

Тбилиси — назывался этот город, и — что мне было делать? — я вновь любила его, как ни одно другое место земли. По поводу любого места земли слух мой дольше страдает от любви, чем зрение. Память зрачков уже освобождается от лиц и пейзажей, а чужой язык еще живет во мне, бурно творится сам по себе, терзая меня близостью и недоступ-

ностью. Ни с одной чужой речью не общалась я так долго и близко, как с грузинской. Она вплотную обступала меня говором и пеньем, искушая неловкую славянскую гортань трудиться до кровавых ссадин, чтобы воспроизвести стычку и несогласие согласных звуков и потом отдохнуть в приволье долгого „и”. Как мучалась я из-за этой, не данной мне, музыки — мне не было спасения в замкнутости, потому что вода, льющаяся из крана, внятно обращалась ко мне по-грузински.

Но наступала таинственная ночь труда, и эта речь, еще недавно бывшая сильнее меня, лежала передо мной бездыханным подстрочником — бедная, беззащитная и нагая. Теперь от одной меня зависели ее жизнь или смерть в ином языке. С течением времени я научилась мгновенно множить дословный перевод на воображаемую музыку и по подстрочнику именно грузинского стихотворения сразу же определять, с каким поэтом имею дело.

Да, нет счастья надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Кроме всей жизни, я помню ночь такого счастья, преувеличенного до чрезмерности синевой зелени за окном и предрассветными соловьями.

1967

*Памяти Джона Стейнбека, его собаки  
Чарли, всех моих собак, всех, кого любила  
и потеряла.*

„Путешествие с Чарли” — знаменитая прекрасная книга Стейнбека.

Я видела его в Москве, в редакции журнала „Юность”. Ничего позорнее этого молодого собрания я не помню. Там были замечательные писатели: Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин. Я пришла с опозданием: у меня в тот день отобрали автомобильные права. Предводительствовал Борис Полевой. У него и у Стейнбека как-то в розную кось смотрели глаза. Подавали кофе, Стейнбек попросил другого напитка — не дали, он пошутил: „Я слышал, что в России даже из табуреток это добывают”.

Мы все молчали. Мы — по-разному — были добычей страха или той доблести, когда не плетут лишнего, но всё-таки плетут и расплачиваются.

Гладилин спросил: „Мистер Стейнбек, Вы встречались с Хемингуэем? О чём Вы говорили?”

— Только о том, кто первый заказывает.

Спросили: „Мистер Стейнбек, Вы встречались с Дос-Пассосом?”

— Говорили о том же. Почему Вы ничего не говорите? Вы — молодцы. Вы должны быть отважны, как молодые волки.

Полевой шепнул мне в ухо:

— Беллочка, скажите что-нибудь.

Я сказала: „Господин Стейнбек, Вы вернетесь в Америку. Вам будет грустно, а мне стыдно. „Но не волк я по крови своей”. Вы заметили: я опоздала. У меня отобрали автомобильные права. Других прав не имею и не возьмёю”.

Мне стало известно, что Стейнбек понял меня.

Прошло время, погибла моя собака. Я хотела обрести облегчение: написав „Путешествие с Ромкой”. Я имела в виду не географический сюжет, а трагический, исторический: рождение, жизнь, смерть. Но боль, посвященная собаке, превозмогла мою способность писать. Я не обрела облегчения и умру с этой мыслью.

1968

Двадцать девятого января, а по-нынешнему десятого февраля, люди с особенным выражением говорят о нескончаемом Пушкине, о его присутствии в яви дня и безутешно горюют, потому что прежде Пушкин был хрупко живой, родимый человек, а его ранили в живот и убили.

Но я хочу повести речь только о жизни, в которой всегда есть пушкинская причина ликовать и с днём печали многозначительно соседствует день радости. Например, четырнадцатого февраля, при морозе и солнце, можно выехать из Пскова в сторону Опочки, минуя Остров, еще раз благословить имя доброго Пущина, купившего здесь когда-то три бутылки „клик”, в должном месте повернуть налево, обмирать и ждать, когда прояснится вдали шпиль Святогорского монастыря, еще раз повернуть и еще, сильным топотом отрясти на крыльце снег и с разлёту, с холоду, из сеней, выпалить: „Здравствуйте, Семён Степанович! Поздравляю Вас с чудесным днём Вашего семидесятилетия!”

Ехать мне никак невозможно, и остается призывать к себе михайловские виды, благо они всегда вблизи души. Солнечный свет разбивается о сугробы, о лёд, придерживающий течение Сороти, в стороне от дневного блеска сдержанно высятся необщительные ганнибаловские ели. А в доме тепло, славно, кот Васька в полдремлющего глаза озирает ненасытную птичью толчею за окном, и у печки, посылающей в небо весть о здравии этого жилья, в душегрейке и больших валенках стоит пригожий юбиляр, не одобряет моей затеи рассуждать о нём во всеуслышание, а поделаться издалека ничего не может. И я рассуждаю.

Вам и без меня известно, что Семён Степанович Гей-



ченко возглавляет Государственный Пушкинский заповедник. Но одних этих высоких полномочий мало, чтобы обрести доверие одушевленных деревьев, разгадать капризы старых строптивых вещей и воскресить в окне кабинета подлинное пламя свечи. Посудите сами, что́ для Домового — просто директор, а между тем он слушается, рачительно выполняет пушкинскую волю, объявленную ему в специальном послании.

Кем приходится Гейченко единственному хозяину этих мест, если знает его так коротко и свободно? Счастливая игра — сидеть вечером на разогретой лежанке и спрашивать: какую обувь носил Пушкин зимой в деревне? Какую позу нечаянно предпочитал для раздумья? Когда спрашивал кружку, то для вина, наливки или другой бодрящей влаги? Если никакой не было, куда посылал? (Один прилежный человек удивился последнему глупому вопросу: как — не было? Наверняка в доме держался нужный запас. Семён Степанович ему ничего не сказал, только глянул весело, не свысока, а издалека, из давнего знакомства с дарителем, расточителем, любителем угощать, а чтобы печься о припасах или другим велеть — не тем была его голова занята.) Все эти нехитрые тайны ведомы и другим людям, но они проникли в них усилиями учёности, а Гейченко — вблизи видел, помнит, и всё тут. Поэтому жив и очевиден Пушкин в Михайловском. Любой, чья совесть не отягощена заведомым невежеством или дурным помыслом, встретит в парке узкий след его петербургских кожаных калош, застанет врасплох кресло, не успевшее воспрянуть после того, как он сидел в нём, подвернув правую ногу и муча зубами перо.

Когда Семён Степанович говорит, в нём открывается целый театр: в остром, примечательном лице хватает простора для множества действующих лиц, в большом, старинном голосе спорит и пререкается их многоголосье, вдохновенно и хищно парит пустой рукав. Вы скажете: ну вот, возможно ли поминать пустой рукав? Ничего, возможно, ведь это уже не отсутствие руки, потерянной на войне, это присутствие крыла, указующего, заманивающего. Этот невиданный-неслыханный артистизм — тоже достопримечательность заповедника, но в нём нет собственной корысти: это

верный способ одарить нас Пушкиным, наградить им, осыпать с головы до ног.

Чтобы ваш, мой и каждого Пушкин вольготно населял эти комнаты и аллеи, Гейченко не навязывает ему своего хотенья: откуда-то ему точно известно, что Пушкину угодно и удобно. Прилежный человек спросил: неужели Пушкин не тяготился нетопленными печами и довольствовался простецким видом дома и усадьбы? Семён Степанович и на это ничего не сказал, а дворовый Пётр, бывший кучером, засмеялся из давно минувших дней: „Наш Александр Сергеевич никогда этим не занимался, чтоб слушать доклады приказчика. Всем староста заведовал; а ему, бывало, всё равно, хошь мужик спи, хошь гуляй; он в эти дела не входил”. А может, и есть меж ними — Пушкиным и Гейченко — какие-нибудь дружественные несогласия, об этом я не берусь судить. Ведь здесь действуют не личность и тень, а две личности, и вторая оснащена собственным немалым талантом. Может быть, к этому сводится тайна, позволяющая поэту бодрствовать в михайловских рощах? Кроткий исследователь, ставший как бы тенью великого человека, повторяет его меньше, чем соучастник, достойный товарищ, на которого смело можно оставить дом, сад, рукописи, недогоревшую свечу и отправиться в Тригорское, а если позволят, и в Петербург.

Солнце убывает, мороз крепчает, четырнадцатый день февраля на исходе, хозяйка всё хлопочет, хотя стол совершенно и чрезмерно накрыт, медленно синеют сугробы, и мне надо спешить, чтобы успеть добавить ко всем речам, письмам, тостам и телеграммам признание в пылкой и почтительной нежности.

1973

Даже если его собеседник не имел других заслуг и отличий, кроме замечательно круглых и румяных молодых щёк, а также самоуверенной склонности объединять все слова в свадебные союзы созвучий, — даже и тогда он заботливо склонял к нему острое, быстрое лицо и тратил на него весь слух, видимо, полагая, что человеческие уста не могут открываться для произнесения вздора. Щёки, вздор и угрюмое желание зарифмовать всё, что есть, были моим вкладом в тот день, когда Антокольский среди московского снегопада ни за что ни про что — просто моя судьба счастливая! — впервые дарил мне Чиковани. Почему-то снег сопутствовал всем нашим последующим московским встречам, лето оставалось уделом его земли, и было видно при снеге, что слово „пальго” превосходит солидностью и размером то, что накидывал Чиковани на хрупкую худобу, — так, пёрышко, немного черноты, условная дань чуждой зиме. Так же как его „дача”, его загородные владения не имели ни стен, ни потолка, ни других тяжеловесных пустяков, ничего, кроме сути: земли, неба, множества фиалок и разрушенной крепости вдали и вверху, на горé.

Обремененный лишь лёгкостью силуэта, он имел много удобств и преимуществ для того, чтобы „привлечь к себе любовь пространства”: оно само желало его, втягивало, само трудилось над быстрым лётом его походки и теперь совершенно присвоило, растворило в себе. Эта выдумка поэтов о „любви пространства” применительно к ним самим — совершенная правда. Я уверена, что не только Чиковани любил Горвашское ущелье, Атени, Алазань, но и они любили его, отличая от других путников, и по нему теперь печалится Гремская колокольня.

Теперь и сам я думаю: ужели  
по той дороге, странник и чужак,  
я проходил?  
Горвашское ущелье,  
о, подтверди, что это было так!

Так это и было, он проходил, и мир, скрывающий себя от взора ленивых невежд, сверкал и сиял перед ним необычностью причуд и расцветок. Опасно пламенели оранжевые быки, и олени оставляли свои сказочные должности, неуместно включаясь в труд молотьбы на гумне. Не говоря уже о бледной чьей-то невесте, которая радугой вырвалась из скуки одноцветья и предстала перед ним, „подобная фазану”: таинственная и ослепительная. Разум его, затуманенный волшебством сновидений, всегда был зорек и строг.

Мне снился сон — и что мне было делать?  
Мне снился сон — я наблюдал его.  
Как точен был расчет — их было девять:  
дубов и дэвов. Только и всего...

Я шел и шел за девятью морями.  
Число их подтверждали неспроста  
девять ворот, и девять плит Марабды,  
и девяти колодцев чистота.

Казалось бы, что мне в этом таинственном числе „девять”, столь пленительном для грузинского воображения, в дэвах, колодцах, в горах, напоминающих квеври — остроконечные сосуды для вина? Но еще тогда, при первом снегопаде, он прельстил меня, заманил в необъяснимое родство, и мой невзрачный молодой ум впервые осенила догадка, что нет радости надежнее, чем талант другого человека, единственно позволяющий быть постоянно очарованным человечеством. Чиковани уехал в Тбилиси, а я осталась здесь — его влюбленным и прилежным братом, и этого неопределенного звания мне навсегда хватит для гордости и сиротства. Тяжкий, драгоценный, крошечный труд перевода в связи с Чиковани был для меня блаженст-

вом — радостью было воспроизвести в гортани его речь:

И, так и не изведавшая мўки,  
ты канула, как бедная звезда.  
На белом муле, о, на белом муле  
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Тайна этой лёгкости подлежит простой разгадке. У Чиковани и в беседах, и в мимолётных обмолвках, и в стихах предмет, который он имеет в виду, и слово, потраченное на определение предмета, точно совпадают, между ними нет разлуки, пустоты, и в этом счастливая выгода его слушателя и переводчика. Расплывчатость рассуждений, обманная многозначительность — вот где хлебнешь горюшка.

Но я не хочу говорить о стихах, о переводах. В этом разберутся другие, многоученные люди. Я вообще предпочла бы молчать, любить, вспоминать и печалиться, отозвавшись на его давнее приглашение к тишине, надобной природе для лепета и бормотания:

Прекратим эти речи на миг,  
пусть и дождь свое слово промолвит,  
и средь туговых веток немых  
очи дремлющей птицы промоет.

Еще один снегопад был между нами. Какая была рань весны, рань жизни — еще снег был свеж и силен, еще никто не умер в мире — для меня. Снег, деревья, фонари, в теплых сенях — беспорядок объятий, возгласов, таянье шапок.

— Симон и Марика! (Это Чиковани.) Павел и Зоя! (Это Антокольские.)

Кем приходятся мне эти четверо? Какое точное название даст им душа, обмершая в нестерпимой родимости и боли?

Там, пока пили вино и долгий малиновый чай, читали стихи и сетовали на малые невзгоды жизни, был ли мне дан, из другого, предстоящего возраста, знак, что это беспечное сидение впятером вокруг стола и есть счастье, быст-

ролетащая драгоценность обстоятельств, и больше мне так не сидеть никогда?

В глаза чудес, исполненные света,  
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.  
О, девять раз издававшего это  
не боязно однажды умереть.

Из тех пятерых, сидевших за столом, двое нас осталось, и жадно смотрим мы друг на друга.

Иногда юные люди приходят ко мне. Что я скажу им? Им лучше известно, как соединять воедино перо, чернила и бумагу. Одно, одно лишь надо было бы сказать — пусть ненасытно любят лица тех, кого любят. В сослагательном наклонении так много печали: ему сейчас исполнилось бы семьдесят лет. Но я ничего не говорю.

Как миндаль облетел и намок!  
Дождь дорогу марает и моет —  
это он подает мне намёк,  
что не столько я стар, сколько молод.

Слышишь? — в туговых ветках немых  
голос птицы свежее и резче.  
Прекратим эти речи на миг,  
лишь на миг прекратим эти речи.

1973

Речь об Анне Каландадзе, об Анне, о торжественном дне ее рождения, но прежде — о былом, о скромном дне рождения цветов миндаля на склонах Мтацминды, о марте, бывшем давно. Какая весна затевалась! Я проснулась поутру, потому что дети в доме напротив, во множестве усевшись на подоконник, играли в зеркало и в солнце и посылали огонь в мое окно, радио гремело: „У любви, как у пташки, крылья...” Начинался день, ведущий к Анне, ослики по дороге во Мцхету кричали о весне, и сколько же там было анемонов! А у Симона Чиковани, у совершенно живого, невредимого, острозрячего Симона, дача была неподалёку — что за дача: дома нет, зато земли и неба в избытке, за рекой, на горé, четко видны развалины стройных древних камней, и виноградник уже очнулся от зимней спячки, уже хлопотал о незримом изначалье вина. Люди, оснащенные высшим даром, имеют свойство дарить нам себя и других. Сиял день весны, Симон был жив и здоров, но подарки еще не иссякли и Симон восклицал: „Кацо, ты не знаешь Анны, но ты узнаёшь: Анна — прекрасна!” К вечеру я уже знала, что Анна — прекрасна, большой поэт, и ее язык, собственный, вéдомый только ей, не меньше всего грузинского языка по объему и прелести звучания. На крайнем исходе дня пришла маленькая Анна, маленькая, говорю потому, что облик ее поразил и растрогал меня хрупкостью очертаний, серьезнейшей скромностью и тишиной — о, такие не суетятся, мыслят и говорят лишь впопад и не совершают лишних поступков.

Потом, в Москве, в счастливом уединении, я перевела стихотворения Анны Каландадзе, составившие ее пер-

вую русскую книгу — совсем маленькую, изданную в Тбилиси. Спасибо, Анна, — я наслаждалась. В тесной комнате с зелеными обоями плыли облака Хетты, Мидии, Урарту, боярышник шелестел, витали имена земли: Бетания, Шиомгвами, Орцхали... Анна была очевидна и воздушно чиста, и сколько Грузии сосредоточенно и свободно помещено в Анне! Ее страсть к родимой речи, побуждающая к стихосложению и специальным филологическим занятиям, всё еще не утолена, склоняет ее к мучению, а нам обещает блаженство. Анна, когда живет и пишет, часто принимает себя за растения земли: за травинку, за веточку чинары, за соцветие магнолии, за безымянный стебелёк. Что ж, она, видимо, из них, из чистейших земных прорастаний, не знающих зла и корысти, имеющих в виду лишь зеленеть на благо глазам, даже под небрежной ногой незоркого прохожего, — лишь зеленеть победно и милосердно. Пусть всегда зеленеет! Годы спустя, в Тбилиси, опять пришла Анна с букетиком фиалок — думайте, что метафора, мне всё равно, но Анна и цветок по имени „иа” были в явном родстве и трудно отличимы друг от друга.

Да, я переводила Анну и наслаждалась, но и тогда предугадывала, а теперь знаю, что не могла соотноситься на равных с поэтом, о котором пекусь всей душой: я была моложе и я была — хуже. Но много лет прошло, и я еще улучшусь, Анна, и вернусь к Вашим стихам, чтобы, лишенные первоначальной сути, они не сиротствовали в чужом языке, в моём родном языке, а славно и нежно звучали.

До свидания, Анна, кланяюсь, благодарю, поздравляю, благоденствуйте в Тбилиси — за себя, за Симона, за Гоглу, и примите в обратный дар строку Вашего стихотворения: „Мравалжामीер, многие лета!”

1975



Я пишу всё это десятого апреля, при сильном весеннем солнце, в день моего рождения, тридцати восьми лет от роду. Я имею в виду написать статью о поэте, для меня драгоценном, и знаю, что ничего из этого не выйдет, потому что — разве пишут статьи о нежности, теснящей сердце, о безрассудной приязни ума? В изначалье нового возраста сажу за столом, улыбаюсь и не умею писать.

Сколько же лет, как много лет назад это было! Ведóмая непреклонной сторонней силой, которую для быстроты можно назвать судьбой, я шла по Москве той давней ослепительной зимой, и пылание моих молодых щёк причиняло урон снегопаду: сколько снега истаяло на моём лице, пока я шла! Прихожу. Литературное объединение завода имени Лихачёва. Это даже не робость — уж не смерть ли моя происходит со мной в мои семнадцать лет? О, как я страшусь и страдаю, как мне тяжела моя громоздкая нескладность (это моя прелесть была), как помню я это теперь, как глубоко уважаю мýку — быть юным. Спрашиваю надменно: „Это вы — поэт Евгений Винокуров?“ Жадно подсматриваю за его лицом: не таится ли в нём усмешка взрослого высокомерия? Но вижу лишь выражение совершенной благосклонности и пристального любопытства. Евгений Винокуров в ту пору руководил упомянутым объединением, и я стала руководима, его лёгкой рукой водима по началу жизни, которое — из-за Винокурова, лишь по причине его поощрения — весьма счастливо сложилось. Этот первый его урок — расточительной доброжелательности, свойственной людям прекрасного дара, я надеюсь если не вполне усвоить, то вполне отслужить. Потом, к лучшей моей радости, мы ста-

ли коллеги, товарищи и ровесники, но тогда между мной и первым моим учителем зияла бездна разницы, в которой смутно клубилось мое чудовищное невежество (Винокуров был поражен им, но не раздражен), угрюмая застенчивость под видом апломба и страсть писать, воплощенная в длинные вялые строки. Не к моим достоинствам, но к таланту Винокурова отношу я его доброе и сильное участие к моим бедным детским стихотворениям, которые он — впервые и лишь собственным усилием — напечатал со своим предисловием, и других людей пригласил к интересу к моей фамилии, звучавшей так непривычно и витиевато.

Наши беседы, которые случались всё чаще и длились всё дольше, учили меня тому, что поэт — не надземен, что и в жите-бытие его разум вятен, точен и не способен к расплывчатости суждений. Поэзия — не спорить же с Пушкиным! — глуповата, но поэт — всенепременно умён.

Но не обо мне, пылко признательной Винокурову, речь, а лишь о нём, о его многозначительной личности, равной его книгам, сейчас разложенным на моём столе и всегда существующим в нашей памяти и жизни. Если счастливый случай сводит нас с поэтом в соседство знакомства и дружбы — это чрезвычайное и уже лишнее благо, ничего не меняющее в его главном значении для нашей судьбы. Не умея подвергать творчество Винокурова учёному обзору и умному суду, оставляя каждому читателю свободу располагать подарком его дарования по собственному усмотрению, я хотела бы не навязчиво упомянуть лишь некоторые приметы, по которым мы с лёгкостью и мгновенно отличим и узнаём речь этого истинного поэта. Винокуров известен и знаменит — своим, особенным и очень достойным способом: просто и отчётливо и вне поверхностного шума. Между тем о нём легко и удобно было бы шуметь: он смел и дерзок в обращении со словом, как если бы он пошел на преднамеренный вызов выпренности, высокопарности, о которых принято думать, что они и отличают поэзию от прочих речей и разговоров, которыми так легко провести слух неопытного слушателя (Винокуров не часто читает, вслух не произносит свои стихи, но ведь и глазами лишь принимая стихи, мы их сразу же слышим). Он предпочел (естествен-

но, непринужденно, но как будто с осмысленным азартом и озорством поступил) „слова, которыми на улицах толкуют”. Все большие поэты, как бы высоко ни пела их гортань, всё же говорили на языке своих сограждан, даже проще умея, даже грубей назвать любой предмет и ощущение по имени. Еще: строка Винокурова подобна безошибочной формуле точных наук, которую следовало бы изобразить не так: с л о в а... , а так: слово. Слово. То есть не бесформенность, где всё не обязательно подлежит возможной перемене, а точность, найденная раз и навсегда. Дело читателей — любить Винокурова, но дело грядущего и тонкого исследователя заметить и доказать, как его труд сказался на труде других, вовсе не похожих на него, поэтов. Во всяком случае, я эту благотворную зависимость всегда ощущаю как свою выгоду и пользу.

„Как хорошо лицо свое иметь...” — так он написал, и что же, он завидно преуспел в этом — даже не намерении, а исполнении человеческого долга: быть таким, как все люди на твоей земле, не уклониться от общей судьбы, работать, страдать, воевать — точно, как все, не выгадав отдельности и поблажки, но всегда иметь „лицо свое”, не похожее ни на одно другое, оснащенное прекрасным выражением сосредоточенного ума, доброты и таланта.

Еще: я пишу всё это и знаю, что Евгений Михайлович Винокуров зайдет ко мне сегодня и поздравит меня с днём рождения. А я ему скажу: месяц без одного дня пройдет и будет День Победы. Я помню, как это было тридцать лет назад. Какое ликование было. Какая печаль, какой изъян на белом свете без тех, которые не вернулись. „Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой”. Но — День Победы. Ты — жив. Ты — вернулся. Я тобой горжусь. Я тебя благодарю. Я тебя поздравляю.

1975

Некогда Евгений Михайлович Винокуров поздравил меня с моим условным совершеннолетием — с моими бедными восемнадцатью годами, со способностями, которые он благосклонно предполагал во мне и опекал, с грядущей судьбой, к осуществлению которой он приложил лёгкую и добрую руку.

Я не скрываю моей непреклонной добропамятности и с любовью, объединившей почтительность к наставнику и нежность к товарищу, поздравляю его с подлинным совершенством лет: с его славными пятьюдесятью годами, с его счастливым даром и с трудом, который ему предстоит. Нынешний день его рождения совершенен не потому лишь, что отсчитан торжественно округлым числом, но и потому, что величина даты, без потерь и изъянов, соразмерна величине личности, которая убедительно сбылась и без утайки предъявлена всевидящему суду читателей.

Я уважаю редкую и завидную удачу Винокурова: безкоризненное совпадение предмета, который он имеет в виду, и слова, которое он говорит, — точно впопад, без расточительных затрат многословия. Дисциплина его языка такова, что между сутью вымысла и облакающей ее формой нет неопрятного зазора пустоты.

Художник всегда подлечит мощной диктовке пространства, звездопаду сторонней музыки, от которого некуда спрятать голову. В этом поединке исполнитель не всегда поспевает за указкой великого дирижера. Муза же Винокурова явно ладит с повелевающим смыслом, воплощая его в безошибочный звук. Мне кажется, что он чужд разлада с желаемым и еще до склона лет, до тютчевских се-

дин, решил задачу, заданную его таланту, приводя ее к единственно правильному ответу в пределах каждого стихотворения.

Винокуров, разумеется, вырослел и менялся по мере жизни, но его младость и зрелость, мальчик в шинели и маститый поэт трогательно и чудесно схожи меж собою и не пребывают в разлуке. Он сразу преуспел в доказательстве задиристо приметного своеобразия, на том стоит и тем лёгок для памяти. Его именем называем мы не только человека, известного уму и родимого сердцу, но и целую отвлеченную громоздкость — самостоятельную грамматику, особый штиль речи: рассуждать о возвышенном на уровне земли с ее травой, суглинком и житьем-бытьем сограждан. Этот способ стихосложения дерзит сладкой для слуха витиеватости пиитов и самоотверженно не ищет выгоды быстрого успеха. Водится за Винокуровым и еще одна доблесть: его замкнутая сосредоточенность на прямой цели поэтического труда, решительная несклонность к эстраде, прочно повенчавшей в наше время поэзию и ее почитателей. Стихи Винокурова в меньшей мере собственность слушателей, чем пристальных и вдумчивых читателей, и эта старинная принадлежность кажется мне достойной и чистой.

Я всегда помню и упоминаю, что Винокуров приходился мне учителем, с тем большей благодарностью, что, пестуя мое ученичество, он вовсе не ждал и не просил моего уподобления ему, поощряя лишь несходство и независимость, подобающие человеку.

Я радуюсь всем его удачам и накликаю их во множестве на его голову вместе с вдохновением и здоровьем. Я приношу Евгению Винокурову мои почтительные поздравления — сама по себе и от имени всех его учеников, которых у него столько же, сколько читателей.

1975

## К ЧИТАТЕЛЮ

[предисловие к книге Якова Смоленского  
„В союзе звуков, чувств и дум” (М.: Сов.Россия, 1976)]

Я не имею намерения рассуждать о книге, которую Вы сейчас открыли, Вы сами вольны рассуждать о ней, независимо от меня или кого-нибудь другого.

Но случилось так, что я прочла эту книгу прежде, чем Вы, и теперь встречаю Вас в ее преддверии, на пороге нового для Вас пространства, где я давно уже гощу и обитаю. Столкнувшись с Вами в сумеречных сенях, я говорю Вам: „Войдите и будьте благосклонны и справедливы”.

Автор книги, которого хорошо знаем и Вы, и я, — артист, чье ампула отважно и благородно. Я люблю его страсть к Пушкину и глубоко уважаю доблесть, с которой он этой страсти служит. По мере того как мужает его мастерство, он становится сдержанней, замкнутей и скромней, словно имея в виду всю сцену предоставить не себе, а своему герою и кумиру, своему Пушкину.

„Мой Пушкин” — так говорили лучшие из нас, так говорим мы, и все мы правы. Пушкин у нас один на всех, но каждому его совершенно достанет, и от того, как и насколько дано нам его присвоить, зависит достоинство нашего ума и духа.

Я ни в какой мере не хочу склоняться к литературоведению — его пристальная скрупулезность отчасти присутствует в книге и подчас может казаться громоздкой рядом с чистой и убедительной прелестью пушкинских строк.

Но вдумчивость нового исследователя трогает нас своей пылкой и доверчивой любовью к предмету, в который вникает. С рождения обрести Пушкина как явь земли и речи, всегда располагать им по своему умению и усмотрению и всё же всегда искать и желать его, добиваясь новой

разгадки, — вот жизнь каждого из нас и вот наиболее очевидный смысл этой обширной и сосредоточенной книги. Ее пленительность в том, что она настойчиво уверяет нас в нашем лучшем праве брать себе Пушкина в наслаждение, в друзья и учителя или сделать его целью, побуждающей разум к страстному и дисциплинированному поиску.

Все мы снедаемы любовью и грозной ревностью к Пушкину, но нет сомнений, что автор предстоящей Вам книги имеет особенное право на близость к нему и заботу о нём.

От всей души желаю Вам счастливого и поучительного чтения.

1975

Я обещала незамедлительно написать несколько слов и еще не написала, между тем день иссяк, ночь в половине. Медленный труд видимого бездействия окажется скоропалительным, если я в нём преуспею. Что день и ночь, данные мне для того, чтобы прожить в обратном направлении долгое время жизни, вернуться в былое, застать там человека, которого ныне нет, и как бы обрести его кроткое позволение сказать о нём несколько слов! Если бы не эти день и ночь, я бы не ощутила возможности рассуждать о Веронике Тушновой.

Я была моложе, мы не были житейски близки, мое нежное расположение к Веронике Михайловне не нарушало дисциплину почтительности, а она при встрече одобряла меня пристальной теменью глаз и посылала моей щеке мимолётную ласку ладони. Это — тогда, давно.

И вот теперь, весь день и всю ночь, я вглядываюсь в милый облик, дивясь его яви и сохранности в моём зрении. Издалека, из сегодня, я приметливей вижу, как нежная смуглость лица усугубляется непоправимой тенью. Но я вольна смотреть еще дальше в глубь времени, видеть глаза, улыбку, чье общее выражение соединяет сосредоточенность и отстраненность, лучезарную доброту к собеседнику и неуловимую рассеянность. Так смотрят и улыбаются люди, осененные любовью, и некоторые из них имеют высокую власть и отвагу слагать об этом стихи...

1976



**ПРОЩАЯСЬ С ПАВЛОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ  
АНТОКОЛЬСКИМ...**

Так вот какова эта ночь на самом деле. Темно, и в мозгу — стороннее причитание безутешного пульса: где ты сейчас, где ты, любовь моя, радость? Там, где твой мальчик в шинели, там, где твоя Зоя, там, где настигну тебя. Но где это? Почему это так непроницаемо для мысли? Или это запекшееся, изнывающее место в груди, видимо, главное в ночной мучке, и есть твое нынешнее вместилище, твоя запасная возможность быть и страдать?

Давно, трепеща за него и обрываясь, душа уже попадала в эту ночь из предыдущего времени, примеряла к себе ее неподъемность, но в должный час оказалась неопытной, не готовой перенести. И сам он, зимою сидючи со мною на кухне, описывал мне эту ночь, предписывая и утешая, но вглядываясь в нее особенным взором, стараясь разглядеть. Как тяжек тогда мне был этот взор, а ведь это было счастье: он издалека смотрел на эту ночь, он был жив. Я сказала: „Полно, полно! Я не собираюсь доживать до этого!” — чем испугала и расстроила его, и он прикрикнул: „Молчи!”

Вот по его вышло, не по-моему. А я и впрямь не собиралась, не умела вообразить этого. Из нас никто никогда не жил и не обходился без него, этому только предстоит учиться. Мы родились — он обрадовался нам, мы очнулись от детства — он уже ждал, протягивая навстречу руки, мы старились — он благословлял нашу молодость. Мы разнежились в этой длительности, обманчиво похожей на бесконечность. Простое знание, что он — несомненно — чудо, было на стороне не тревоги, а детской надежды: он будет всегда, без него ничего не бывает.

Впервые я увидела его осенью 1955 года: он летел по

ту сторону окон, чтобы вскоре влететь. Пока же было видно, как летит: воздев палку, издавая приветственный шум. Меня поразили его свирепая доброжелательность и его хрупкость, столь способная облечь и вытерпеть мощь, пыл, азарт. Он летел, неся деньги человеку, который тогда был молод, беден и захворал. Более с ним не разминувшись, я вскоре поняла, что его положение и занятие в пространстве и есть этот полёт, прыжок, имеющий целью отдать и помочь. В его существовании обитала непрестанная мысль о чьей-то нужде и невзгоде. Об этом же были его последние слова дочери Наталии Павловне. Раздаривание — стихов, книг, вещей, вещиц, взглядов, объятий и всего, из чего он неисчислимо состоял, — вот его труд и досуг, прибыль расточителя, бушующего и не убывающего, как прибор: низвергаясь и множась.

И вот, мыкаясь в этой ночи, до которой довелось-таки дожить, что сейчас кажется мне пронырливым, хитроумно-живучим, я считаю всё, данное им. Без жалости к себе я знаю, что взяла все его дары и подарки, и это единственное, что я для него сделала. Я не удержала его жизни — пусть вычитанием дней из своей. То есть они вычтены, конечно, но уже без пользы для него, наоборот. Долго идя к нему в последний раз, я опоздала на час — навсегда. Почему, пока мы живы, мы так грубы, бестолковы и никуда не успеваем? Он успевал проведать любую простуду и осведомиться о благополучии всех, и собаки.

И как сформулировать то, что подлежит лишь художественной огласке? Он это знал, когда писал о Сыне и Зое Бажановой.

Чтобы описать эту ночь, предоставленную нам для мысли о том, что он приходился нам жизнью, эту степень нашего родства с ним, — надо писать, а здравого ума пока нет.

Я знаю, что книги остаются. Я убедилась в этом, открывая его книги на исходе ночи, когда проступал уже день, обезображенный его отсутствием, понимаю, конечно, что просто новый день ни в чём не повинный. Он продолжал оставаться чудом: жалел и ободрял, и его обычный голос отвечал мне любовно и внятно.

Я знаю его внуков и правнуков, в которых длится бег его крови.

Знаю, что жизнь его обращена к стольким людям, сколько есть их на белом свете, и это не может быть безответно и бесследно.

Но на самом деле я знаю, что утешения нет.

Октябрь 1978

Антокольский личностью своей, прелестью своего нрава подтверждает то, что нам всем известно: поэт, несомненно, добр, поэт — тот человек, от которого каждый имеет выгоду, радость — учиться, внимать ему.

Но всё это само собой разумеется. И, может быть, нужно отвлечься от несравненных достоинств Павла Григорьевича просто житейских и подумать о том, как много он значил для всех пишущих и читающих людей.

Павел Григорьевич приходился современником Блоку, Цветаева называла его Павлик. Павел Григорьевич пестовал многих своих прямых и косвенных учеников. Каждое имя, которое существует в советской поэзии, так или иначе соотносится с Антокольским. Поэты военного поколения были его учениками или по Литературному институту, или по тем его книгам, которые они читали. Те люди, которые пришли в поэзию после них, тоже обязаны Павлу Григорьевичу началом своей литературной грамоты. Здесь я могу сослаться на моих коллег и ровесников, на себя.

Я знаю, как много сделал Павел Григорьевич для того, чтобы русские читатели могли принять к своему сведению стихи наших соотечественников, которые пишут на других языках.

Но, как и всякий значительный человек, который работает в искусстве, Антокольский не может быть исчерпан лишь нашей страной. Вот книжка „Медная лира” с подзаголовком „Французская поэзия XIX—XX веков в переводах П.Антокольского”. Можно вообразить, сколько труда, ума и сердца нужно было потратить на то, чтобы осознать поэзию Франции двух последних веков.

Я увидела его в первый раз много лет назад, он стремился на помощь своему молодому коллеге. И всякий раз, когда мне доводилось с ним встречаться, я всегда видела в нём всё тот же порыв души и ума, этот полёт навстречу кому-то другому, эту совершенную нескаредность сердца — расточительность знаний, любви, таланта на пользу другим людям.

1986

О Павле Григорьевиче Антокольском не хочу думать в прошедшем времени: он родился, ему 100 лет, я привыкла праздником отмечать день его рождения. Не во мне дело — в его безмерной сердечной расточительности, дарительности: было с кем возиться, за кого просить, ходить, чтобы книжку издали, пластинку выпустили.

Время Антокольского — не умственность, всегда терзающая ум отвлеченность, это время, напрямую нас касающееся.

Антокольский делал нас соучастниками времени и истории, того, что нам по возрасту или по другим недостаткам было недоступно.

Как-то спросила у Павла Григорьевича: „Вы этого не помните? Это было до начала первой мировой войны”. Антокольский отвечает: „Как это я не помню? Я уже был весьма... Ты что, меня совсем за дурака держишь?”

Начало века. Павел Григорьевич предъявил нам это время не как хрестоматийное, а как живое сведение.

Мы говорим: Антокольский и театр, Антокольский много сделал для театра. Он и сам был театром. Как он читал „Я помню чудное мгновенье...”, как читал „Вакхическую песню”, когда вино разливали по бокалам...

Антокольский был театр в высоком смысле этого слова, любил изображать и показывать, как читали Блок, Брюсов, Белый. Я не знаю, как на самом деле это было, знаю лишь по собственному представлению. Но я любовалась Антокольским. Слуха и зрения нельзя было отстранить. Поэт никому ничего не должен, но человек обязан быть утешительным театром для другого человека. Мне не нравится,

когда человеческое лицо являет собою скучное, незахватывающее зрелище. Человек обязан человечеству служить или развлечением, или поучением, или защитой от душераздирающих действий; лицо — всегда портрет взлёта души. Антокольский многих учеников возымел, никого не поучал.

Начало века. 10-е годы. Первая мировая война. 20-е годы для Антокольского отрадны. Смерть Гумилёва, смерть Блока — больно, боль не проходит, никогда, но — театр Вахтангова, Зоя Бажанова, общее возбуждение, сопряженное со всякими драматическими обстоятельствами. 30-е годы. Когда мы читаем Антокольского, читаем еще что-то *за тем, над тем*, что написано. Всё это надо было снести и из всего этого выйти. 40-е годы. Война, гибель Володи, сына. 50-е годы. Обвинения в космополитизме.

Первый раз я увидела Павла Григорьевича Антокольского много лет назад, больше, чем умею сосчитать. Он шел помочь другому, поэту, который вскоре станет знаменит. А тогда ему просто нужна была эта щедрая и благородная помощь. Сначала я увидела, как летит трость по воздуху, затем явился и сам даритель, пришедший помочь другому. Потом — я тогда была молода — в ресторане я диву далась, увидев этого человека в полном его действии: свобода слов и движений.

Вспоминаю день рождения Антокольского, на даче. Зоя, собака Боцман, кот Серик. Домработница Дуся накрывает стол. Мы сидим: Зоя Константиновна, Павел Григорьевич и я, как счастливица. Тогда я не понимала, что я — счастливица. Меня уже снедала, брала тоска, чего-то как будто не хватало, что-то мешало. Тогда я не знала, что вот он — счастливый миг моего бытия. Теперь знаю, что счастье есть осознанный миг бытия.

Дуся стол накрывает, вдруг — крик Дуси: „Пятух! Пятух! Чисто пятух!“ Какой петух? Побежала смотреть. А это грач сидел, в нём отражалась радуга небес, в его черных перьях. Он сверкал, как фазан, нет, семицветно, как радуга. Ослепительность этого мгновения я запомнила. Вскоре приехали Чиковани — Симон и Марика.

Теперь я думаю, что мы не успеваем узнать свое счас-

тье. Если ты это поймешь, ты преуспел, этого довольно. Если всё чего-то хочешь и алчешь — навеки несчастен.

Думаю и пишу об Антокольском. И не могу не думать и не написать о Зое Константиновне Бажановой, артистке театра Вахтангова. Зоя — Муза, Зоя — хозяйка очага, отрадного для всякого путника, Зоя — источник радушия.

Зоя Константиновна влияла на совесть других людей. Меня звала „Эльф”. Когда Зоя Константиновна видела что-нибудь плохое, нечто не совпадающее с опрятностью поведения, говорила: „Боже, я, как Петроний, умру от отвращения”. Узнала потом, как умер бедный Петроний: от отвращения и умер.

Антокольский и Зоя — отсутствие плоти, негромоздкость, грациозность. Зоя Константиновна — вождь и вдохновитель совести. Как-то Павел Григорьевич был болен, а от него чего-то хотели, может быть, и пустяка, но это не совпадало с его намерениями. Лучше бы он сделал это, чего от него хотели? Зоя Константиновна не согласилась. Тогда они сказали, что, если он не сделает так, как они ему приказывают, они лифт ему не сделают. Зоя Константиновна ответила твердо: „И не надо. Жили без лифта и проживем” (у Павла Григорьевича был инфаркт, жили они на 5-м этаже).

В 1970 году Павел Григорьевич мне сказал: „Я хочу тебя спросить”. — „Спрашивайте, Павел Григорьевич”. — „Я хочу выйти из партии”. — „Из какой?” — „А ты не знаешь? Из коммунистической. Я от них устал. Не могу больше”. — „Павел Григорьевич, умоляю, нижайше прошу Вас, не делайте этого. Я тоже устала — за меньшее время...”

Сидим в мастерской на Поварской с водопроводчиком дядей Ваней, который не любил водопроводную трубу и Мичурина. Беседуем о Мичурине. Неожиданно влетает Павел Григорьевич с тростью. Познакомились: „Иван”. — „Павел”. Беседа продолжалась, сразу же подружились, и уже как друзья возымели маленькое пререкание. Павел Григорьевич спрашивает: „Белла, кем тебе приходится этот человек?” — „Павел Григорьевич, этот человек приходится мне водопроводчиком этого дома”. Павел Григорьевич вспорхнул со стула, бросился к дяде Ване и поцеловал его руку. Тот очень удивился: с ним такого прежде не бывало.



...Павел Григорьевич захотел проведать могилу Бориса Леонидовича Пастернака. Тропинка многими и мною протоптана. Был март. Когда мы добрались до кладбища, пошел сильный снег. Стало смеркаться, и быстро смерклось. Мы долго плутали по кладбищу. Сквозь пургу, сквозь темноту всё-таки дошли до могилы. У могилы Павел Григорьевич вскричал: „Борис! Борис! Прости!” За что просил прощения? — я никакой вины Антокольского не знаю. Или просто прощался?

Снова вспоминаю дарительные, ободряющие жесты Павла Григорьевича. Так бросился он к Шукшину, так — к Высоцкому. Павел Григорьевич всегда был очарован, прельщён талантом другого человека. Для меня это и есть доказательство совершенного таланта.

Есть книги, неопубликованные сочинения, но это уже дело литературоведов. Я ученик его и обожатель.

Июнь 1996

*Памяти Василия Шукшина*

Мы встретились впервые в студии телевидения на Шаболовке: ни его близкая слава, ни Останкинская башня не взмыли еще для всеобщего сведения и удивления. Вместе с другими участниками передачи сидели перед камерой, я глянула на него, ощутила сильную неопределенную мысль и еще раз глянула. И он поглядел на меня: зорко и угрюмо. Прежде я видела его на экране, и рассказы его уже были мне известны, но именно этот его краткий и мрачно-яркий взгляд стал моим первым важным впечатлением о нём, навсегда предопределил наше соотношение на белом свете.

Некоторые глаза — необходимы для зрения, некоторые — еще и для красоты, для созерцания другими, но такой взгляд: задевающий, как оклик, как прикосновение, — берёт очевидный исток в мощной исподлобной думе, осязающей предмет, его тайную суть. Примечательное устройство этих глаз, теперь столь знаменитых и незабываемых для множества людей, сумрачно-светлых, вдвинутых в глубь лица и ума, возглавляющих облик человека, тогда поразило меня и впоследствии не однажды поражало.

Однако вскоре выяснилось, что эти безошибочные глаза впервые увидели меня скорее наивно, чем пронзительно. Со Студии имени Горького мне прислали сценарий снимающегося фильма „Живет такой парень” с просьбой сыграть роль Журналистки: безукоризненно самоуверенной, дерзко нарядной особы, поражающей героя даже не чужеземностью, а инопланетностью столичного обличья и нрава. То есть играть мне и не предписывалось: такой я и показалась автору фильма. А мне и впрямь доводилось быть корреспондентом столичной газеты, но каким! — громозд-

ко-застенчивым, невнятно бормочущим, пугающим занятых людей сбивчивыми просьбами о прощении, повергающим их в смех или жалость. Я не скрyla этого моего полезного и неказистого опыта, но мне сказано было – всё же приехать и делать, как умею. Так и делали: без уроков и репетиций.

Этот фильм, прелестно живой, добрый и остроумный, стал драгоценной удачей многих актёров, моей же удачей было и осталось – видеть, как кропотливо и любовно сообщался с ними режиссёр, как мягко и безгневно осуществлял он неизбежную власть над ходом съёмки.

Что касается моего скромного и невразумительного соучастия в фильме, то я вспоминаю его без гордости, конечно, но и без лишнего стыда. Загадочно неубедительная Журналистка, столь быстро утратившая предписанные ей сценарием апломб и яркость оперения, обрела всё же размытые человеческие черты, отстранившие от нее первоначальное отчуждение автора и героя. Был даже снят несомерно долгий одинокий проход этого странного существа, не вошедший в заключительные кадры фильма, но развлекавший задумчивого режиссера в темноте просмотрового зала, где они шли навстречу друг другу через предполагаемую пропасть между деревенскими и городскими жителями во имя более важных человеческих и художественных совпадений. Преодоление этой условной бездны, не ощущаемой мною, но тяготившей его в ту пору его жизни, составило содержание многих наших встреч и пререканий. Опережая себя, замечу, что если он и принял меня вначале за символ чуждой ему, городской, умственно-витиеватой и не плодородной жизни, то всё же его благосклонность ко мне была щедрой и неизменной, наяву опровергавшей его теоретическую неприязнь.

Со съёмок упомянутого фильма началась наша причудливая дружба, которая и теперь преданно и печально бодрствует в моём сердце. Делая необязательную уступку наиболее любопытным читателям, оговариваюсь: из каких бы чувств, поступков, размолвок ни складывались наши отношения, я имею в виду именно дружбу в единственном и высоком значении этого лучшего слова. Это вовсе не значит, что я вольна предать огласке всё, что знаю: это право

есть у Искусства, а я всего лишь имею честь и несчастье писать воспоминания.

В ту позднюю осень, в ту зиму мы оба, не очень, правда, горюя, мыкались и скитались: он — потому что это было первое начало его московской жизни, пока неуверенной и бездомной, я — потому что тогда бежала благоденствия, да и оно за мною не гналось. Вместе бродили и скитались, но — не на равных. Ведь это был мой город, совершенно и единственно мой, его воздух — мне удобен, его лужи и сугробы — мне отрадны, я знаю наперечёт сквозняки арбатских проходных дворов, во множестве домов этого города я всегда имела приют и привет. Но он-то был родом из других мест, по ним он тосковал во всех моих чужих домах, где мрачнел и дичился, не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя. Да и радушные хозяева не знали, что с гордостью будут вспоминать, как молчал в их доме нелюдимый гость, изредка всверкивая неукрошенным вольным глазом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег.

Открою скобки и вспомню эти сапоги — я перед ними смутно виновата, но перед ним — нет, нет. Дело в том, что люди, на чьем паркете или ковре напряженно гостили эти сапоги, совсем не таковы были, чтобы дорожить опрятностью воска или ворса. Но он причинял себе лишнее и несправедливое терзание, всем существом ошибочно полагая, что косится на его сапог соседний мужской ботинок, продолговатый и обласканный бархатом, что от лужи под сапогами отлепetyвают брезгливые капризные туфельки. То есть сапоги ему не столько единственной обувью приходились, сколько — знаком, утверждением нравственной и географической принадлежности, объявлением о презрении к чужим порядкам и условностям.

В тех же скобках: мы не раз ссорились из-за великого Поэта, про которого я знала и знаю, говорила и говорю, что он так же неотъемлем от этой земли и так же надобен ей, как земледелец, который свободен не знать о Поэте, этом или другом Поэте, всегда нечаянно пекущемся и о земледельце, и на них вместе и держится эта земля. Есть известный фотографический портрет Поэта: в конце жизни, на

ее последней печальной вершине, он стоит, опершись о лопату, глядя вдаль и поверх.

— В сапогах! — усмехнулся тот, о ком пишу и тоскую.

Так или приблизительно так кричала я в ответ:

— Он в сапогах, потому что тогда работал в саду. И я видела его в сапогах, потому что была осень, было непролазно грязно в той местности! А ты...

А он, может быть, и тогда уже постиг и любил Поэта, просто меня дразнил, отстаивал своевольную умственную независимость от обязательных пристрастий, но одного-то он наверняка никогда не постиг: нехитрого знания большинства людей о существовании обувных магазинов или других способов обзаводиться обувью и прочим вздором вещей.

И всё же — в один погожий день, он по моему наущению был заманен в ловушку, где вручили ему свёрток со вздором вещей: ну, костюм, туфли, рубашки... Как не хотел! А всё же я потом посмотрела ему вслед: он шел по Садовому кольцу (по улице Чайковского), лёгкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта.

Кстати, я всегда с грустью и со страхом смотрю вслед тем, кого люблю: о, только бы — не напоследок.

Вот и всё о бедных сапогах, закрываю скобки.

Да, о домах, куда хаживали мы вместе в гости, — ничего из этого не получилось. Поэтому чаще мы заходили в те места, в которые, знаете ли, скорее забегают, чем заходят. В одном из таких неприятных мест на проспекте Мира, назовём его для элегантности „кафе”, я заслужила его похвалу, если не хвалу — за то, что мне там хорошо, ловко, сподручно и с собеседниками я с лёгкостью ладила. Много таких мест обошли мы: они как бы посредине находились между его и моими родными местами. В окне висела любезная мне синева московских зимних сумерек, он смягчился и говорил, что мне надо поехать в деревню, что я непременно полюблю людей, которые там живут (а я их-то и люблю!), и что какие там в подполе крепкие, холодные огурцы (а я их-то и вождедею!), что всё это выше и чище поэтической интеллигентской зауми, которую я чту (о, какие были ужасные ссоры!).

Многие люди помнят пылкость и свирепость наших

пререканий. Ни эти люди, ни я, ни вы — никто теперь не может сказать в точности: что мы делили, из-за чего бранились? Ну, например, я говорила: всякий человек рождён в малом и точном месте родины, в доме, в районе, в местности, взлелеявшей его нрав и речь, но художественно он существует — всеземно, всемирно, обратив ум и душу рас-трубом ко всему, что есть, что было у человечества. Но ведь так он и был рождён, так был и так сбился на белом свете. Просто он и я, он — и каждый человек, с которым он соотнесся в жизни и потом, — нерасторжимы в этой пространной земле, не тесной для разных способов быть, говорить, выглядеть, но всё это — ей, ей лишь.

Последний раз увиделись в Доме литераторов: выступали каждый — со своим. Спросил с усмешкой: „Ну что, нашла свою собаку?“ — „Нет“. — „Фильм мой видела?“ — „Нет“. — „Посмотри — мне важно“.

Получилось, что его последнего фильма я еще не успела посмотреть, но он успел прочесть объявление о пропаже собаки. Но над этим — сильно и в последний раз сверкнули мне его глаза. И — прыгнул, бросив ему руку, Антокольский: „Шукшин? Я вас — почитаю! Я вас — обожаю!“

Дальнейшее — обозначаю я безмолвием моим. Пусть только я знаю.

Около Ново-Девичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне:

— Идите же! Вас — пустят.

Милицонер — не пустил, у меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала: „Я должна. Я — товарищ его. И я писатель всё же, я член Союза писателей, но нет, понимаете вы, нет при мне билета“.

Милицонер сказал: „Нельзя. Нельзя“. И вдруг посмотрел и спросил: „А вы, случайно, не снимались в фильме „Живет такой парень“? Проходите. Однако вы сильно изменились с тех пор“.

Я и впрямь изменилась с тех пор. Но не настолько, чтобы — забыть.

1979

Начну с начала, опишу всё по порядку.

Представьте себе человека, который сидит у столь большого окна, что, не поводя головой из стороны в сторону, он не может увидеть всё, что видно в окно.

День сияет, ночь смеркается лишь на мгновение, человек давно уже так сидит, поводит головой из стороны в сторону и видит непомерное множество невской воды и столько обожаемого им города, что этого слишком много для одного взора, для яви.

Загадки никакой: так построен отель, так высоко и велико окно, и человек терзаем избытком того, что он видит, и своим мучительным долгом описывать неопишваемое. Человек думает, что Пушкин... В это время звонит телефон, и спрашивают: „Что вы думаете о Большом театре?“ Как, ко всему, что мучит ум, уже болеющий белой ночью, нужно прибавить еще одно раздумье?

Гаснет купол Исаакия, темнеет в Летнем саду, разводят один мост, другой, краткая темень, и снова во всю величину окна сверкает Нева. Человеку улыбается: он ловит себя на том, что вот уже сутки думает о Большом театре, и это совпадает и с Пушкиным, и с тем, что в окне. Стало быть, не только на своей площади, но и в сознании человека воздвигнут Великий театр, и достаточно малого оклика, намёка, и вот он явился перед памятью, перед влюбленным зрением.

Первое воспоминание: драгоценный, красный, с позолотой воздушный шар — вожделение моего детства. Бабушка купила, намотала на палец нитку, а шар размотал ее своей силой, освободился от детской алчности. Разрывание

сердца, утрата рук и прибыль зрения: красный шар в синеве Вселенной, нежная белизна хрупко-громоздкого здания, прочно опершегося на колонны, посылающего в небо коней. Не знаю, сказала ли бабушка: „Смотри, это Большой театр”. Вряд ли, я должна была и прежде это знать, но увидела так впервые, раз навсегда.

Затем — непрерывная удача детства, счастливое знакомство мамы, и на все, на все спектакли ведут, дают перламутровый бинокль, алеет бархат, блестит позолота, меркнет люстра и — ах!

Как прекрасно ты, возлюбленное человечество... Разве мало просто ходить и разговаривать, а ты вон что: на носках, на божественных и невероятных пуантах. Бесшумных, а всё же слух знает наизусть их быстрый-быстрый лепет по сцене. Немыслимо изогнув шею, ты всем телом совершаешь подвиг красоты. И чьи-то уста уже разомкнулись для пения. Да не чрезмерность ли это? Нет, это именно то, что соответствует твоей сути.

Принаряженное дитя еще не понимает смысла слёз, мешающих смотреть в перламутровый бинокль. Там просто — ножка о ножку, прыжок, повисание, прыжок, но почему это причина для слёз? Восходит надземная люстра, прощай, бинокль, зато — вот пальто, как будто одно заменит другое! Большой театр парит и блещет, что ему до маленького человека со слезой, чью судьбу и речь он нечаянно и непреклонно слагает и пестует; много лет пройдет, и в его честь вдруг, ни с того ни с сего, расплатится человек при Неве, при Летнем саде, клянусь вам, что плачет.

Удачливый московский ребенок вырастает в печального счастливчика, который по-прежнему держит перламутровый бинокль и обмирает, пока меркнет люстра. Потом по неведомой причине он вовсе не ложится спать, соотнося имя театра и величину его значения, и, видимо, одно соответствует другому, если уж новый день сияет, а человек всё еще думает о том, о чём его мимолётно спросили по телефону.

И за это судьба осыпает его подарками невероятных совпадений. В это же время балерина дарит ему свои балетные туфли, вот они лежат — розовые, грациозные, в забы-



тъи, потому что они почти сведены на нет возвышенной каторгой труда.

И открывается дверь, и входит человек, ему семьдесят три года, и вся его жизнь — это Большой театр, бывший, нынешний и грядущий — бесконечный. Я безмерно люблю его и почитаю, как и множество людей. Он спрашивает: „Как Вы поживаете? Вы, кажется, устали, Вы спать не ложились”.

Я смотрю на него, усилием зрачка побарываю и скрываю влагу и говорю: „Всё хорошо. Просто я поздравляю Вас с 200-летием Большого театра”.

Всё так и было, как описано в этой заметке, опубликованной в „Литературной газете” 26 мая 1976 года. Осталось только написать несколько слов на газетных полях: „Дорогой и несравненный Асаф Михайлович! Надеюсь, что и другие люди догадались, но мы-то с Вами точно знаем, кто это входит и кого я безмерно люблю и почитаю и первым — поздравляю. Позвольте еще раз сказать Вам: люблю и почитаю и поздравляю. Всегда Ваша Белла”.

Неведомый друг, глубокоуважаемый Читатель! Асаф Мессерер, вошедший в упомянутую дверь ослепительным ленинградским утром, переступит и Ваш порог — когда Вы откроете эту книгу. Мне следует поспешить оставить Вас наедине с ним, с его жизнью, чей непрерывный и непреклонный сюжет — доблестное служение гармонии, сотворение формы, безукоризненно облекающей смысл.

Артист и педагог, дважды воплотивший свой чудный дар, всегда предъявлял зрителю лишь безупречный итог труда — как бы драгоценную беловую рукопись без единой погрешности и помарки. Читателю же книги открыт мучительный черновик, предшествующий чистоте шедевра, — вся жизнь, без малой поблажки себе, без передышки.

Большой художник одаряет нас своим искусством и, как будто этого мало, в простом житье-бытье, в котором он скромн, робок и рассеян, оповещает нас о прелести его личности сильным излучением какой-то благодатной энергии, похожей на умение светить в темноте.

На этом я прощаюсь с Читателем и радуюсь за него:

*Белла Ахмадулина*

на свете нет лучшей радости, чем талант другого человека, ведь его дар — это дар нам.

Белла Ахмадулина

1979

Дорогой любимый Асаф Михайлович!

Опять я сижу и гляжу на Неву. Та же гостиница: отель „Ленинград”.

Но знаю: Вы — не войдете, Вы — в Париже.

Ваша книга (с моим бедным предисловием) — со мной.

Сегодня, когда я ехала в автомобиле на мое выступление, я сказала Вашей внучке Анечке Плисецкой: „Асаф Михайлович однажды сострадательно спросил меня: „Как же Вы устаете, когда стоите на сцене?”

Я знаю, что Вы имели в виду нечто другое. Помню, что ответила: „Только ноги устают, Асаф Михайлович”. Вы и я — рассмеялись.

Потому что — я СТОЮ на сцене.

Позвольте мне считать себя Вашим учеником: в жизни и на сцене.

В сей (шестой) час 31 октября я сижу гляючи на Неву и заранее поздравляю Вас с днём Вашего рождения: 19 ноября.

Поздравляю всех, кого Вы учили.

Я — просто люблю Вас. И — я люблю счастливые совпадения (в обыденной жизни называют: судьба).

Всегда и только Ваша  
Белла Ахмадулина

31 октября 1988

На 89-м году жизни умер Асаф Михайлович Мессерер. Еще недавно каждое утро он шел вниз по Тверской улице из дома на работу – в Большой театр. Это называется: „давать класс”. Условный балетный термин следует увеличить, расширить, возвысить, отнести к уроку всей его жизни – бессмертному, потому что у его учеников всегда будут ученики.

Его пребывание в воздухе было таинственно, волшебное. Это видели многие зрители, это видели Шаляпин и Собинов – он совпал с ними на великой сцене, это видели Мейерхольд и Михоэлс – он совпал с ними в трагическом времени.

Да, он прожил большую, полную жизнь, прожил вполне, совершенно. Я написала и прочла эти слова, но не сумела сыскать в них утешения. Больше никаким утром он не пойдет вниз по Тверской – что-то покачнулось, непоправимо разрушилось, кончилось... Эпоха кончилась. Но балет остался и всё будет парить и блистать, увековечивая кроткий образ, драгоценное имя Асафа Мессерера.

Март 1992

## СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Вот, в сей час, в сей миг, при нас завершается нерасторжимость Большого театра и Асафа Мессерера. Разумеется, я имею в виду только очевидную нерасторжимость. Я хорошо понимаю, что стены великих театров умеют хранить своих героев бережнее и тщательнее, чем усыпальницы фараонов.

Энергия всех движений Асафа Мессерера, которую он расточил на зрителей, на учеников, всё-таки должна пребывать где-то и в этом воздухе. Я верю в это. И где-то здесь навсегда останется нечто от него — какой-то привет людям, которые придут после нас. И всё-таки обрыв этой нерасторжимости трудно осознать, и звучит это и выглядит несусветно.

Сегодня утром, увидев колонны Большого театра, мне показалось, что я созерцаю их некоторый беспорядок, какую-то близость к обмороку. Поверьте, это не смятение моих глаз, а действительно историческое ощущение того, что значительная часть времени кончилась. То, что Асаф Михайлович Мессерер не будет каждое утро ходить вниз по улице из своего дома к Большому театру, то, что это действительно так и что он больше не войдет в свой Театр, — вот это в моём сознании разрушает некоторую конструкцию, без которой трудно обходиться. В эту конструкцию входит всё — и великий его дар, и трагическое время, и судьба его учеников.

Но тем не менее что-то отчетливо пошатнулось. Я утешаю себя тем, что я знаю, что всё это происходит при нашей общей боли, общем страдании, потому что в Асафе Мессерере было еще одно качество. Это в нём теплился,

теплился и ласкал других какой-то кроткий, но довольно мощный свет. Во всяком случае я попадала под это излучение. И то, что в рассеянном, в разрозненном мире Асаф Мессерер всегда и сейчас может объединить людей в добром возвышенном чувстве, — пусть это будет нам всем утешением. Да, я ищу утешения себе, желаю утешения вам, но в душе что-то поплакивает, попискивает и не принимает слова утешения.

12 марта 1992

Привет Вам, милый читатель!

Сосредоточимся на добром помысле и проведем вместе несколько мгновений — вблизи книги, чей скромный и заманчивый простор поджидает Вас по ту сторону страницы.

Я не скрываю моего пристрастия к ее автору, и прежде, чем Вы поверите его слову, я прошу Вас поверить мне на слово, что он — совершенно поэт. В этом счастливом случае стихосложение — не насилие над беззащитными словами, а единственно возможный способ жизни и речи, дарующий словам, обреченным друг другу, неизбежность счастливого союза.

Несравненная Грузия, помещенная на горах и в долинах, имеет свои владения в душах многих русских поэтов. Ее притягательность, ее власть над нашими снами и устремлениями обращены к Илье Дадашидзе с особенной пристальностью. Ведь это родина его крови, содевшая его жизнь. Нежная соотнесенность с этим местом земли — черта души, черта предстоящей Вам книги. Образ Тбилиси читается в ней так же ясно, как если бы Вы озирали окрестность, печалась на склонах Мтацминды. Человек, чья речь разминулась с предысторией рождения, словно искупает безгрешную вину перед речью предков, тоскуя по ее красе, искушающей губы, служа ей благородством поэтических переводов.

Изыщество внутренней осанки, совершенное отсутствие всего, что развязно, суетно, аляповато, склонность просвещенного ума учиться у тех, кто прежде и лучше нас, — вот качества, которыми я дорожу и люблюсь в моём доро-

гом товарище и коллеге, чью книгу Вы теперь держите в руках.

Желаю Вам счастливого чтения и всех угодных Вам радостей и удач.

1981

Какая радость, досточтимые синьоры, и Вы, прекрасные синьоры, и Вы, особенно Вы, ненаглядные синьорины, никогда не открывающие книг. Что за чуждая ночь эта нынешняя ночь, ей-ей, в ней есть что-то италийское: такая вдруг мягкость и влажность в природе, и отсветы воды дрожат на потолке. Понимаю, что дождь наполнил сад, а всё-таки — Пастернак так когда-то проснулся в Венеции: отсветы воды дрожали на потолке. Когда и я однажды проснулась в Венеции, я прочла в потолке не золотую игру бликов, а отражение отражений, описание их Пастернаком, превосходящее силой и прелестью явь моего пробуждения. И долго еще это венецианское утро казалось мне его сотворением и собственностью, и не жаль было, что меня как бы нет, а он — невредимо-юн и счастлив.

Но о чём я? Вам-то какая в этом радость, мои синьоры, и синьоры, и синьорины, не заглядывающие в книги (и не надо, все книги, все поэты сами глядят не наглядятся на Вас)? Ах, да, ведь я пишу это здесь и сейчас, а Вы — там и потом берёте в руки книгу, о которой и веду я мою сбивчивую речь.

„Да читала ли ты книгу, о которой речь?” — спрашивает меня моя венецианская переделкинская ночь. Нет, отвечаю я, но зато я знаю название: „Итальянцы в России”. Неужели этого мало? Что может быть лучше, что более наводит ум на воспоминания и вдохновение? Из всех влияний, воспринятых влиятельной, но и впечатлительной Россией, воздействие Италии кажется самым возвышенным, самым духовным и безгрешным, в нём нет никаких сложностей, кроме простейше-сложнейшей слагаемости: Искусство.



В этом смысле Россию без Италии могу увидеть, как вижу сейчас не полную, усеченную Луну, знаю, что Луна целиком цела, но вижу — так, вот она, кстати появилась из-за тучи.

Разумеется, авторы книги знают всё лучше, чем я, иначе зачем бы они взялись за книгу, теперь принадлежащую Вам. Но я знаю авторов книги — иначе зачем бы я стала морочить Вам голову и заманивать Вас в книгу, которую возлюбила прежде, чем прочла? Каждого из двух авторов я знаю давно, пристально и благосклонно, но прежде я знала их по отдельности, врозь. Да и почему бы я стала соотносить того и другого? Судите сами.

Юлий Крелин — хирург, ведущий хирург московской больницы. Я знаю многих людей, обязанных ему самым серьезным образом. Они говорят, что он ослепителен в своем белом и особенно в своем зеленом: решительность, властность, скупость слов и движений — сокрытая доброта врача. Совершенно им верю, но я-то видела его в другом, случайном и не имеющем значения цивильном цвете, к которому сводится нечаянная элегантность человека, не расточающего досуг на портного. Я прихожусь ему не пациентом (во всяком случае пока), а внимательным читателем. Врач Крелин — писатель, чьи рассказы и повести давно и прочно снискали особенный интерес и расположение взыскательной читающей публики. Его сюжеты и вымыслы обычно исходят из его медицинского опыта, но, если бы дело было только в этом, его читали бы лишь его благодарные больные, которых, впрочем, предостаточно. По счастью, дело обстоит иначе. Не сам по себе недуг, подлежащий или не подлежащий исцелению, а человек с его страстями и страданиями — вот герой или персонаж-завсегдатай произведений Крелина. Полагают, что врач и писатель наиболее осведомлены в многосложной человеческой природе. Совпадения двух этих дарований в одном лице обещает редкостную удачу, вызывает доверие и уважение. Даже отвлеченно рассуждая, можно сказать, что у хорошего врача не должно быть оснований и времени писать плохие книги.

Натан Эйдельман — знаменитый историк литературы, сосредоточенный на русском XIX веке, на Пушкине, декабристах, Герцене и всех соседних именах и обстоятельствах.

От сердца скажу, что его заслуги и достижения в этой области мне милее и ближе других аналогичных. Живость и какая-то глубоко серьезная, но веселая игра хорошо разветвлённого и просвещенного ума, столь украшающие Эйдельмана и как милого знакомца и собеседника, придают его трудам прельстительный и радостный блеск. Его выдающимся изысканиям вовсе не свойствен наукообразный хлад, они оснащены ярко-живым художественным пульсом. Да и можно ли одною наукой постичь Пушкина? Здесь надобен собственный творящий и вольнолюбивый дар. Давно когда-то, зная имя Эйдельмана лучше, чем его облик, я увидела и не узнала его в телевизионной передаче. Да кто это? — думала я с радостью и недоумением. Какая своеобразная, изысканная речь, какая стройная мысль, какая пригожая, талантливая осанка. И догадалась: Эйдельман, и никто другой.

Вот видите — два примечательных и примечательно разных человека. Меж тем их соединяет в пространстве очевидный пунктир даже поверхностной, чисто житейской связи. Они — ровесники, учились в одной школе, дружат сорок лет и будут дружить и впредь, не имея причин для распрей и лукавства. Высокая одаренность вообще залог доброжелательности. Я знаю даже больше. Например, дочь Эйдельмана — историк и навряд ли посрамит славную фамилию. У Крелина — трое детей, дочь занимается хирургической диагностикой. Впрочем, я имею честь знать лишь его вовсе юного сына: огонь волос, веснушки в изобилии и то залихватски-независимое выражение лица, которое многое обещает в будущем.

Упомянутый пунктир подтвержден линией более цепкой и глубокой. Книга — вот что наглядно объединяет их и нас с Вами, вот почему эта теплая ночь поздней осени кажется мне итальянцем в России. Станемте читать. Теперь Вы вправе спросить: ну, а кто же тот, кто представляет нам столь известных людей? И впрямь — кто сей созерцатель Луны и дождя? Ах, да просто это один русский поэт, но, в угоду нашей теме, скажем, что в нём есть немного итальянской крови.

Примите привет и добрые пожелания.

1985

Первое издание этой книги вышло в Ставропольском книжном издательстве с кратким предисловием Ираклия Андроникова. Изъявления этого высокого и доброжелательного участия совершенно достаточно для заведомого доверия читателей к автору книги, увеличившему ее объем новыми размышлениями и изысканиями.

Мое скромное и сочувственное вмешательство было бы развязным и излишним, если бы оно не соответствовало моему искреннему расположению к Сергею Васильевичу Чекалину, к доблестной страсти его души, обреченной Лермонтову.

Произнесение этого имени — чем доле я живу — всё больнее для меня, всё затруднительнее. С горечью вспоминаю я былую беспечность уст, лакомых до этого мучительного, прохладного и пространныго звука.

Именем великого человека наречена и его, сомкнувшая створки, тайна, куда не все мы и не совсем приглашены заглянуть, и наша собственная тайна, запретная для суесловной огласки.

Подчас (и сейчас) мне кажется, что имя это, к которому мы безвыходно и непрестанно обращаемся, уязвлено ненасытной любознательностью, попыткой пронизательности, посягающей на его замкнутость, гордость, недоступность.

Если бы у нас была возможность довольствоваться лишь тем, что сам Лермонтов оставил нам не сокрытым, — этого было бы слишком довольно для открытия: открыл его книгу, вот уже и открытие, в его слове и в сочетании слов.

„Если бы...” — так все говорили и говорят о Лермонтове. Но сослагательное наклонение никак не соотносимо

с ним: он только тот и таков, ему ровно столько лет, сколько нужно. Он успел, преуспел, содеял должное в отведенный ему чёткий срок. Всё остальное — лишь вздо-ры нашей любви к нему, тоски по нём, безутешной и бесполезной, если станем терзать себя помыслами и домыслами о его смерти...

1985

Так случилось, так жизнь моя сложилась, что я не то, что не могу забыть (я не забывчива), — я не могу возыметь свободу забытья от памяти об этом человеке, от утомительной мысли, пульсирующей в виске, от ощущения вины. Пусть я виновата во многом, но в чём я повинна перед Ларисой? Я долго думаю — рассудок мой отвечает мне: никогда, ни в чём.

Но вот — глубокой ночью — я искала бумаги, чтобы писать это, а выпал, упал черный веер. Вот он — я обмахиваюсь им, теперь лежит рядом. Этот старинный черный кружевной веер подарил мне Сергей Параджанов — на сцену, после моего выступления.

— При чём Параджанов? — спросит предполагаемый читатель. При том, что должно, страдая и сострада, любить талант другого человека, — это косвенный (и самый верный) признак твоей одаренности.

Ну, а при чём веер?

Вот я опять беру его в руки. Лариса держала его в руках в новогоднюю ночь, в Доме кино. Я никогда не умела обмахиваться веером, но я никогда не умела внимать строгим советам и склонять пред ними голову.

— Я покажу Вам, как это делается, — сказала Лариса. — Нас учили этому во ВГИКе.

Лариса и веер — стали общая стройность, грациозность, плавное поведение руки, кружев, воздуха. Я склонила голову, но всё же исподтишка любовалась ею, ее таинственными, хладными, зелеными глазами.

Откуда же она взяла такую власть надо мною, неподвластной?

Расскажу — как помню, как знаю.

Впервые, отчетливо, я увидела ее в Доме кино, еще

в том, на улице Воровского. Нетрудно подсчитать, когда это было: вечер был посвящен тридцатилетию журнала „Искусство кино” — и мне было тридцать лет. Подробность этого арифметического совпадения я упоминаю лишь затем, что тогда оно помогло мне. Я поздравляла журнал: вот-де, мы ровесники, но журнал преуспел много более, чем я. Я знала, что говорю хорошо, свободно, смешно, — и согласная приязнь, доброта, смех так и поступали в мою прибыль из темного зала. Потом я прочитала мое долгое, с прозой, стихотворение, посвященное памяти Бориса Пастернака. Уж никто не смеялся: прибыль души моей всё увеличивалась.

Но что-то сияло, мерцало, мешало-помогало мне из правой ложи. Это было сильное излучение нервов — совершенно в мою пользу, — но где мне было взять тупости, чтобы с болью не принять этот сигнал, посыл внимания и одобрения? Нервы сразу узнали источник причиненного им впечатления: Лариса подошла ко мне в ярко освещенном фойе. Сейчас, в сей предутренний час, через восемнадцать лет, простым художественным усилием вернув себе то мгновение, я вижу прежде не Ларису, а ее взгляд на меня: в черном коротком платье, более округлую, чем голос, чем силуэт души, чем тонкость, притаившаяся внутри, да просто более плотную, чем струйка дыма, что тяжеломерно, — такова я, пожалуй, в том внимательном взоре, хищно, заботливо, доблестно профессиональном. Сразу замечу, что по каким-то другим и неизвестным причинам, но словно шлифуемая, оттачиваемая этим взором для его надобности, я стала быстро и сильно худеть, — всё легче мне становилось, но как-то уже и странно, рассеянно, над и вне.

Но вот я вглядываюсь в Ларису в тот вечер, в ее ослепительную невидимость в правой ложе, в ее туманную очевидность в ярком фойе: в отрадность, утешительность ее облика для зрения, в ее красоту. И — в мою неопределенную мысль о вине перед ней: словно родом из Спарты, она показалась мне стройно и мощно прочной, совсем не хрупкой, да, прочной, твердо-устойчивой, не хрупкой.

Пройдет не так уж много лет времени, будет лето, Подмоскowie, предгрозье, столь влияющее на собак, — всё не могла успокоить собаку, тревожилась, тосковала. При-

дут — и н-н-не смогут сказать. Я прочту потупленное лицо немого вестника — и злобно возбраню правде быть: нет! нельзя! не смей! запрещено! не позволяю, нет. Предгрозые разрядится через несколько дней, я запутаюсь в струях небесной воды, в электричке, в сложных радугах между ресниц — и не попаду на „Мосфильм”.

Был перерыв в этом писанье: радуги между ресниц.

Но всё это будет лишь потом и этого нет сейчас: есть медленный осенний предрассвет и целая белая страница для насущного пребывания в прошедшем времени, когда наши встречи участились и усилились, и всё зорче останавливались на мне ее таинственные, хладные, зеленые глаза.

Впрочем, именно в этой драгоценной хладности вскоре стала я замечать неуловимый изъян, быстрый убыток: всё теплела, слабела и увеличивалась зеленая полынья. Таянье тайны могло разочаровать, как апрельская расплывчатость льда, текучесть кристалла, но, кратким заморозком самообладания, Лариса превозмогала, сковывала эту самовольно хлынувшую теплынь как некую независимую бесформенность и возвращала своим глазам, лицу, силуэту выражение строго-студёной и стойкой формы, совпадения сути и стати.

Неусыпная художественная авторская воля — та главная черта Ларисы, которая, сильно влияя на других людей, слагала черты ее облика. Лариса — еще и автор, режиссёр собственной ее внешности, видимого изъявления личности, поведения. Поведение — не есть просто прилежность соблюдения общепринятых правил, это не во-первых, хоть это обязательно для всякого человека, поведение есть способ вести себя под общим взором к своей цели: сдержанность движений, утаенность слёз и страстей.

Эту сдержанность, утаенность легко принять за прочность, неуязвимость. Я любовалась повадкой, осанкой Ларисы, и уважение к ней опережало и превосходило нежность и жалость. Между тем я видела и знала, что ее главная, художественная жизнь трудна, непроста: вмешательства, помехи, препоны то и дело вредили ее помыслам и ее творческому самолюбию. Это лишь теперь никто не мешает ей и ее славе.

Влиятельность ее авторской воли я вполне испытала на себе. Лариса хотела, чтобы я снималась в ее фильме, и я диву давалась, замечая свою податливость, исполнительность: я была как бы ни при чём: у Ларисы всё выходило, чего она хотела от меня. Это мое качество было мне внове и занимало и увлекало меня. Лариса репетировала со мной сначала у нее дома, на набережной, потом на „Мосфильме”. Всё это было совсем недолго, но сейчас я четко и длинно вспоминаю и вижу эти дни, солнце, отрадную близость реки. В силе характера Ларисы несомненно была слабость ко мне, и тем легче у нее всё получалось. Лариса открыто радовалась моим успехам, столь важным для нее, столь не обязательным для моей судьбы, ведь у меня — совсем другой род занятий. Но я всё время принимала в подарок ее дар, ярко явленный в ее лице, в ее указующей повелительности.

Всё-таки до съемок дело не дошло, и я утешала ее: „Не печальтесь! Раз Вы что-то нашли во мне — это не пройдет с годами, вот и снимите меня когда-нибудь потом, через много лет”. Лариса сказала как-то грозно, скорбно, почти неприязненно: „Я хочу — сейчас, не позже”.

Многих лет у нее не оставалось. Но художник вынужден, кому-то должен, кем-то обязан совершенно сбыться в то время, которое отведено ему, у него нет другого выхода. Я видела Ларису в расцвете ее красоты, подчеркнутой и увеличенной успехом, отечественным и всемирным признанием. Это и была та новогодняя ночь, когда властно и грациозно она взяла черный кружевной веер, и он на мгновение заслонил от меня ее прекрасное печальное лицо.

Милая, милая, хрупкая и беззащитная, но всё равно как бы родом из Спарты, — простите меня.

Ноябрь 1985



## ПОСВЯЩЕНИЕ

(вольное сочинение на заданную тему)

Так начала я, шли дни и ночи, не мимо меня, сквозь меня шли, для удобства их прохождения сквозь меня я меняла географические местоположения и не нашла музыкального позволения писать дальше.

Генрих Густавович, Станислав Генрихович, правильно ли слышу Вас, что — не надо, не следует? Я всегда слышу Вас (слушаю — это другое, для слушания Вас и теперь, и всегда остается некоторая простая возможность). Не ослышаться, а ослушаться остерегаюсь.

Не ослушник Ваш, и не послушник ничей, кроме как Ваш, пусть я напишу что-нибудь, позвольте мне это, пожалуйста, иначе как объясню я безвыходную для меня необходимость написать: безвыходность эта сначала была не художественного происхождения. То есть я полагала, что должна — и обещала, может быть, опрометчиво, потому что должно держать слово, но Слово должно лишь гармонии, нет у него других задолженностей, его воля непререкаема и непонукаема и всегда может оспорить и пересилить мою. Обретут ли согласие данное мной слово и Слово, еще мне не данное?

Некогда, как и многие люди, я приняла и присвоила расточительный привет Вашего великодушия, заведомое прощение, одобрение, доверчивое изъяснение веры мне, уверенности в том, что я — не оскорбитель, не предатель Музыки, не толкователь и не разглашатель тайны, не развязный пошляк, скажу так для краткости говоренья. Сколько раз, мучась и сомневаясь, осознавая несовершенство моих способностей и совершенство ужасных обстоятельств воспитания и образования, сколько раз приникала я к Вашей помощи — помогите еще один раз.

*Белла Ахмадулина*

„Вот еще одно оправдание моей затеи: когда одного писателя, выразившего, хотя и другими словами, небезызвестное чувство: „молчите, проклятые книги”, спросили, зачем же он пишет, он ответил: чтобы и з б а в и т ь с я от своих мыслей”.

Эти слова Генриха Нейгауза, без ошибок переписанные мною из его книги, я приняла за позволение написать. Ведь и в них есть другой, новый, собственный, вольный по отношению к общеизвестной достоверности, смысл: это не изложение, это сочинение.

„Сочиняйте, а не излагайте” — это название статьи Генриха Нейгауза о кинематографе, о его соотношении с литературной и музыкальной классикой. Содержание этой грустной и деликатной статьи открыто для сведения любого любознательного читателя, и я не собираюсь излагать его или сочинять заново.

И всё же — это так просто, так важно. Всякий исполнитель: роли, сторонней авторской воли, — останется лишь приживалой и прихвостнем беззащитного гения, чьею сенью он собирается сокрыть или возвеличить свое никакое или какое-нибудь значение, — счастливый случай, когда таковой поступает бескорыстно...

Февраль—март 1986

ПОСЛЕСЛОВИЕ К АВТОБИОГРАФИИ  
МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ

\* \* \*

Та, в сумраке превыспреннем витая,  
кем нам приходится? Она нисходит к нам.  
Чужих стихий заманчивая тайна  
не подлежит прозрачным именам.

Как назовём породу тех энергий,  
чья доблестна и беззащитна стать?  
Зрачок измучен непосильной негой,  
измучен, влажен и желает спать.

Жизнь, страсть — и смерть. И грустно почему-то.  
И прочных формул тщетно ищет ум.  
Так облакает хрупкость перламутра  
морской воды непостижимый шум.

\* \* \*

Глаз влажен был, ум сухо верил  
в дар Бога Вам — иначе чей  
Ваш дар? Вот старый черный веер  
для овеванья чудных черт  
лица и облика. Летали  
сны о Тальони... но словам  
здесь делать нечего... Вы стали —

*Белла Ахмадулина*

смысл мѹки-музыки. В честь Тайны  
вот — веер-охранитель Вам.

Вы — изъявление Тайны. Мало  
я знаю слов. Тот, кто прельстил  
нас Вашим образом, о Майя,  
за подвиг Ваш нас всех простил.

„Чем больше имя знаменито, тем неразгаданней оно...” Это строчка из моего стихотворения, посвященного Блоку. Как можно соотнести этот маленький эпиграф с художественной судьбою, которая сбылась с таким совершенством?

Творческий удел Майи Плисецкой — есть чудо, дарованное нам. Человек получил свой дар откуда-то свыше и вернул его людям в целостности и сохранности и даже с большим преувеличением. Так что здесь нет ни одной маленькой убыли, нет ни одного маленького изъяна. И казалось бы, Майя Михайловна не оставляет нам никаких загадок. Она явила нам всё, что ей назначено. И всё-таки я применила эту строчку к раздумью о ней. Дело в том, что в исчерпывающей очевидности этого сбывшегося несравненного таланта всегда есть некоторая захватывающая тайна. И сколько бы я ни помышляла о Плисецкой или сколько бы раз я ни видела ее на сцене или просто ни следила бы вблизи за бликами, которые озаряют ее лицо и осеняют весь ее облик, всю её повадку, всегда я усматривала в этом захватывающий сюжет, приглашающий нас к какому-то дополнительному раздумью. Действительно, ореол этой тайны приглашает нас смотреть в художественные, человеческие действия Плисецкой с тем же азартом, с каким мы можем следить поведение огня или поведение воды или всякой стихии, чье значение не вполне подлежит нашему разумению.

И еще поражало меня — то есть несомненно, ничего не оставлено в тайне от нас, всё предложено нашему созерцанию. И всё-таки это тот простор, куда может углубиться наш действующий ум, любопытство наших нервов. Это огромный объём, оставленный нам для раздумья и для сильного умственного и нервного проникновения.

И еще меня поражает в ее художественном облике совпадение совершенно надземной одухотворённости, той эфемерности, которую мы всегда невольно приписываем балету, с сильной и мощно действующей страстью. Пожалуй, во всяком случае на моей памяти, ни в ком так сильно не совпала надземность парения, надземность существования с совершенно явленной энергией трагического переживания себя в пространстве. И может быть, всё вот это и останется для нас непрерывным побуждением мыслить.

Мне однажды довелось видеть... Это было некоторое чудо. Я просто ждала в числе прочих Майю Михайловну около консерватории. И она подошла незаметно, и вдруг — был дождливый день — и вот в дожде этого дня вдруг отразился ее чудный мерцающий и как будто ускользающий облик. И еще раз тогда я подумала, что очевидность этой судьбы всё-таки оснащена прекрасной тайной, вечной возможностью для нас гадать, думать, наслаждаться и никогда не предаться умственной лени и скуке.

1986

## НОВЫЙ ГОД И МАЙЯ

...Смягчается времён суровость,  
Теряют новизну слова.  
Талант — единственная новость,  
Которая всегда нова.

*Борис Пастернак*

С чего-то надобно начать (уже два раза луна сходила на нет и становилась совершенно округлой), а я всё сижу, никакого толку, успела лишь спросить Евгения Борисовича Пастернака: смягчается? или меняется? Книги под рукой нет, есть неподалёку от руки. Да мне так легче, лучше: услышать этот голос. Две первые строки относятся к 1957 году, две вторые — ко всему и всегда.

„Времён суровость” — Майя Плисецкая знает это. Майя как бы с неба к нам пришла, прилетела, я видела, как летает, летит, сидит („Кармен-сюита”, я имею в виду неопишумость этой позы, бурю и мглу, мощь и энергию движения, всё-таки соотнесенного с заданной неподвижностью, с табуретом, не знаю, как назвать) или стоит на столе („Болеро”).

Более всего я люблю видеть ее на сцене, на разных сценах видела, но вот, прикрываю глаза веками и вижу: на родной сцене Большого театра, сначала как бы вижу весь спектакль, все спектакли, на сцене — трагедия. Ее героиня — всегда трагедия и страсть, страсть как любовь и как страдание. Мои глаза влажнеют. Рядом сидящие малые дети спрашивают: „Ее — убьют?” Отвечаю: „Есть одна уважительная причина плакать — искусство”. И дети запомнили, не плаксивы.

Спектакль кончается, и вы... — не выходит? не вылетает? Это у меня не выходит, не вылетает слово для объяснения того, что видела и вижу. Публика стоит и аплодирует, а на ту, чей дар трагедии и отраден, на нее, к ней всё падают, сыплются цветы. Цветы подносят и снизу, но я особенно дорожу теми, что летят сверху, с верхних ярусов, с га-

лёрки. Всякий раз мне перепал цветок из ее долгой, прекрасной руки — потом, за кулисами, да простят мне эту щедрость дарители цветов не мне.

Открываю глаза, иначе бы я видела, но не написала, пишу, описываю: 1 января 1993 года. Я воочию вижу ее не на сцене, а дома, в московском доме на Тверской. Гляжу — не нагляжусь, улыбка радости наполняет, переполняет мое лицо, выходит за пределы лица, дома, Тверской улицы, Москвы, Замоскворечья, Твери и прочих мест, предместий, столиц, окрестностей. Улыбка радости заполняет весь белый свет, в котором столько печали. Почему же я улыбаюсь, и сейчас улыбаюсь? Чему я так радуюсь? Да — цветам сверху, дару свыше, ненаглядности красоты.

Февраль 1993

Фирма „Мелодия” предлагает Вашему вниманию...— я написала эти слова, и рука моя надолго остановилась.

Темнело, светало, таяло, морозило, шел снег — я не умела продолжить. Но почему? Казалось бы, всё волшебным просто. Фирма „Мелодия” делает Вам, и мне, нашему общему неисчислимому множеству драгоценный подарок — Вы сами видите, каков он. Но до того, как Вы возьмете его в руки, я должна объяснить вот этому листу бумаги, почему мне так трудно соотносить с ним перо.

Когда-то, давно уже, я поздравляла читателей „Литературной газеты” с Новым годом, с чудесами, ему сопутствующими, в том числе с пластинкой „Алиса в Стране чудес”, украшенной именем и голосом Высоцкого.

А Высоцкий горько спросил меня: „Зачем ты это делаешь?” Я-то знала — зачем. Добрые и доблестные люди, еще раз подарившие нам чудную сказку, уже терпели чье-то нареkanie, нуждались хоть в какой-нибудь поддержке и защите печати.

С тех пор прошло ровно десять лет. Я пишу это в декабре 1986 года.

„Литературная газета” еще раз поздравит читателей с Новым годом — уже никто не пререкается с моими словами о Высоцком, вернее, значение его имени для нашего сознания стало непререкаемо и неоспоримо.

И еще один раз Высоцкий также горько и устало спросил меня: „Зачем ты это делаешь?” — это когда в альманахе „День поэзии” было напечатано одно его стихотворение, сокращенное и искаженное.

Голос — всегда изъятие души. Голос Высоцкого —



щедрый, расточительный подвиг. Но других, расчётливых и скаредных, подвигов не бывает.

Высоцкий сделал для нас всё, что мог, даже более, чем возможно. Что же мы можем сделать для Высоцкого? Ему ничего не нужно.

Было нужно: признания его профессиональной литературной независимости, ведь, прежде всего, он — автор своих сочинений. Всенародная слава была с ним при его жизни, но и обида, не полезная для жизни, была. То и другое он претерпевал с достоинством.

Для личности и судьбы Высоцкого изначально и главным то, что он — Поэт. В эту его роль на белом свете входят доблесть, доброта, отважная и неостановимая спешка пульсов и нервов, благородство всей жизни (и того, чем кончается жизнь). Таков всегда удел Поэта, но этот наш Поэт еще служил театру, сцене, то есть опять служил нам, и мы знаем, в какой степени: в превосходной, в безукоризненной. Какое время из всего, отпущенного ему взял он для пристального и неусыпного труда: для работы над словом, над строкою? Его рукописи удостоверяют нас в том, что время, которым располагает Поэт, не поддается общепринятому исчислению. Он должен совершенно уложиться в свой срок, и за это вся длительность будущего времени воздаст ему нежностью и благодарностью. Начало этого бесконечного воздаяния бурно происходит на наших глазах.

Июль 1980 года стал пеклом боли для современников Высоцкого и навряд ли станет прохладой воспоминания для других поколений, но и у них в календаре будет январь, чтобы радоваться дню его рождения.

Неисчислимы почитатели Высоцкого заслуживают восхищения, но и утешения: между ними и всем тем, что содеяно их героем и любимцем, не должно быть препон и разлуки. Читатели, зрители и слушатели всё чаще получают в свое неотъемлемое и бескорыстное владение то, что заведомо и по праву принадлежит им.

К числу утешительных радостей и наград такого рода несомненно относится этот альбом. Две его пластинки для меня несколько раз драгоценны. Их общий состав и объем достаточно обширны, чтобы свидетельствовать о разных

периодах и достоинствах творчества Высоцкого. Знаменитые артисты, привлеченные для участия в записи, — близкие друзья и сподвижники Володи, это сразу слышно и вызывает волнение и признательность.

И, конечно, главное содержание альбома — живой и невредимый голос Высоцкого, никогда не покидающий нас, дарующий радость, затмевающий влагой глаза.

Вдруг мне показалось, что голос этот снова спросил меня: „Зачем ты это делаешь?“ И правда — зачем? Сейчас Вы сами всё это услышите.

От всей души желаю Вам любви и счастья.

Белла Ахмадулина

Декабрь 1986

Меня утешает и обнадеживает единство нашего помысла и нашего чувства. Хорошо собираться для обожания, для восхищения, а не для вздора и не для раздора. И хотя по роду моих занятий я не развлекатель всегда любимой мною публики, я всё-таки хотела бы смягчить акцент печали, который нечаянно владеет голосом каждого из нас.

Вот уже седьмой год, как это пекло боли, обитающее где-то здесь, остается безутешным, и навряд ли найдется такая мятная прохлада, которая когда-нибудь залижет, утешит и обезболит это всегда полыхающее место. И всё-таки у нас достаточно причин для ликования. Завтра день рождения этого человека.

Мандельштамом сказано — я боюсь, что я недостаточно грациозно воспроизведу его формулу, — но сказано приблизительно вот что: смерть Поэта — есть его художественное деяние. То есть смерть Поэта — не есть случайность в сюжете его художественного существования. И вот, когда мы все вместе, желая утешить себя и друг друга, всё время применяем к уже свершившейся судьбе какое-то сослагательное наклонение, может быть, мы опрометчивы лишь в одном. Если нам исходить из той истины, что заглавное в Высоцком — это его поэтическое уродение, его поэтическое устройство, тогда мы поймем, что препоны и вредоносность ничтожных людей и значительных обстоятельств — всё это лишь вздор, сопровождающий великую судьбу.

Чего бы мы могли пожелать Поэту? Нешто когда-нибудь Поэт может обитать в благоденствии? Нешто он будет жить, соблюдая свою живучесть? Нет. Сослагательное наклонение к таким людям неприменимо. Высоцкий — не

сомненно вождь своей судьбы. Он — предводитель всего своего жизненного сюжета.

И мне довелось из-за него принять на себя жгучие оскорбления, непризнание его как независимого литератора — было и для меня унижительно. Я знаю, как была уязвлена столь высокая, столь опрятная гордость, но опять-таки будем считать, что всё это пустое.

Я полагаю судьбу Высоцкого совершенной, замкнутой, счастливой. Потому что никаких поправок в нее внести невозможно. Несомненно, что его опекала его собственная звезда, перед которою он не провинился. И с этим уже ничего не поделаешь, тут уже никаких случайностей не бывает. А вот всё, что сопутствует Поэту в его столь возвышенном, и столь доблестном, и столь трудном существовании, — всё это какие-то необходимые детали, без этого никак не обойдешься. Да, редакторы ли какие-то, чиновники ли какие-то, но ведь они как бы получаются просто необходимыми крапинками в общей картине трагической жизни Поэта, без этого никак не обойдешься. Видимо, для этого и надобны.

Но всё же, опять-таки вовлекая вас в радость того, что этот человек родился на белом свете и родился непоправимо навсегда, я и думаю, что это единственное, чем можем мы всегда утешить и себя, и тех, кто будет после нас.

Он знал, как он любим. Но что же, может быть, это еще усугубляло сложность его внутреннего положения. Между тем, принимая и никогда не отпуская от себя эту боль, я буду эту судьбу полагать совершенно сбывшейся, совершенно отрадной для человечества.

24 января 1987

Я хочу еще раз восславить этого Артиста. Когда я говорю „Артист”, я имею в виду нечто большее, нежели просто доблестное служение сцене, лишь театру. Артист — это нечто большее...

Я не хочу приглашать вас ни к какой печали — всё-таки завтра день *рождения* Владимира Высоцкого. Получается, что рождение Поэта для человечества гораздо важнее, чем *всё*, что следует за этим и что разрывает нам сердце. Блаженство, что он родился. Привыкшая искать опоры лишь в уме своем или где-то в воздухе, тем более что этот близлежащий воздух для меня благоприятен, я хочу сослаться на что-нибудь, найти какие-то слова, вроде эпитафии.

И вот нахожу их. Это скромно и робко написано мною о Борисе Пастернаке.

Из леса, как из-за кулис актер,  
он вынес вдруг высокопарность позы,  
при этом не выгадывая пользы  
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,  
той древней сценой, где прекрасны речи.  
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи  
уже восходит фосфор голубой.

Вот так играть свою игру — шутя!  
всерьез! до слёз! навеки! не лукавя! —  
как он играл, как, молоко лакая,  
играет с миром зверь или дитя.

*Белла Ахмадулина*

Нечаянно вспомнив эти свои строки, я хочу соотнести их с той моей уверенной, но, наверно, неоригинальной мыслью, что Владимир Высоцкий по урождению своему прежде всего был Поэт. Таков был способ устройства его личности, таков был сюжет его судьбы. То, что ему приходилось так много быть на сцене, — за это воздалось ему всенародной любовью и всенародной славой. Высоцкий всегда был всенародно любим, слава его неимоверна. Но что, собственно, есть слава? Где-то ещё и докука, это еще и усугубление одиночества человека, которому нужно выбрать время и множество сил и доблести для того, чтобы сосредоточиться и быть наедине с листом бумаги, с чернилами.

Теперь, когда рукописи Владимира Высоцкого открыты — сначала для тех, кто этим занимались в интересах будущих читателей, а потом, надеюсь, всё это будет доведено до сведения читателей, — теперь видно, как он работал над строкой, как он относился к слову. И единственное, что я могу сказать в утешение себе, — я всегда ценила *честь* приходится ему коллегой, всегда пыталась хоть что-нибудь сделать, чтобы не скрыть его сочинения от читателей.

Мы мало преуспели в этом прежде, но путь Поэта не соответствует тому времени, в которое умещается его жизнь. Главное — это потом... И сейчас можно удостовериться, что та разлука, которую с таким отчаянием, с таким раздиранием души всё время переживали соотечественники и современники Владимира Высоцкого не только из-за его смерти, а еще из-за того, что как будто некая *препона* стояла между ним и теми, для кого он был рождён и для кого он жил так, как он умел, эта разлука таит в себе и радость новых встреч.

Позвольте мне поздравить вас с счастливым днём его рождения. Это наша радость, это наше неотъемлемое достояние, и не будем предаваться отчаянью, а, напротив, будем радоваться за отечественную словесность.

24 января 1987

Сколько раз мы слышали эти слова, и только что слышали: не успел ни дожить, ни допеть. И всякий раз они разрывают нам сердце. Но это же бедное, живучее сердце ищет себе какого-то утешения, и, по-моему, сегодня мы можем быть утешены одним: несомненно, он успел — он дожить, может быть, не успел, но он успел, исполнил свой художественный и человеческий долг перед всеми нами, перед своим народом, перед его будущим.

Вот мы открыли памятник. Это торжество особенно должно нас возвысить, потому что на моей памяти не открывали таких сооружений, которые были бы изделием народного сердца, а не навязаны ему какими-то сторонними силами. Да, конечно, хочется нечаянно повторить пушкинские слова о воздвигнутом памятнике нерукотворном. Они сейчас или обитают, или хотя бы гостят в наших умах, потому что торжество этого памятника крайне отрадно, но главный памятник он воздвиг себе действительно сам, и подтверждение этого мы можем читать в лицах друг друга или вот я с этого скромного возвышения.

И то, что наше собрание имеет такой благородный повод и помысел, — это есть утешение. Потому что, когда я вижу и читаю лица, глаза, я не должна думать, что народ наш утратил какие-то достоинства ума и духа. Нет, так не может быть. Это ободряет. И потом редко удавалось нам — во всяком случае при моём возрасте и жизни — собираться не по какому-то условному принуждению, а просто от единого человеческого чувства. И тогда возникшая мысль о том, что мы кем-то приходимся друг другу, что мы не одиноки в своем человечестве, в своем времени, что есть та-

кие причины, которые могут объединить наши сердцебиения, уже не оставляет меня. В этом есть опровержение того, что сейчас как-то всуе повторяют: дескать, совсем мы пали и... Наверное, не совсем.

Наше чувство к Высоцкому всегда двояко: союз радости и печали. Это чувство усложнено и увеличено тем, что, восхищаясь им, мы как бы восхищаемся собственным делом. Мы были его современниками, и, может быть, какие-то наши вины, какие-то наши грехи он взял на себя и, может быть, поэтому и не успел, как он сам думал, дожить.

В этом, мне кажется, свет торжества этого дня, в этом утешение. Позвольте мне прочесть короткое стихотворение. Оно написано 15 лет назад. Я его, разумеется, читаю с коленопреклоненной памятью о Высоцком, но оно сейчас посвящено вам, потому что у меня, в общем, человека, который редко счастливо для себя участвовал в каком-то коллективе, сейчас есть ощущение, что я действительно родилась и умру на этой земле, где я не одинока, где мы все можем встретить человеческий взор или протянуть друг другу руку.

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий  
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.

Нам, виды выдавшим, ответствуй, как деве прелестной:  
Так — быть? или — как? что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.  
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страданья.  
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,  
кто подданных душу возвысит до слёз, до рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь  
не собираем сброда, бегущим глазеть на Нерона,  
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.  
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —  
не слушатель вздора и не покупатель вещицы,  
Певца обожая, — расплачемся. Доблестна тризна.  
Так — быть или как? Мне как быть? Не взыщите.



Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.  
В обнимку уходим — всё дальше, всё выше, всё чище.  
Не скарены мы, и сердца разбиваются наши.  
Лишь так справедливо. Ведь, если не наши — то чьи же?

25 июля 1995

С любовью и застенчивостью пишу несколько слов о Борисе Чичибабине.

Я – не старше и не лучше, чем он.

Борис Чичибабин моего соучастия не искал, ни о каких публикациях никого не просил.

„Ну, и при чём здесь вы?“ – спросят читатели журнала „Огонёк“, которым теперь несть числа.

При том, отвечаю загодя, что человек с талантом (чем бы он ни занимался) нечаянно оказывается вопреки, невпопад, не терпит понуканий и посягательств на урожденную независимость души и ума и претерпевает нужду и невзгоду, потому что таковой человек не имеет корысти, плохих намерений и суетных желаний. Но как на нём и на всех нас сказывается то, что он претерпевает?

Борис Чичибабин много лет назад был исключён из Союза писателей. Не знаю, как было сформулировано решение об этом исключении, но совершенно знаю исключительную честность и чистоту этого человека.

Чичибабину – ничего не нужно. Доходов он никогда не рыскал. Живет не доходливым трудом. Но о всеобщих доходах можно помышлять лишь при условии, что любой человек с любым человеческим талантом может заниматься своим делом по своему усмотрению. Иначе – всеобщие убытки не восполнимы, не возместимы. (Не знаю: восклицательный знак или вопросительный поставить в конце.)

Август 1987

„Тишина, ты — лучшее из всего, что слышал”.

Эта строка Пастернака самовольно обитала в моём слухе и уме, затмевая слух, заменяя ум, 20 августа 1987 года, когда Москва прощалась с артистом Андреем Мироновым.

В тот день в последний раз его пребывания на сцене я не видела его, стояла неподалёку, рядом, положила цветы, смотрела на прибывающие слёзы и цветы, слышала упомянутую строку.

Когда в тот день я подошла к его Театру, я оробела перед неисчислимым множеством людей, желавших того же: войти в Театр. Хотела отступить, уйти, и это уже было невозможно. Люди — избранные из множественного числа толкающегося и пререкающегося беспорядка — отступили от честной своей очереди, я вошла, они остались. И снова (Шукшин, Высоцкий, Миронов) я подумала: множество людей не есть сборище толпы, но человек, человек, человек... — человечество, благородное и благодарное собрание народа, понесшего еще одну утрату.

Артист, о котором... без которого...

Сосредоточимся. Начнем сначала, лишь изначальноность соответствует бесконечности, детство — зрелости. Талант и талант, имя и имя его родителей — известны и досточтимы. Счастье заведомо сопутствовало его урождению и воспитанию. От природы и родителей — сразу данный, совершенный дар безукоризненной осанки, повадки, грациозного поведения тела в пространстве, музыкальности и иронии. Прирожденный ум рано встретился с прекрасными книгами, у него была драгоценная возможность чи-

тать, читать. Всегда любуясь им, я любила совпадение наших читательских пристрастий.

Старая привычка к старинному просторечию позволяет мне написать: „из хорошей семьи”. Устаревшее это определение (и не жаль его языковой низкородности) состоит в каком-то смутном родстве с прочным воспоминанием о том, как я увидела Андрея Миронова в первый раз, не из зала, а вблизи, в общей сутолоке житейского праздника. Он был невероятно и трогательно молод, уже знаменит, пришел после спектакля и успеха, успехи же только брали разгон, нарастали, энергия нервов не хотела и не умела возыметь передышку, в гостях он продолжал быть на сцене, взгляда и слуха нельзя было от него отвлечь. Всё это вместе пугало беззащитностью, уязвимостью, в моих нервах отражалось болью, причиняло какую-то старшую заботливую грусть. Он непрерывно двигался и острил, из глаз его исходило зимнее голубое облачко высокой иронии, отчетливо различимое в дымной голубизне воздуха, восхищение этим зрелищем становилось трудным, утомительным для зрения. Но вот — от вежливости — он придержал предо мною крылья расточительного полёта, я увидела бледное, утомленное лицо, украшенное старинным, мягким, добрым изъявлением черт, и подумала: только дисциплина благовоспитанности хранит и упасает этого блестящего молодого человека от рискованной грани, на ней, „на краю”.

Притягательность „опасной бездны” — непреодолима, неотвратима для Артиста и непоправима для его почитателей.

Эльдар Рязанов рассказывал, какие доблесть и изящество надобны для того, чтобы безупречным поступком прыжка соединить разъединяющиеся части моста и себя — с близким присутствием льва. Услышав, что Андрей Александрович Миронов хотя бы льва несколько опасался, чего на экране не видно, с безутешной нежностью и тоской я улыбнулась. Любой человек, и путник в львиной пустыне, может разминуться со львом. Артист — не может. Так же он не может препоручить дублёру подвиг всего, что должен сам исполнить при жизни — и потом.

Андрею Миронову удалось совершенство образа и судьбы. Известно, что он дочитал монолог Фигаро, доиграл свою роль до конца — уже без сознания, на пути в смерть. Это опровергает разумные и скудные сведения о смерти и бессознании. Остается — склонить голову.

Август 1987

Именно сейчас, в этот солнечный день, я вдруг вспомнила другой солнечный день вблизи Тбилиси. Мы были вместе с Нодаром Думбадзе, меня попросили посадить маленькое дерево на память. Мне сказали, что это дерево — клён. Я тогда была очень счастлива, весела и всех тех служителей парка просила: только, пожалуйста, никогда не забудьте о нём, всё-таки оно клён, оно, может быть, не очень приживётся здесь. Могла ли я думать при том ослепительном сиянии неба, при цветении земных произрастаний, могла ли я думать, что мне следовало печься всей душой не о дереве, которое в сохранности, а о том человеке, который стоит рядом со мной и смеется.

Я знаю Нодара столько, сколько помню себя в соотношении с Тбилиси, в соотношении с Грузией. Мы умели смешить друг друга. Когда он однажды хворал и мне сказали, что лучше его не беспокоить, я всё-таки помчалась к нему домой и стала шутить и говорить: „Ах, это всё пустое, Нодар! Ничего, как-нибудь всё это обойдется!“

Когда я печалилась, Нодар смешил меня. Я знаю, что он пришел для того, чтобы причинить людям радость, может быть, самой драгоценной чертой его человеческого таланта (я сейчас уже не говорю, что хорошо помню его блистательное литературное начало, то начало, которое принесло ему успех и всеобщее признание). Я думаю, что черта смеяться и смеяться как бы не над тем, что вокруг, а именно как бы над собой, смеяться над печалью, которая тебя именно осенила, может, и была той драгоценностью, которая входила в талант Нодара. Правда, я знаю, что, кроме того, что он сделал для людей как писатель, он старался

помочь им как-то иначе, то есть разными способами, поскольку у него были такие возможности, и знаю, как много он делал. Однажды, я помню, мы были участниками одной поездки, возвращались поездом в Тбилиси, и я ему сказала: „Нодар, ты хочешь помочь очень многим людям, и у тебя для этого есть самые разные способы и возможности, но не отвлекает ли это тебя от твоего художественного дела? Может быть, главная помощь, которую художник может оказать и причинить другим людям, — это только его творчество”.

Нодар тогда мне ответил: „Но иначе не выходит. Тот художник, который может художественно помочь людям, он нечаянно еще всасывается в разные проблемы человеческого существования и хочет им помочь даже в чём-то малом”.

Я говорила о том, что мы много смеялись, всегда, даже когда Нодар был болен. Я, кстати, всю его семью и детей его так люблю, и они это знают. И хочу сказать, что, если человек пришел на белый свет не для того, чтобы опечалить того, кто его видит и кто его слышит, пусть мы всегда будем думать о Нодаре Думбадзе как о человеке, который умеет смеяться, и тут просто несколько строчек из моего стихотворения: смысл так прост, что уста человека, которые даны ему для изъявления души, могут открываться только по благородному поводу, и, пожалуй, этими строчками я завершила бы то, о чём говорила:

Но если так надобно  
Снова, не зря, не для зла, неспроста,  
Но только для доброго слова, для смеха  
Откройте уста!

1987

## Милый, великий Тышлер

— Вы напишете о Тышлере?

— О, да!

„О” — это так, самовольное изъявление одушевленных лёгких, мнение любящего бессознания, не спросившего у старших ответственных сил, которым дана маленькая пауза, чтобы сильно увидеть, обежать ощупью нечто, чего еще вовсе нет, в чьем неминуемом наличии клянется твердое: „Да!”

Всё дело — в кратком препинании голоса, в препоне осознания, в промежутке, обозначенном запятой, на которую уйдут три времени года.

О — запятая — да.

Автор — всего лишь этого восклицания, усугубленного запятой, — недвижно сидит и смотрит в окно: на снег, на цветущую зелень, на шорох падающих листьев, сейчас — идет дождь.

Он так занят этим недвижным неотрывным взглядом, словно предполагает в нём трудовую созидательную энергию, соучаствующую в действиях природы, и, видимо, ждет от окна, что именно в нём сбудется обещание, данное им три времени года назад.

Он как бы смотрит на свою мысль, ветвисто протяженную вовне, соотнесенную с ним в питающей точке опоры. Разглядывая со стороны это колеблющееся построение, он усмехается, узнав в нём нечто мило-знакомое, не ему принадлежащее. Преданно помышляя о Тышлере, он зрительно превратился в его измышление, почти изделие: в продолговатый силуэт, простодушно несущий на голове прозрачную многослойную громоздкость, домики ка-



кие-то, флажки, колокольчики, человечков, занятых трудами и играми.

Весело покачивать надо лбом трогательное подобие земного бытия, приходится ему скромным основанием, опекающим его равновесие и сохранность. Остаётся взглянуться в это цветное нагромождение и с любовью описать увиденное.

Этому лёгкому труду предшествует бархатное затемнение, мягкая чернота, облекающая выпуклый золотой свет: ёлку, или сцену, или улыбку лица — подарок, для усиления нашей радости заточенный до времени в нежную футлярную тьму.

Почему это вступительное ожидание, чья материя — бархат, предваряет в моей памяти образ Тышлера? Не потому ли, что он, в нашем зрении, так связан с Театром — не со спектаклями, которые содеял, а с Театром вообще, с его первобытным празднеством, прельстившим нас до нашего детства: в общем незапамятном детстве людей?

Вот он говорит: „До сих пор я живу детскими и юношескими воспоминаниями. На меня очень подействовали народные театры, балаганы, народные праздники и представления”. — И добавляет: „Это очень важно”.

Я так и вижу эти слова на его губах, в его увлекательном лице, возымевшем вдруг наивно-важное выражение совершенной детской хитрости. Я видывала и слыхивала эти его слова, относящиеся к невидимым и неведомым подробностям сокровенного художества.

Думаю о нём — и улыбаюсь, вижу со стороны лицо, улыбку, не обозначенную чертой рта, зримое построение над головой, на голове: город, городá, ярмарка, флажки, кораблики, свечи, лестницы, переходы из одного в другое.

Лицо, — я сейчас вижу его как бы со стороны: незаметная улыбка, очевидное для невидимого очевидца построение над головой, моей же, — мысль о нём, о Тышлере. На этот раз — не метафора, ничего не могу поделать с явью, Александр Григорьевич.

Я ведь в окончательную смерть не верю — не в том смысле, что собираюсь уцелеть, быть, ещё раз быть, сбыться вновь, иначе. Смерть — подробность жизни, очень важ-

ная для живущего и жившего, для тех, кто будет и не будет живые. Что и как сбылось — так будет и сбудется, но я не об этом, Александр Григорьевич.

Просто сижу, улыбаюсь, вижу и вспоминаю. Построение над головой, иногда без четкой опоры на темя, вольно в небе, лучшее в мире, кроме самого этого мира, белый свет, уже во второй раз даруемый нам художниками. Без них, наивысших страдальцев, — как понять, оценить, возыметь утешение?

У Александра Григорьевича Тышлера была чуждая ребячливая улыбка, вернее: усмешка чуждого ребёнка, доброго, не лукавого, но не простоватого, претерпевшего положенный опыт многознания. Простодушно, но не простоумно, с превосходством детской хитрецы взирал он на события жизни, на гостей — я среди них видела только почитателей его, но до и без меня, он знал, видел и понимал, чему он приходится современником, жертвенным соучастником.

Построения на голове — мое неуклюжее, достоверное построение из головы, над головой главнейшее изъяснение мысли о Тышлере. Вот и сижу, улыбаюсь, вспоминаю...

80-е

## Дитя Тышлер

„Поэзия должна быть глуповата“, — Пушкин не нам это писал, но мы, развязные читатели писем, — прочли. Что это значит?

Ум — да, но не умственность суть родители и создатели искусства. Где в существе человека помещается и умещается его талант, его гений? Много надобно всемирного простора.

Но всё-таки это соотнесено с головой и с тем, что — над головой, выше главы, выше всего.

Тышлер — так рисовал, так жил. Всегда — что-то на голове: кораблики ли, театрики ли, городá, анти-корриды, женщины, не известные нам до Тышлера.

Эти построения на голове пусть разгадывают и разглядывают другие: радость для всех, навсегда.

Художник Борис Мессерер познакомил... представил меня Александру Григорьевичу Тышлеру и Флоре.

Я от Тышлера глаз не могла отвести. Я — таких не видела прежде. Это был — многоопытный, многоскорбный ребенок. Он говорил — я как бы слышала и понимала, но я смотрела на него, этого было с избытком достаточно.

Привыкнуть — невозможно. У меня над головой, главнее головы, произрастало нечто.

Александр Григорьевич и Флора приехали к нам на дачу. Как желала я угостить столь дорогих гостей: сварила два супа, приготовила прочую еду.

— Александр Григорьевич, Вы какой суп предпочитаете?

— Я съем и тот, и другой, и прочая...

Исполнил обещания и стал рисовать.

Однажды в пред-Рождественскую ночь в мастерской Мессерера — гадали: холодная вода, горячий воск.

Больно мне писать это. Были: обожаемый Юрий Васильев, художник, обожающий Тышлера (я знаю, так можно: обожаемый — обожающий), Тышлер, Флора, Боря и я.

Когда воск, опущенный Тышлером в воду, обрёл прочность, затвердел, Юрий Васильевич Васильев воскликнул или вскричал:

— Александр Григорьевич! У Вас из воска получается совершенство искусства. Позвольте взять и сохранить.

Александр Григорьевич не позволил и попросил? повелел? разрушить. Так и сделали. Не я. Борис и я — не гадали, я всё смотрела на Тышлера и до сих пор не насмотрелась.

Что он видел, гляючи на воск и воду? Судьбу? Она уже свершилась. Художник исполнил свой долг.

Александр Григорьевич подарил мне корабельный подсвечник.

— Вы не думаете, не опасаетесь, что я, на корабле, попаду в шторм?

— Всё может быть. У Вас будет подсвечник.

Всё может быть. Или не быть. Но у всех у нас есть устойчивый подсвечник. У всех есть Тышлер.

А почему — дитя?

Выражение, вернее — содержание лица и облика — детское многознание.

Смотрю на корабельный подсвечник: вот он.

Александра Григорьевича Тышлера вижу во сне. Вчера видела: глаз не могла отвести, пока глаза не открылись.

Март 1996

Евгения Семёновна Гинзбург умерла 11 лет назад. Я имела честь и счастье знать ее лично. И счастлива тем, что судьба дарит возможность многим людям тоже познакомиться с этой удивительной женщиной. Потому что хроника ее — совершенная исповедь, где нет ни одного слова лукавого или обольстительного. Где нет и тени опустошенности и озлобленности.

„Каторга! Какая благодать!” — называется одна из глав. Это строчка из стихотворения Пастернака. Весь свой восемнадцатилетний крутой маршрут Евгения Семёновна прошла со стихами в душе. Самые ужасные обстоятельства способен вынести человек, если ему есть чем жить внутри себя. Хотя бы стихотворной строкой.

Рукопись посвящена внуку Алёше. Так же звали и сына Евгении Семёновны, который погиб в детприёмнике для детей заключенных неизвестно когда и где. Какова же должна быть духовная оснащённость слабой женщины, чтобы вынести всё это и пронести через мученическую жизнь неисчерпаемый запас доброты?! Поверьте, вы найдете ответ в книге, которую я считаю дважды великой: и как талантливейшее художественное произведение, и как достовернейшую хронику величия человеческого духа.

Один из экземпляров рукописи хранится у меня много лет. В последний раз перечитывала ее полгода назад. Перечитывала, совершенно не веря в возможность публикации. И сейчас не смею поверить. А Евгения Семёновна Гинзбург верила всегда, о чём и написала в предисловии. И если это всё-таки произойдет, я буду считать себя совершен-

но счастливой. Потому и спешу поделиться своим счастьем с будущими читателями произведения, чье название и имя автора пока им ни о чём не говорят.

1988

Впервые я прочла „Москва–Петушки” много лет назад, в Париже, не зная автора и об авторе.

Мне дал рукопись, для прочтения за ночь, благородный подвижник русской словесности – урожденно русский, родившийся во Франции.

Но я-то не во Франции родилась. Вот он и попросил меня прочесть за ночь и сказать: каково это на мой взгляд? живут ли так? говорят ли так? пишут ли так в России?

Всю ночь я читала. За окном и в окне был Париж. Не тогда ли я утвердилась в своей поговорке: Париж не стоит обедни? То есть (для непосвященных): нельзя поступиться даже малым своеволием души – в интересах души. Автор „Москва–Петушки” знает это лучше других. Может быть, только он и знает.

В десять часов утра я возвращала рукопись.

– Ну что? – спросил меня давший её для прочтения.

Всё-таки он родился во Франции, и, с любовью оглядев его безукоризненно хрупкий силуэт, я сказала:

– Останется навсегда, как... Скажем: как „Опасные связи” Шодерло де Лакло...

Всё-таки он был совершенно русский, и мы оба рассмеялись. Он понял меня: я имела в виду, что прочтенное мной – сирота, единственность, не имеющая даже двоюродного родства с остальными классическими сочинениями. Одинокость, уникальность, несхожесть ни с чем.

Так – не живут, не говорят, не пишут. Так может только один: Венедикт Ерофеев, это лишь его жизнь, равная стилю, его речь, всегда собственная, – его талант.

Какое счастье – что талант, какая тоска – отчетливо

знать, что должен претерпеть его счастливый обладатель.

Свободный человек — вот первая мысль об авторе повести, смело сделавшем ее героя своим соименником, но отнюдь не двойником. Герой — Веничка Ерофеев — мыкается, страдает, вообразимо и невообразимо пьёт, существует вне и выше предписанного порядка. Автор — Веничка Ерофеев, сопровождающий героя вдоль его трагического пути, — трезв, умён, многознающ, ироничен, великодушен.

В надежде, что вещь эта всё-таки будет напечатана на своей родине, не стану касаться ее содержания. Скажу лишь, что ее зримый географический сюжет, выраженный в названии, лишь внешний стройный пунктир, вдоль которого следует поезд со всеми остановками. На самом деле это скорбный путь мятежной, любящей, царящей и гибельной души. В повести, где действуют питье, похмелье и другие проступки бедной человеческой плоти, главный герой — непорочная душа чистого человека, с которой напрямую, как бы в шутку, соотносятся превыспренние небеса и явно обитающие в них кроткие, заботливые, печальные ангелы. Их заметное присутствие в повествовании — несомненная смелость автора перед литературой и религией, безгрешность перед их заведомым этическим единством. Короче говоря, повесть — своим глубоким целомудрием изнутри супротивна своей дерзкой внешности и тем возможным читателям-обвинителям, которые не имеют главного, в суть проникающего взгляда. Я предвижу их пронизательные вопросы касательно „морального облика” автора. Предвижу и отвечаю.

Писатель Ерофеев поразительно совпал с образом, вымышленным мною после первого прочтения его рукописи. Именно поэтому дружбой с этим удивительным человеком я горжусь и даже похваляюсь.

1988



Слова заупокойной службы утешительны: „...вся прегрешения вольныя и невольныя... раба Твоего... новопреставленного Венедикта”...

Не могу, нет мне утешения. Не учили, что ли, как следует учить, не умею утешиться. И нет таких науки, научения, опыта – утешающих. Наущение есть, слушаю, слушаюсь, следую ему. Себя и других людей утешаю: Венедикт Васильевич Ерофеев, Веничка Ерофеев, прожил жизнь и смерть, как следует всем, но дано лишь ему. Никогда не замарав неприкосновенно опрятных крыл души и совести, художественного и человеческого предназначения тщетой, суетой, вздором, он исполнил вполне, выполнил, отдал долг, всем нам на роду написанный. В этом смысле – судьба совершенная, счастливая. Этот смысл – главный, единственный, всё справедливо, правильно, только почему так больно, тяжело? Я знаю, но болью и тяжестью делиться не стану. Отдам лишь лёгкость и радость: писатель, так живший и так писавший, всегда будет утешением для читателя, для нечитателя тоже. Нечитатель как прочтёт? Вдруг ему полегчает, он не узнает, что это Венедикт Ерофеев взял себе печаль и мýку, лишь это и взял, а всё дарованное ему вернул нам не насильным, сильным уроком красоты, добра и любви, счастьем осознания каждого мгновения бытия. Всё это не в среде, не среди писателей и читателей происходило.

Столь свободный человек – без малой помарки, – он нарёк героя знаменитой повести своим именем, сделал его своим соименником, да, этого героя повести и времени, страдающего, ничего не имеющего, кроме чести и благородства. Вот так, современники и соотечественники.

Веничка, вечная память.

1990

*Белла Ахмадулина*

На мгновение забудем о Моцарте. Написала так, не забыла, а вспомнила, слышала таинственный, укоряющий, непре-рекаемый звук и нечаянно вникала в пристальный труд Аль-фреда Эйнштейна „Моцарт. Личность. Творчество”. Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы далее и ниже не тре-вожить имя Моцарта, оставить его в стороне надземного обитания.

На этот раз — я только о Генрихе Сапгире. Соседствуя с ним во времени и месте жительства, я всегда радовалась его таланту, не однажды смеялась от радости, что — талант: люди, не оснащенные этим свойством и качеством, не уме-ют рассмешить собеседника и читателя. Я приходилась ему и тем, и другим, но между Сапгиром и широким кругом чи-тателей неопределенно выделялась и четко ощущалась пре-пона, не зависящая от достоинств автора и этого возмож-ного круга. Какая-то часть его творчества распространялась устной оглаской и стала сведением наслышки, имуществом сознания наподобие фольклора. Но многие дети (и мои) хорошо знают его сочинения и соответственно остры умом, отвергающим заведомую и насильную схему. Независимая игра мысли и вольность усмешки над предписанной, а не выбранной неоспоримостью изначально составляют дар Сапгира и наверняка осложняли сюжет его существования и благоденствия.

Я из тех, кто считает дар другого человека даром всем нам и мне, и ответно желаю пригодиться хотя бы скром-ным соучастием и добрым словом.

1988

Однажды, давно уже, безымянное ощущение безысходности было во мне так велико и громоздко, что душа моя сторицалась меня, зная или догадываясь о возбраненном грехе отчаяния. Темя и прочее тело остались пустырём, безвластным вместилищем тоски: невспомогательный мозг терпел, но не объяснял, уживчивая плоть клонилась, выискивая опоры для горба, для ниспосланной лишней ноши, которую некуда деть. Вся эта конструкция вчуже казалась мне неприглядной, но она проста: согбенный хребет человека, низко опустившего лицо в ладони, еще не знающего, но уже унюхавшего... что? что?

Сначала, сквозь ладони — не фильтр, а сопричастный усилитель — в суверенное и совершенное устройство ноздри, грубым нашатырём против вялого обморока воли, явился в ум и потряс его многосложный запах всего огорода жизни, задиристо главенствовал и окликал обоняние укроп. Это не укор был и не упрёк огороженной природы, а просто укроп, которым пахли стол и руки. На перекрёстке той ночи и этой, в той же местности и на том же месте, возвращаю себе неразымаемую гущину запаха, вкуса, цвета и звука.

Всё снег да снег, — терпи и точка.  
Скорей уж, право б, дождь прошел  
И горькой тополевой почкой  
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,  
Укропу к супу б накрошил,

*Белла Ахмадулина*

Бокалы — грохотом вокабул,  
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку...

В ту ночь я не думала об этих стихах, да и можно ли осмыслить немислимое лакомство невыговариваемости: „Укропу к супу б накрошил”? Да и не об этом я сейчас, не об этой замкнутой музыке препинаний, равно питающей слух, нюх, взгляд и ощупь, — только будемте нежны и осторожны, пожалуйста.

В ту ночь, давно уже, я извлекла лоб из ладоней и увидела на потолке плеск и блеск воды. Обещанная „латынь ливня” жила в саду за окном и отражалась в потолке Его Венецией...

80-е

## ЛИЦО И ГОЛОС

Давай ронять слова,  
Как сад — янтарь и cedру,  
Рассеянно и щедро,  
Едва, едва, едва.

*Борис Пастернак*

Я так сижу, я так живу, так я сижу там, где живу, что сто́ит мне повернуть голову, я сразу же увижу это Лицо, лучшее из всех прекрасных лиц, виданных и увиденных мной на белом свете. Лицо — шедевр (пишем по-русски) создателя (пишем с маленькой буквы, преднамеренно, потому что я не о Боге сейчас, не только о Боге, но и о сопутствующих обстоятельствах, соучастниках, неизвестных вспомогателях создателя, ваятеля этого Лица).

Живу, сижу, головы не поворачиваю, может быть, сейчас поверну и узнаю, чего сто́ит шее маленький труд повернуть голову и увидеть Лицо. Н-н-н-не могу.

Но Лицо смотрит на меня. Не на меня, разумеется, а в объектив когда-то (1921 год) фотографа, и потом на всех — с вопросительным, никого не укоряющим недоумением.

Не провиниться перед этим Лицом, перед этим никого ни в чём не укоряющим взглядом, перед вопрошающим значением глаз — жизнь моя ушла на это. Ушла, всё же сижу, живу, а головы повернуть не могу, не смею. Провинилась, стало быть.

Но какое счастье — его детство, его юность, Марбург, несчастная любовь, Скрябин — „шаги моего божества”.

Да, „шаги моего божества” — вот в чём смысл бессмысленного писания, разгадка и моей тайны, которую не хочу предать огласке.

А я и не разглашаю ничего. Но я не скрываю воспоминания о том дне, когда я впервые увидела его лицо и слышала его голос. Это вечером было, зимою 1954 года, в клубе МГУ.

*Белла Ахмадулина*

У меня не было такого детства, из которого можно выпутаться без сторонних, высших вмешательств. Не выжить, я имею в виду, что было почти невозможно, „почти” — вот как вкратце на этот раз упоминаю всех и всё, упасших и упасшее мою детскую жизнь. О, я помню, простите меня.

Но, выжив, — как, кем и зачем я должна была быть? Это не такое детство, где изначально лелеют слух, речь, совесть, безвыходную невозможность провиниться. Да, бабушка у меня была, Пушкин, Гоголь, Лермонтов были у меня, но где и как — это другое.

Я ходила в Дом пионеров — с Варварки, через Ильинский сквер, вдоль Маросейки на Покровский бульвар — чудный этот дом теперь не пионеров, других постояльцев — сохранен, как я люблю его первых обитателей, в каком-то смысле — тоже пионеров, да простят они мне развязную шутку.

В Доме этом действовали несколько студий, называемых „кружками”: литературная, драматическая и „изо”, для художников. Усмехаясь над собою, а не над художниками, впервые написала „изо” — Леонид Осипович Пастернак не догадался бы, что это значит, но милый и знаменитый Валерий Левенталь — догадается, ежели спросить, — он начал там свой художественный путь.

Детство — при загадочных словах, не в мастерской на Мясницкой.

Я прилежно ходила в этот дом для двух разных, родственных, двоюродно-враждебных занятий. Про драмкружок — потом, в другом месте и случае, но спасибо, спасибо, Екатерина Павловна.

Литературная же студия, кружок наш, как теперь я думаю, был весьма странен для той поры. Его попрекали, упрекали, укоряли и потом, при взрослой моей жизни — „декаденты”, дескать. И то сказать — имя одного мальчика: Виталий Неживой. Надеюсь, жив он, хочу, чтобы благоденствовал. Мы все писали что-то заунывное, „загробное”, мрачное. Смеюсь: в то же время, иногда — одновременно, в соседней комнате бывшего особняка я изображала Агафью Тихоновну, „даму приятную во всех отношениях”, домработницу из пьесы В. С. Розова — и возвращалась в „загробную

комнату”. Два этих ампула и теперь со мною — если бы мне было дано совершенно подражать великим людям, я бы не сумела выдумать ничего лучше, чем смех уст и печаль глаз.

Был там и другой мальчик, из этого кружка, из другого, как говорят, круга. Очень умственный и просвещенный мальчик.

Да, умственный мальчик из другого круга, тоже писавший стихи, всем изначальным устройством своим нечаянно опровергающий мимолётность слов из письма: „поэзия должна быть глуповата”.

С ним, зимою 1954 года, я вошла в клуб МГУ — ему было известно имя того, кто стоял на сцене, в библиотеке его семьи (может быть, несчастной?) были книги стоявшего на сцене, но он не любил их, или сказал так.

Зал был пуст. Три первых ряда занимали — теперь и давно я знаю: кто и как прекрасны. Тогда я не знала ничего, но происходившее на сцене, происходившее на сцене... то есть это уже со мной что-то происходило, а на деревянном возвысии стоял, застенчиво кланялся, словно, да и словами, просил за что-то прощения, пел или говорил, или то и другое вместе, — ничего похожего и подобного я не видела, не увижу и никто не увидит. И не услышит.

Пройдет несколько лет, я прочту все его книги, возможные для чтения в ту пору, стихотворения (в журнале и во многих переписанных и перепечатанных страницах) и увижу его лицо и услышу его голос еще один раз, осенью 1959 года.

Мелкую подробность моей весны того года не хочу упоминать за ничтожностью, но пусть будет: из малостей состоит всякий сюжет, из крапинок — цвет. Велели — отречься от него. Но какое счастье: не иметь выбора, не уметь отречься — не было у меня такой возможности. Всего лишь — исключили из Литературного института, глумились, угрожали арестом — пустое всё это. Лицо его и голос — вот перед чем хотелось бы не провиниться, не повредить своей грубой громоздкостью хрупкости силуэта, прочности осанки, — да не выходит.

## Памяти Бориса Пастернака

Начну издалека, не здесь, а там,  
начну с конца, но он и есть начало.  
Был мир как мир. И это означало  
всё, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, —  
так невелик и всё-таки обширен.  
Там, прихотью младенческих ошибок,  
всё было так и всё наоборот.

На маленьком пространстве тишины  
был дом как дом. И это означало,  
что женщина в нём головой качала  
и рано были лампы зажжены.

Там труд был лёгок, как урок письма,  
и кто-то — мы еще не знали сами —  
замаливал один пред небесами  
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом  
был он повинен. И земля летела  
неосторожно, как она хотела,  
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —  
какая разница? — пред белым светом,  
позволив нам не хлопотать об этом,  
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел  
возник над миром, около восхода,  
толчком заторможенная природа  
переместила тяжесть наших тел.



Объединенных бедною гурьбой,  
врасплох нас наблюдала необъятность,  
и наших недостойнств неприглядность  
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те  
два мальчика в рубашках полосатых  
без робости вступали в палисадник  
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,  
но я чужда привычке современной  
налаживать контакт несоразмерный,  
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь  
смотреть на дом и обращать молитву  
на дом, на палисадник, на малину —  
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была  
лишь следствием, но не залогом лета.  
Тогда еще никто не знал, что эта  
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,  
я шла в деревья, в неизбежность встречи,  
в простор его лица, в протяжность речи...  
Но рифмовать пред именем твоим?  
О нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских деревьев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На нём был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: „О, здравствуйте! Мне о Вас рассказывали, и я Вас сразу узнал. — И вдруг, вложив в это неожиданную силу

переживания, взмолился: — Ради Бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!” Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из крошечной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: „Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?” — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спиной и ладонями я впитывала диковинные приёмы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округло-любовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов вместе по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он легко, по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, сверкающими звёздами, с впадиной на месте луны, с кое-как поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: „Отчего Вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — Вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра”. От низкого головокружения, овладевшего мной, я ответила надменно: „Благодарю Вас. Как-нибудь я непременно зайду”.

Из леса, как из-за кулис актер,  
он вынес вдруг высокопарность позы,  
при этом не выгадывая пользы  
у зрителя, — и руки распростёр.

Он сразу был театром и собой,  
той древней сценой, где прекрасны речи.  
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи  
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —  
не холодно ли? — вот и всё, не боле.  
Как он играл в единственной той роли  
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!  
всерьёз! до слёз! навеки! не лукавя! —  
как он играл, как, молоко лакая,  
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми  
не принято. Но так поют у рампы,  
так завершают монолог той драмы,  
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещают тьму!  
Еще не всё: — Так заходите завтра! —  
О тон гостеприимного азарта,  
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,  
куда войти — не знаю! невозможно!  
И потому, навек неосторожно,  
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звёзд, дерев и дач —  
после спектакля, в гаснущем партере,  
над первым предвкушением потери  
так плачут дети, и велик их плач.

\* \* \*

Он утверждал: „Между теплиц  
и льдин, чуть-чуть южнее рая,  
на детской дудочке играя,

живет вселенная вторая  
и называется — Тифлис”.

Ожог глазам, рукам — простуда,  
любовь моя, мой плач — Тифлис!  
Природы вогнутый карниз,  
где Бог капризный, впав в каприз,  
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,  
брала разбег моя ошибка,  
когда тот город зыбко-зыбко  
лѐг полукружьем, как улыбка  
благословенных уст Тамар.

Не знаю, для какой потехи  
сомкнул он надо мной овал,  
поцеловал, околдовал  
на жизнь, на смерть и наповал —  
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры  
не пить мне!  
И из вод Арагвы  
не пить!

И сладости отравы  
не ведать!  
И лицом в те травы  
не падать!

И вернуть дары,  
что ты мне, Грузия, дарила!

Но поздно! Уж отпит глоток,  
и вечен хмель, и видит Бог,  
что сон мой о тебе — глубок,  
как Алазанская долина.

## Метель

Февраль — любовь и гнев погоды.  
И, странно воссияв окрест,  
великим севером природы  
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,  
открыв длину и ширину,  
берёт себе непринужденно  
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно выюжит! Не иначе —  
метель посвящена тому,  
кто эти деревья и дачи  
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное течение,  
сосну, понурившую ствол,  
в иное он вовлѣк значенье  
и в драгоценность произвѣл.

Не потому ль, в красе и тайне,  
пространство, загрустив о нём,  
той речи бред и бормотанье  
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,  
вдруг, на мгновенье, прервалась  
меж домом тем и тем кладбищем  
печали пристальная связь.

Май 1989

О Николае Эрдмане, о его трагической судьбе — как общей, обязательной для всех, кто так или иначе причастен этому времени, — думают, воздумают, пишут и напишут.

Эти биографические и исторические сведения уже могут быть доступны вниманию неленивого читателя. Я — лишь о том, что я помню и знаю.

Впервые я увидела Николая Робертовича Эрдмана днём расцветшего лета в посёлке Красная Пахра, вблизи Москвы. Я относительно молода была, но его имя, бывшая слава, две пьесы, стихи и сюжет судьбы — были мне известны: понаслышке и недозволенному чтению. Николай Робертович в ту пору снимал малый домик в этом посёлке, времянку, или сторожку, как принято говорить в дачных местах. Временка эта, или сторожка, наверное, и теперь сохранна во времени, пусть живет-поживает, сторожит воспоминания. Уверена, что хозяева ее больших денег с постояльцев не брали.

Соседи этого условного обиталища Верейские (художник Орест Георгиевич и жена его Людмила Марковна) сказали мне, что Николай Робертович приглашает меня увидеться с ним. Не совсем так — его тишина, скромность и любезность превосходят мою почтительность. Я пришла — он не сразу вышел, или я пришла раньше, чем указали, а он вышел из комнаты, но несколько минут оставалось до встречи. Там висела ситцевая занавеска, отделяющая кровать. Из-за ситцевой изгороди вдруг протянулась рука и донесся слабый голос: „Подойдите сюда“. Это были рука и голос матери жены Эрдмана, Инны. Оказалось, что именно ей, не зная ее имени, по просьбе ее подруги, я послала письмо и стихи, когда она претерпевала тяжелый инфаркт. Незначи-

тельное мое послание она приняла за ободряющую, сторонне спасительную весть. Я упоминаю эту подробность не потому, что спешу отправиться в ад, где найдется место и тому, кто сделал как бы что-то доброе и предал это огласке, — такое добром не считается, совсем наоборот. Нет, потому лишь упоминаю, что жизнь, в проживании ее и описании, состоит не из расплывчатой бесформенности, а из точной совокупности подробностей, из суммы их, где важны лишь слагаемые.

Что-то безвыходное, обреченное было указано и продиктовано мне той рукой, тем голосом. Не меня касалось предопределение, но сбылось.

И сейчас вялый одушевленный ситец, тогда сокрывающий кровать и болезнь старой женщины, с которой заведомо соотнес меня любовный произвол неведомого сценариста и постановщика, отвлекает память зрения от яркого летнего дня, от ожидаемого и неожиданного лица и силуэта. Николай Робертович вошел, занавеска еще пестрела и рябила в глазах, но правая ладонь уже приняла в себя благовоспитанность, кротость, доброжелательность рукопожатия. Его урожденная хрупкость, поощряемая, если так можно сказать, обстоятельствами жизни и потом доведенная до совершенства, — не знаю: восхитила или испугала меня. Такая бесплотность — изящная доблесть, но и несомненная выгода в условиях, где и когда не дают есть или нечего есть. Малым прокормом обходится такая лёгкая плоть. Лицо содеяно не из броской видимости примет и очертаний, первый взгляд читает... да, пожалуй так... давнюю привычку лица не открываться для беглого прочтения.

Теперь я это ясно вижу. Прошло более четверти века, не впустую для меня. Капля воды не похожа на каплю воды. Лицо человека не похоже на лицо человека. Но есть общность выражения, присущая лишь тем, кто не сразу открывает для других тайнопись лица, не разбрасывается ладонью для приветствия, не позволяет голосу оговорок. Милостью судьбы считаю, что не удалось пребыть вчуже, створки лица не сомкнулись предо мной, следуя многоопытной опаске: содержание глаз — выражение любви, доброты, печали и прощения.

Пройдет тот летний день, наступят и пройдут другие дни, мы станем часто видеться, и Николай Робертович скажет мне про хрупкость и незащитность, которые я любила и понимала как отвагу, противостоящую оскорблению: „Может быть, надо было не литературным занятиям предаваться, а упражнениям, укрепляющим оборонительные мышцы?” Приблизительно так, и, конечно, он шутил — с той милой, не явной усмешкой, свойственной избранникам, смеющимся не над другими.

В доме Родам Амирэджиби, вдовы Михаила Светлова и сестры известного писателя, не понаслышке знающей то, о чём речь, Николай Робертович читал вслух пьесу „Самобийца”. Пьеса, написанная им не свободно, но как изъяснение попытки художника быть свободным, — в его одиноком исполнении была шедевр свободы артистизма. Особенно роль главного героя, бедного гражданина Подсекальников, в тот вечер удалась трагически усмешливому голосу Эрдмана. Неповторимый затаенный голос измученного и обреченного человека как бы вышел на волю, проговорился. Знаменитый артист Эраст Гарин, близкий Эрдману, умел говорить так, в честь дружбы и курьёза их общего знания, но и это навряд ли сохранилось, прошло.

В этом месте страницы нечаянно вижу прекрасное лицо Михаила Давыдовича Вольпина, самого, сколько знаю, близкого Николаю Эрдману человека. Только его могу я спросить: так ли? нет ли неточности какой? С безукоризненным достоинством съёс он долгую жизнь и погиб летом прошлого года в автомобильной катастрофе. Он тоже не имел обыкновения лишнего с лишними говорить. Но, если закрываю глаза и вижу его прекрасное лицо, — всё ли прошло, всё ли проходит?

Лето же, и несколько лет, — проходили. Инна и матушка ее, оправившаяся от болезни, затеяли строить дом в том же посёлке, на его окраине. Мысль о доме, здравая, обнадеживающая, всегда естественная для человечества, — в том случае ощущалась мной как каторга: неподъемность, бессмысленная громоздкость, преодолеваемая лишь Сизифом для подвига и мифа.

Деньги, надобные для жизни, Николай Робертович



зарабатывал тем литературным трудом, который особенно труден, потому что не освободителен, не утешителен для автора. Сразу же четко замечу, что жена его и теща не были корыстны, были добры и щедры. Многие обездоленные животные, собаки и кошки, также растения обрели неисчислимую долю любви и приют вблизи строящегося дома. Просто — не об участке, об участии речь, о несчастьи, диким и убогим памятником которому стоит этот дом, не знаю, кому принадлежащий. В нашей общей местности, или в моей, как истолкуем английскую поговорку про дом и крепость? Всё — пустое.

Один вечер радости всё же был в этом доме на моей памяти. Нечто вроде новоселья, но Николай Робертович не имел дарования быть домовладельцем. Среди гостей — Михаил Давыдович Вольпин, Андрей Петрович Старостин, Юрий Петрович Любимов, никогда не забывавшие, не покидавшие своего всегда опального друга.

В последний раз я увидела Николая Робертовича в больнице. Инна, опустив лицо в ладони, сидела на стуле возле палаты. Добыванием палаты и лекарств занимался Юрий Петрович Любимов. И в тот день он добыл еще какие-то лекарства, тогда уже не вспомогательные, теперь целебные для меня как воспоминание — добыча памяти со мной.

Я вошла. Николай Робертович уже подлежал проникновению в знание, в которое живые не вхожи. Всею любовью склонившись к нему, я бессмысленно сказала: „Николай Робертович, Вы узнаете меня? Это я, Белла”. Не до этого узнавания ему было. Глядя не на меня, не отсюда, он сказал: „Принесите книги”. Дальше — точно. „Какие книги, Николай Робертович?” — „Про революцию... Про гражданскую войну... Я знаю... Они напечатают... Поставят...” Слова эти были произнесены человеком, совершенно не суетным при жизни, лишь усмешку посылавшим всякой возможной поблжке: публикации ли, постановке ли. Но это уже не при жизни было сказано. Художественное недосказание и есть подлинная трагедия художника, а не жизнь его, не смерть. Так я поняла это последнее признание и предсказание.

Но, пока строился упомянутый дом, — был у меня день

совершенного счастья, вот каков был. Растения росли, животные ластились к человеку, боле других помню большого дворнягу с перебитой и исцеляемой, уже исцеленной лапой, звали: Рыжий. Другие собаки и кошки сновали возле, цвели цветы (ими, животными и растениями, был полон участок). Дом, ни в чём, кроме тщетности усилий не повинный, — возводился.

Николай Робертович и я сидели вдвоём в... что-то вроде беседки уже было возведено или осталось от чьей-то бездомности, домовитости. Сиял день — неопишемого золотого цвета, отраженный в рюмках коньяка, в шерсти оранжевой собаки, в бабочке, доверчиво сомкнувшей крылья на грани отблеска, в этом лишь гений бабочки сведущ.

Если назвать беседкой прозрачное укрытие, сплетение неокрепших вьющихся растений, всё же не назову беседой мое молчание и радость смотреть на моего собеседника, на цвет дня, на солнце, наполняющее рюмку в его изящной руке...

Тот день счастья, с его солнцем, растениями, животными, — навсегда владение тех, о ком вспоминаю и думаю с любовью.

Январь 1989

Никто ни на кого не похож. Одно не похоже на другое. Капля воды лишь для незорких похожа на соседку: на каплю воды.

Но совпадения — бывают.

Когда я в первый раз увидела Александра Вампилова (я уже читала написанное им, и „Утиную охоту”) — он стоял спиною ко мне, лицом к Даугаве, ловил рыбу на удочку. Ничего он не поймал, а я сильно любовалась им. Он обернулся — мы засмеялись от совпадения глаз и скул, от грядущих шуточек и печали.

У Шукшина Василия Макаровича тоже были глаза и скулы, большого значения.

Скулы Динары — отсутствие щёк, отсутствие всего лишнего, мешающего глазам. Глаза — вот и вся Динара. Отсутствие плоти, присутствие глаз.

Много, много лет назад, робко коснувшись моей руки, как бы не смея просить помощи и совета, Динара сказала мне: „Я скоро умру”.

В этом была такая детская вопросительность, такая просьба о жизни.

Ей предстояла жизнь, впереди у нее были успех, радость — но как помню я биенье пульсов в ее хрупкой руке, в маленьких косточках запястья. Так всё билось и дрожало, так безутешно темнели глаза.

Любой человек, который пытался спасти птицу, залетевшую в дом, не умеющую из дома вылететь, разбивающуюся о закрытое стекло или о зеркало, не умеющую вылететь в открытое окно по ошибке птицы, чей гений поведет ее потом через океан и обратно, — любой такой человек, взяв-

ший в руку птицу для выпуска, знает, как предсмертно бьется ее сердечко, все множества ее пульсов.

Так в моей руке — мгновение всего лишь — обитала и трепетала рука, ручка Динары.

Я строго сказала: „Вы ошибаетесь, успокойтесь. Это — тахикардия, при этом можно жить столько, сколько нужно“. На самом деле навряд ли я точно так думала и точно так сказала.

Мы тогда обе были бездомны — Динара с Колей, и я сама по себе, и другие люди, не имевшие приюта, и собаки, и кошки — мы все тогда жили у великодушных и терпеливых Россельсов.

Но мое бездомье, совершенно искреннее, с взглядом моим на окна, где горят люстры и мебель, наверное, отражает свет люстр и торшеров, — бездомье это нравилось мне, было моей художественной прихотью, своеволием, да и неплохо жилось мне у Россельсов.

Но у Динары было еще художественное отчаяние, безвыходное, как ей казалось. Да и я, жалея и губя трепещущую птичку ее руки, врала ей как умею: обойдется! всё остальное приложится!

У меня было всё, что мне надобно для писания и летания, Россельсы всё давали: еду, питье, бумагу — только пиши, только летай. Но Динаре, по ее обреченности к ее роду занятий, нужны были: студия какая-нибудь, оператор, множество аппаратуры или хоть сколько-нибудь чем снимают, и позволение снимать. И ничего этого не было. Были только глаза и скулы. Скулы обострились, глаза увеличивались. Впрочем, в остроте ее скул были плавность, мягкость, уступчивость. Что это: уступчивость? По-человечески — это заведомое уважение к другому лицу, к другой личности, я всё уступаю Вам, Вы говорите, я молчу. Вежливость, короче говоря. Но — режиссёр? Только воля и сила режиссёра могут содейть из изначального безволия, бессилия артиста волю, силу, свободу...

Прошло некоторое время. Я стала счастливым зрителем и очевидцем успехов Динары Асановой...

1989

Я приняла весть и убрала лицо в ладони. Не то чтобы я хотела утаить лицо от людей: им не было до меня дела, ведь это было на берегу моря, люди купались, смеялись, пререкались, покупали разные предметы, покрикивали на детей, возбужденных припёком юга и всеми его соблазнами, так или иначе не вполне дозволенными. Я услышала сильную, совершенную тишину. Неужели дети и родители наконец послушались друг друга? Нет, просто слух мой на какое-то время стал невменяем, а внутри стройно звучало: „Прощай, свободная стихия...” Пора домой, на север, но звучание это, прозрачной музыкой обитающее в уме, на этот раз, наверное, относилось к другому прощанию. Среди людей и детей, вблизи или вдалеке от этого чудного бедного моря, где погибают дельфины, я никогда не встречала столь свободного человека, каковым был и пребудет Сергей Параджанов.

Я еще сижу, закрыв лицо руками, у меня еще есть время видеть то, что вижу. Вот я в Тбилиси, поднимаюсь круто вверх на улицу Котэ Месхи. Я знаю, что не застаю обитателя комнаты и веранды, он опять в тюрьме, он виноват в том, что — свободен. Он не умещается в предложенные нам обстоятельства, он вольный художник, этой волей он заполняет пространство и тем теснит притеснителей, не знающих, что это они — обитатели той темницы, где нет света, добра, красоты. Нечто в этом роде тогда я написала в единственном экземпляре, лучше и точнее, чем сейчас. Письмо такое: просьба, мольба, заклинание. Может быть, оно сохранны. Вот опять я поднимаюсь в обожаемое место любимого города, а сверху уже раздаются приветственные крики, сам по себе накрывается самобраный стол, на всех людей,

на меня, на детей моих и других сыплются, сыплются насильные и нежные подарки, всё, что под руку попадет. А под руку ему попадает то, что или содеяно его рукой, или волшебным одушевлено ее прикосновением. При нём нет мёртвых вещей. Скажем: крышечки из фольги для молочных и кефирных бутылок, небдительно выкинутые лагерными надзирателями. А на них выгравированы портреты товарищей по заключению: краткие, яркие, убедительные образы. Дарил он не крышечки эти, для меня драгоценные, всё дарил всем, и всё это было изделем его души, фантазии, безупречного и безграничного артистизма, который трудно назвать рукоделем, но высшая изысканность, известная мне, — дело его рук. Избранник, сам подарок нам, — всенепременно даритель. Столь предаваясь печали, застаю на своем лице улыбку. Он и меня однажды подарил: взял на руки и опустил в окно квартиры, где сидела прекрасная большая собака. Она как-то смутилась и потупилась при вторжении подарка. Через некоторое время, открыв ключом дверь, вошли хозяева. Собака и я сидели с одинаково виноватым выражением. Хозяева несколько не удивились и стали накрывать стол. Параджанов недалёким соседом приходился им, и всё это было в Тбилиси.

Я имела счастье видеть его в Грузии, в Армении и в Москве, где всегда жестко и четко меня осеняла боль предчувствия или предзнания. К чувству и знанию боли мне еще предстоит притерпеться.

Параджанов не только сотворил свое собственное кино, не похожее на другое кино и ни на что другое, он сам — был кинематограф в непостижимом идеале, или лучше сказать: театр в высочайшей степени благородства, влияющей даже на непонятливых зрителей.

Вот, поднимаю лицо. Всё так, как следует быть. Люди купаются, пререкаются, покупают, покрикивают на кричащих от радости детей. Да будут они благословенны! Я всё слышу, но глаза видят препону влаги. Между тем — прямо перед ними ярко и хрупко алеет цветок граната. „Цвет граната” — это другое. Но здесь сейчас цветет гранат.

Июль 1990

## ЧАС ДУШИ

...НАСТАНЕТ час души!

*Анастасия Цветаева. „Утешение”*

В глубокий час души,

В глубокий — но́чи...

(Гигантский шаг души,

Души в но́чй.)

*Марина Цветаева. „Час Души”*

27 сентября — День рождения Анастасии Ивановны Цветаевой. 99 лет назад в семье Ивана Владимировича Цветаева и Марии Александровны, урожденной Мейн, родилась дочь, при крещении наречённая Анастасией. Старшей сестре ее Марине было два года. Какая радость написать это на бумаге, прочесть и заново узнать то, что всем известно, как ободряющую и восхитительную новость.

8 сентября 1993 года выше постижимой высоты, утешительно, да, но и терзающе — или так не позволительно сказать? — звучали слова заупокойной службы в храме Николая в Пыжах, на Ордынке. Особенно, не стесняя силы собственного, личного чувства, служил отец Александр. В проповеди помянул он всех тех неисчислимых, родных, знаемых или для нас безымянных, навсегда оставшихся в стылой земле насильного севера, да и повсюду в нашей земле. Опасаюсь неточности или несправедности изъяснения, но возрастающая сумма всех моих пульсов, нервов, грехов, отяжелевших глаз, лиц, заслоненного рукой, стала неприлично чрезмерной и виновной пред гармонией священного обряда. Сложное это непригожее месиво болезненно сторонилось жара свечей, взглядов, касаний, обращений шепотом, на которые не снисходило отвечать, едва не приняв за толчею бедное, единственное, возлюбленное человечество. Иному кому-нибудь зачем здесь быть? Велико ли множество, притиснувшее меня к стене возле входа, по сравнению с прочим, обратным и бóльшим множеством, — не знаю, но его совершенно довольно, дабы не впасть в опасно близкий и заманивающий смертный грех уныния, отчаяния. Чрез потупленные головы я не могла и

*Белла Ахмадулина*

не тщилаась увидеть ту, к которой пришли, зрячий и зримый, для робкой ошупи внятнй свет главенствовал в воздухе церкви и над: заведомо простившая всех, и бывших гонителей, мучителей своих, очевидно продолжала прощать и любить. На паперти я тупо, с отвращением к замаранности суетой, воззрилась на неузнаваемый и неуместный предмет микрофона. Нечто похожее ощущаю я и сейчас, когда пишу: если и следует предавать огласке, то — как? дана ли мне такая возможность?

При стройном многолюдии, при хладном блеске ранней осени свершилось отпевание новопреставленной рабы Божией Анастасии. Но я ведь о новорожденной Анастасии. Этот сентябрь на исходе, а тот не пройдет никогда. Какая радость принять щекою его острую свежесть, а жадным вместительным зрачком — зеленый двор и дом в Трёхпрудном переулке. Не удалось разрушителям преуспеть во зле: как это — нет, если ярко и выпукло вижу тополиный двор, комнаты и закоулки дома, залу, рояль, лестницу, вверх по которой шелестит быстролётным шелком прелестная, навсегда прекрасная Лёра, даже бело-голубую молочную кружку вижу как трогаю, ласкаю. В том сентябре Марине два года, мне — по ее младенческой фотографии, подаренной Анастасией Ивановной, близким — из близи, видна ли особая мета, осеняющая чудный облик ребенка? Не надо! Стану смотреть на избыточно счастливую, роскошно данную длительность времени, словно дающий загодя знал, за что, за какое грядущее дарит, осыпает, как бы ничего не оставляя про запас. Сумерки Сочельников, сверканья Рождества, книги, альбомы, гравюры, портрет Наполеона в киоте, свирепо защищенный старшей дочерью от гнева ужаснувшегося отца.

На „Песочную” дачу стану любоваться сколько хочу, хоть сама стояла на останках ее фундамента, где резвилась танцплощадка дома отдыха имени Куйбышева, разыгрывалась викторина, спрашивалось: „Какой крейсер...?”, и один прыткий старик сразу догадался — какой. Во мне прочней, чем в почве склона, ведущие к Оке ступени, вырубленные Сережей Иловайским. Милые, обречённые Сережа и Надя Иловайские, для них та длительность оказалась краткой,



но вот ненаглядность их лиц — жива. „...Я хочу воскресить весь тот мир — чтобы все они не даром жили — и чтобы я не даром жила!” Так написала Марина Цветаева, так поступили обе сестры, и детище их отца, „младший брат” их — МУЗЕЙ — заглавно белеет среди их Москвы, удостоверяя мои сбивчивые речи. Открытка от Анастасии Ивановны к Софии Исааковне и Юдифи Матвеевне Каган: „Проходя по Волхонке, вспомните нашего с Мариной отца... (Волхонка, 12)... Споры филологов из папиного кабинета, как мамина рояль (вся классическая музыка!), питали детство, как земля питает росток... Но — самое главное, Юдя, никаких падений духа, от неудач, первых, вторых, третьих, — неудачи неизбежны и даже обязательны для человека!” Обратный адрес — загадочные цифры какие-то, но, если разгадать их, получится Дальлаг (1945 г.).

Какая радость, что родилась! Когда вскоре крестили и так же свет стоял в церкви, увидела ли высшая любовь и опека, каков утешающий — и утешит — крест над купелью? В 17-м году, почти одновременно, смерть мужа и сына, три ареста, тюрьмы, десять лет лагерей, ссылки, „вечное поселение” — до 1956 года, и худшее: смерть сестры, о которой узнала от вещего сна, но от людей два года спустя, в лагере. В этом году — смерть старшего сына Андрея Борисовича Трухачёва, а молодую жизнь его присвоили тюрьмы, лагеря, ссылки. „Памятник сыну” — не дописан, но уверена, что содеян.

Но какая радость задувать свечи на праздничном пироге, с каждым годом больше свечей, больше радости, какие подарки, какие нарядные, любимые гости, влажно и нежно смотрят родители и родные, зеленеет драгоценными глазами сестра. Разве можно попасть даже в малую невзгодку из-под такого призора, из таких объятий?

Моё обиталище — мастерская художника Мессерера, приют друзей, животных, причудливых одушевленных вещей, не состоящих на службе у быта. На снимке 80-х годов видно, как любо это пристанище Анастасии Ивановне. Улыбается, расточительно излучает свет, наверное, смотрит на детей или на зверей, тем и другим говорит „Вы”, тех и других крестит перед расставанием, за тех и других молится

по вечерам. Впрочем, ласка ее и молитвы простёрты надо всем, что есть, и, может быть, поэтому есть и пребудет. Я и сама чувствую, что наше вольное жилище тайными, но явно мерцающими пунктирами соотнесено с Цветаевыми, не только из-за книг, писем, портретов, скрытых вещей, впрямую связанных с ними, но и другим волшебным способом. Вот, например, старый фонарь, свисающий с разрисованного дождями потолка (это же чердак, над-этажный, надземный, поднебесный). Стекло обожжено предпологаемого огня, цвета аметиста, однажды улыбалась Анастасия Ивановна. Я вспомнила, что Марина Ивановна в детстве желала или примеривалась, играючи, побыть, погостить, пожить еще где-то, и в фонаре. Я сказала: „И просторный, и цвета аметиста — идеальное прибежище”. Улыбка, обращенная вверх, была и общий смех двух сестёр. Улица, где живем, — Поварская, прилегающие переулки: Борисоглебский, Мерзляковский, Хлебный, Скатертный — всё это неотъемлемые владения величественно бескорыстных Цветаевых. В соседнем с нашим доме жила „Драконна” — так звали две девочки ту изумительную, все-добрую, утром в день открытия Музея принесшую их отцу смутивший его лавровый венок. По соседству в другую сторону жили Муромцевы. Вера Николаевна, впоследствии Бунина, была из немногих в Париже, жалевших, желавших помочь.

Это о человечестве. Но никак не менее важно — о собачестве, кошачестве, обо всём родимом зверинстве, тут сёстры Цветаевы прежде, перее всех. Только дарительность, спасительность жеста, готовность к непосильной жертве, обожание и сострадание ко всему живому обозначены именами и образами животных, птиц, насекомых, растений, любимых ими, спасаемых, ласкаемых, воспетых. Как-то (в 78-м году) Анастасия Ивановна сказала мне: „С о б а к у пишу не с большой буквы, а вообще большими буквами”. „Воспоминания”, „Моя Сибирь”, „Непостижимое” — эти книги Анастасии Цветаевой лучше знают и рассказывают, чем я.

На Ваганьковском кладбище — много людей, давно дорогие и вовсе незнакомые дорогие лица, бедное, родное, возлюбленное человечество. Последнюю, вместе с Надеж-

дой Ивановной Катаевой, подхожу. Надежда Ивановна опускается на колени. Цветы, сдержанность черт или слёзы, скорбный ропот: „Осиротели...” Так ли это? Губы узнают холод, глаза и душа узнают свет. Рядом с родителями, рядом с сыном.

Когда Юдифь Матвеевна оповестила мать о смерти Анастасии Ивановны, София Исааковна сказала: „Это неправда”. Мне приходится верить этим словам.

„Марина! Свидимся ли мы с тобою иль будем врозь — до гробовой доски?” Это Анастасия Цветаева написала в заключении, в 1939 году. Отвечала себе словами молитвы: „Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение его! Руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать! Аминь”.

Сентябрь 1993

... Сначала — музыка. Но речь  
вольна о музыке глаголить.

Впервые я письменно обращаюсь не к читателям, а к слушателям. Зачем? И без моего приглашения услышать музыку Вы по-своему и по своему (чуть не написала: усмотрению), по Вашему слуху примете и получите дар этой пластинки, столь долго-долгожданной, столь отрадной и утешительной для меня. Музыка не есть отрада и утешение и не подлежит описанию словами. Дар — нам — Леонида Десятникова отраден и утешителен для меня. Как радостно, просто, легко сразу же ощутить, почувствовать, взять себе в подарок талант другого человека, любить его и любоваться им. Как трудно писать об этом. Говорить было бы легче, и я бы сказала: Десятников, как и подобает музыке, возбраняет нам неуклюжее вмешательство в тайну. Сочинитель музыки дважды и многожды причастен тайнам, неведомым мне. Десятников иронично замкнут в некоторой строгой целомудренной суверенности, запретной для грубой отгадки, ключ к разгадке (не обязательно скрипичный или басовый) — сокровище Вашего музыкального слуха. Я не обладаю таковым, но, как сказал один близкий мне ребенок, „организм у меня очень слухливый”. Слово „организм” нам позволил Пушкин. Слово „обожание” нам позволила Марина Цветаева, чьи слух и слух Вам известны. Вот и пишу: я обожаю всех соучастников пластинки: Леонида Десятникова, Алексея Гориболя, Олега Ведерникова, Полину Осетинскую, Ксению Кнорре. И еще есть — очень важно, очень есть — в пластинке и везде, не знаю, где, но всегда, весьма сведущие в жизни и смерти, в музыке и поэзии, в иронии и трагедии: Даниил Хармс и Николай Олейников.

Вы — слушайте, Вы — поймёте.

1993

Счастливым день, счастливое собрание... В судьбе Булата, не столько соседствующей с нашей судьбою, а, пожалуй, возглавившей ее течение, то вялое, то горестное, в этой судьбе есть нечто, что всегда будет приглашать нас к пристальному раздумью. Может быть, устройство личности Булата, весьма неоткровенное, не поданное нам на распахнутой ладони... Устройство этой личности таково, что оно держит нас в особенной осанке, в особенной дисциплине. Перед ним, при нём, в связи с ним, в одном с ним пространстве не следует и не хочется вести себя недостойно, не хочется поступиться честью, настолько, насколько это возможно. Всё-таки хочется как-то немножко выше голову держать и как-то не утруждать позвоночник рабским утомленным наклоном. Булат не повелевает, а как бы загадочно и кротко просит нас не иметь эту повадку, эту осанку, а иметь всё-таки какие-то основания ясно и с любовью глядеть в глаза современников и всё-таки иметь утешение в человечестве. Есть столько причин для отчаянья, но сказано нам, что уныние есть тяжкий грех. И может быть, в нашей любви, в нашем пристрастии к Булату есть некоторая ни в чём не повинная корысть, потому что, обращаясь к нему, мы выгадываем, выгадываем свет собственной души.

У меня много есть всяких посвящений и одно совсем малозначительное, но всё ж прочту... Оно короткое. Когда-то на одной сцене мы с Булатом выступали, и он подарил мне ключик, маленький ключик. И я им с ненасытностью владею. Стишок мой — он вообще экспромт, шутка — называется „Песенка для Булата”.

## Песенка для Булата

Мой этот год — вдоль бездны путь.  
И если я не умерла,  
то потому, что кто-нибудь  
всегда молился за меня.

Всё вкривь и вкось, всё невпопад,  
мне страшен стал упрёк светил,  
зато — вчера! Зато — Булат!  
Зато — мне ключик подарил!

Да, да! Вчера, сюда вошед,  
Булат мне ключик подарил.  
Мне этот ключик — для волшебств,  
а я их подарю — другим.

Мне трудно быть не молодой  
и знать, что старой — не бывать.  
Зато — мой ключик золотой,  
а подарил его — Булат.

Слова из губ — как кровь в платок.  
Зато на век, а не на миг.  
Мой ключик больше золотой,  
чем золото всех недр земных.

И всё теперь пойдет на лад,  
я буду жить для слёз, для рифм.  
Не зря — вчера, не зря — Булат,  
не зря мне ключик подарил!

9 мая 1994

Рожденная в Москве — не умею жить без Питера и не имею ни способа, ни намерения, ни времени учиться быть без этого заглавного города.

Каждый человек может или впрямую увидеть, или прикрыть веки и увидеть то, что я имею в виду, излишне объяснять: какой купол... какие шпили... какую решетку... какие колонны... Ах, Боже мой, довольно, благодарю, открою глаза.

Ко всему этому я всенепременно и неизбежно добавлю образ Александра (Алика!) Левина. Впрочем, что значит: добавлю? Город, река, судьба, сирень на Марсовом поле, я, набережные, Алик — нерасторжимы, это единый образ. Иначе у меня возникло бы ощущение, что я не досчиталась коней на Аничковом мосту.

Устройство личности Алика Левина: талант, артистизм, склонность к смеху и усмешке — притягательны для людей. Их живописное разнообразное множество не только утешается и развлекается его щедрой дружбой, но, как стало заметно в последнее время, еще и питает его воображение, приметливость, доброжелательную ироническую зоркость, то есть изначальное почти всё, надобное сочинителю.

Я думаю, что Алик Левин так же претендует быть литератором, как я — литературоведом. Я-то литературоведом не стану, но Александр Левин, как мне кажется, предъявил нам свои литературные способности. И я от всей души желаю ему успехов и на этом поприще.

12 июня 1994

написала девочка из посёлка. Без кавычек, вкратце излагаю смысл письма: что Вы делаете, когда нет выхода из печали, из отчаяния? правда ли, что — грех? здесь и нигде нет доброты, жалости ко всему живому и убитому; не хочу говорить на языке злых; волшебного не бывает; деться некуда; откуда Вам знать, живёте не как все, а мне нет утешения, нет веселья, на сердце тяжело...

Никто не живёт „как все”, всяк по-своему жив или жил, всяк по-своему печален.

Не возьмем возможности ответить гордой печальной девочке, не указавшей обратного адреса, но отвечаю.

Мрачен посёлок, прелестна девочка. Не пишет ли стихи? „Что Вы делаете, когда безвыходно печальны?”

Что я делаю в таком ужасном случае?

Просту признаюсь: я читаю и перечитываю сочинения Юрия Коваля. И тогда все живы: люди, дети людей, животные, дети животных, птицы и дети птиц, реки, моря, озёра, земля и созвездие Ориона, и мы — бедные дети всего этого вместе, малого посёлка и всеобщего селения, упомянутых существ и не упомянутых звёзд и сияний.

Нежность ко всему, что живо, или убито, или может подлежать убиению, вьявь ощущается как бессмертие. Мы знаем: душа бессмертна, но и при жизни хочется быть наивно уверенным в сохранности всего, что любила душа. Упасаем нас всегда дар художника, милость, ниспосланная ему свыше, нам — в подарок. Это без меня известно. Но мне это не могло бы быть известно, ежели бы не я зык Юрия Коваля. Письменная речь Юрия Коваля взлелеяна, пестуема, опекаема всеми русскими говорами, говорениями, свое-



словиями и словесными своеволиями. Язык Юрия Ковалева — плодovit, самотворен, он порождает и поощряет образы, повадки, невиданность и неслыханность его персонажей.

Деться некуда? Но есть выход из безвыходной печали. Я, сиднем сидючи, имею мечтание: скорее, вместе с другими читателями (вдруг — с девочкой из посёлка тоже) обрести новый роман Юрия Ковалева: „Суер-Вьер”.

Вот где обитает волшебство, вот счастливый способ не путешествовать по насильной указке путеводителя или по указанию какого-нибудь предводителя, а вольно шествовать по морям и островам — по пути свободного воображения автора и смеяться от радости.

С любовью завершая это посвящение, я обращаю ко всем читателям Юрия Ковалева его же, для меня утешительные, слова:

**ВЕСЕЛЬЕ СЕРДЕЧНОЕ.**

Апрель 1995

Шла по московской улице в яркий полдень погожего летнего дня мимо бойкой торговли, среди густой человеческой толчеи, — с печалью в глазах, с тяжестью на сердце. Эти печаль и тяжесть приходилось еще и обдумывать, и полученный туманный итог означал, что я виновата перед полднем погожего дня: чем он не угодил глазам и сердцу? Бойкость торговли — ее заслуга. Люди — не толчея, они стройно спешат, они молоды, нарядны, возбуждены ожиданием неизбежной удачи.

Среди всего вкратце перечисленного я ощутила себя чем-то лишним, мешающим, грубой препоной на пути бодрого течения. Сумма усталости, недомогания, дурных предчувствий (ненаправленных) — всё это следовало убрать с пути цветущего и сияющего дня.

Вдруг мне словно оклик послышался, я подошла к лотку, продающему книги: сторонясь развязного бумажного многоцветия, гордо и одиноко чернели три тома Сергея Довлатова, я приняла их за ободряющий привет из незнаемой превыспренной дали.

Привет такого рода сейчас может получить каждый читатель Довлатова, но я о чём-то своем, еще не знаю о чём.

Менее всего я намереваюсь с умом и здравомыслием подвергнуть суду моего пристального восхищения его талант, его судьбу, достоинства его сочинений. Скажу лишь, что первое же подробное чтение, давно уже, стало для меня исчерпывающим сведением, объём его не мог разрастись или измениться.

Мне хорошо известно написанное о Довлатове: блестящие эссе, статьи, воспоминания. Авторы посвящений так

или иначе близки Довлатову: друзья его и близкие друзья со времён его молодости, невзгод и вдохновений. Всё это люди чрезвычайных дарований и значений, некоторые из них мне весьма знакомы и, без усилий с их стороны, повлияли на ход и склад моей жизни. Я отличаюсь от них — когда думаю и пишу о Довлатове — тем, что никогда его не видела, даже мельком. Это представляется мне настолько невероятным, что даже важным и достойным робкой огласки.

Его лучезарность и тайная трагедийность братски родственны мне. Как же я с ними разминулась?

Мое соотношение с его средой совпало с началом моей жизни. Движение Москва—Питер и наоборот было взаимным правилом, для меня тоже (да и теперь так). Я много слышала о Довлатове, помышляла о нём, его образ прочно обитал в разговорах, в начальных легендах и анекдотах, расцветал в воображении, становился всё более рослым и прельстительным, он и сейчас свеж где-то под веками, там и сохранен.

Мы не встретились ни в Питере, ни в Таллине, ни в Михайловском. Но, пожалуй, самым трудным было не встретиться в Нью-Йорке, хотя бы в знаменитом „Самоваре“, притягательном для русских. Как-то зашли, слышим: „Только что был Довлатов, подарил самовар, купленный на толкучке“.

Я читала его всё больше, любуясь устройством его фразы, как бы беспечной, вольной, смешливой, но подлежащей благовоспитанной дисциплине, составляющей грациозную формулу. Если бы не с л о в о, которому Довлатов единственно служил, которым владел, — его обаяние, доброта, юмор, благородство не стали бы достоянием множества людей: они вспомнят его 24 августа 1995 года и в другие дни других лет.

Слова мои рассеянны, сбивчивы, — чтобы содейть их иначе, не хватает прохладной четкости. Но для моей неопределенной цели ненадобны иные слова.

Меня не однажды настигали косвенные великодушные приветы Сергея Довлатова — и тот неслышимый утешающий оклик в яркий и печальный полдень погожего летнего дня. Я хочу за всё поблагодарить его, как мне быть?

*Белла Ахмадулина*

Надо прикрыть веки, очень сосредоточиться — не на большой, а на доброй мысли — и, может быть, заструится, запulseирует утекающий ввысь светящийся пунктир нежного ответного привета.

Август 1995

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛУ „ГРАНИ”  
(издательство „Посев”)

Я поздравляю и благодарю журнал „Грани” и издательство „Посев”.

Мне кажется дурной повадкой т е п е р ь похвально соотношением с журналом, с издательством: модно, позволительно и похвально.

Но в жизни моей и многих людей журнал „Грани”, издательство „Посев” имели опасно-возвышенное, рискованно-вольнлюбивое значение. И не для всех это стало благоприятным сюжетом судьбы и жизни.

Да, и у нас была жизнь — такая, какая дана. Я только т е п е р ь поняла, как я устала, претерпевая всю эту былую жизнь.

Журнал „Грани” — утешал и искушал нашу сплоченную духоту, как некий Робин Гуд, желая спасти нас не из географической темницы, а из умственной, художественной спёртости, зáпертости, запретной замкнутости. Уверена, что многих спас: не подсчитать, сколь многих.

Еще раз поздравляю журнал, его издателей и авторов. Некоторых из них нет вживе. Те, кого люблю, — да будут сохранны.

Ваша Белла Ахмадулина

4 сентября 1995

Впервые я услышала имя Анны Ахматовой в школе. У меня были добрые, неповинные в общем зле учителя, но им было велено оглашать постановление: Ахматова и Зоценко.

Я пойму это потом, но из непонятных „обличающих” Анну Ахматову слов возник чудный, прелестный, притягательный образ.

Воспитание может иметь обратное значение.

Прошло некоторое время. Я раздобыла стихотворения Ахматовой и написала убогое посвящение. Вскоре я его порву и выкину. Подозреваю прекрасного Александра Володина, всегда любимого мной, в том, что он успел передать Анне Андреевне Ахматовой случайно уцелевший черновик.

Из всего этого помню строфу:

Об это старинное древо  
утешу ладони мои.  
Достанет Вам, Анна Андреевна,  
покоя, хвалы и любви...

Ужасно, но далее будет ужаснее.

Однажды, в скромном начале дня, выхожу из дома. В этом же доме жили Наталия Иосифовна Ильина и Александр Александрович Реформатский, звавший меня: Гуапа, их собаку-спаниеля звали Лада.

Наталия Иосифовна говорит: „Зачем Вы избегаете встречи с Ахматовой? Анна Андреевна в Москве, я еду к ней, Вы можете поехать со мной”.

Я: „Нет, я не могу. Не смею, не хочу, и не надо”.

Тот день (для меня) стал знаменательным.

Я привечала Анджело Мариа Рипеллино, знаменитого слависта, и журналиста, для меня безымянного, виновата.

На бензоколонке на Беговой опять встречаю Наталию Иосифовну. Н.И.: „Не передумали? Я к Ахматовой еду”.

Я: „Нет, не могу. И не надо”.

Я развлекала итальянцев: показывала уцелевшую старую Москву, ярко бедную, угнетаемую и свободную мастерскую художника Юрия Васильева.

Итальянцы стояли в гостинице „Пекин”. Что-то им понадобилось там. Подъехали к гостинице. Передо мной, резко скрипнув тормозами, остановилась машина Ильиной. Я знала, кто пассажир этого автомобиля. Лицо знало, как бледнеет, ноги не знали, как идти. Сказала: „Ну смотрите, синьоры, больше вы этого не увидите”. (Я ошиблась: итальянцы увидели Ахматову — в Таормине, в пальто Раневской.) Подошла. Н.И. с жалостью ко мне весело объяснила Ахматовой: „Она так любит Вас, что не хочет видеть Вас”.

Я же видела дважды: грузный, вобравший в себя страдания и болезни лик и облик и тончайший профиль, столь известный, столь воспетый.

Молча поклонилась. Вернулась к итальянцам. Мое лицо было таково, что они забыли, что они забыли в гостинице „Пекин”.

Анджело Мариа Рипеллино спросил: „Что с Вами?” — „Там была Ахматова”.

Далее — повезла их в забегаловку, в Дом литераторов, не обещая кьянти, что-нибудь взамен обещая. Вернула их к гостинице „Пекин”.

Подъехала к дому. В лучах фар стояла Ахматова: ждала Ильину. Это не имело значения, если не считать разрыва ума, сердца, зрения. Сказала: „Анна Андреевна, Бог знает, я не хотела видеть Вас, но вижу Вас второй раз в этот день”. Ахматова: „Верите в Бога?” Я: „Как не верить? Вы не только от Ваших родителей родились, произросли и осиянны. И я это вижу”. Я и видела ярко бледное осиянное лицо Ахматовой в потёмках двора.

К счастью моему, спустилась со своего этажа Наталия Иосифовна Ильина и засмеялась. Анна Андреевна величественно-милостиво сказала: „Едем к Ардовым на Ордынку”.

Может быть, желаете сопроводить?” Я тупо плюхнулась на заднее сиденье. Ехали по Ленинградскому проспекту. Фонарь и не-фонарь, свет и тень, я видела, не могла видеть, но видела профиль, силуэт. Модильяни? Альтман?.. Нет. В Оспедалетти, в 12-м году?.. Нет, эту фотографию мне подарят много позже.

Когда проезжали мимо поворота к больнице Боткина, Анна Андреевна великим голосом произнесла: „Я бывала в этой больнице. Лежала около окна. Другие старухи хотели занять мое место. Ко мне пришел шведский корреспондент в белой рубашке, столь белой, что меня стали уважать”.

Я читала эти (приблизительно) слова у Лидии Корнеевны Чуковской. Но я эти слова – слышала.

Приехали на Ордынку. Н.И.: „Проводите Анну Андреевну через двор и наверх”.

Двор состоял из рытвин. Я поддерживала хрупкий утомленный локоть. Поднялись пешком на указанную вершотуру. Я чувствовала пульс, сильный и сильно убывающий.

У Ардовых играли в карты. Алёши Баталова не было. Мы прошли в его комнату. Анна Андреевна сразу прилегла и спросила: „Кто были те двое у Вас в автомобиле?” Сила зоркости обошла мне холодом мурашек. Я не могла понять, как Ахматова, не обернув головы, сумела разглядеть еще кого-то. В ум вступило изобретенное Лесковым слово „мелкоскоп”. Ответила: „Двое итальянцев: Анджело Мария Рипеллино и...” Ахматова (с надменно-ласковой усмешкой): „Как? Этот мерзавец?” Я: „Неужто он в чём-нибудь провинился перед Вами?”

Анна Андреевна слабым жестом указала, слабым голосом приказала: „Там сердечные капли. Подайте, пожалуйста”. Я исполнила указание и приказание.

Анна Андреевна показала итальянскую книгу: „Мне жаль, что я не могу подарить книгу. У меня нет другой”.

Я: „Зачем? Не о чем сожалеть. Я не знаю итальянского языка... Ваш – знаю, этого знания достанет для многих...”

Не знаю, как спустилась по лестнице, пересекла двор. Н. И. ждала не суетно, не торопливо.

На этой странице злоключения обожания не завершаются. Переходим на следующую.



Я увидела Анджело Мариа Рипеллино, в последний раз, он приехал в Москву.

Я: „Анджело Мариа, что ты содеял, написал? Ахматова сказала: мерзавец”.

А.М.Р.: „Что есть „мерзавец”? Кто-то, погибший от мороза?” (Стало жалко воображаемого озябшего мерзавца.)

Я: „Спрашивай у Даля (он спрашивал), признавайся: что написал?”

Признался (воспроизвожу по памяти, текста не видела): „Анна Ахматова ныне есть единственный классик великой русской литературы”.

То есть: опять какое-то старинное дерево, утешающее чьи-то лишние ладони.

Бедствие обожания набирало силу. Я слабела, чем и теперь занимаюсь.

Прошло некоторое время.

Позвонила Н.И.: „Вы уже видели Ахматову — дважды в один день. Можно и привыкнуть. Анна Андреевна хочет поехать за город. Я сегодня не могу повезти ее. Позвоните ей, повезите. Вот номер телефона”.

Ахматова тогда остановилась у своей знаменитой приятельницы, на Садовом кольце, рядом с площадью Маяковского.

Глубокое чувство обречённости овладело мной. В этом не было мистики. Был автомеханик Иван Иванович, гений своего дела, он сурово учил меня ездить, менять колесо за пять минут — не дольше! Заклеивать мылом бензобак — в случае протечки (мыло — было). Но вот когда „иглу заливает бензином”, — он мог это исправить, я уже ничего не могла поправить.

Позвонила по указанному телефону. Великий голос (я всегда слышу: „Дорога не скажу куда...”) ответил: „Благодарю Вас. Жду Вас в двенадцать часов. В полдень”.

Я понимала, что не в полночь. Не понимала: что надеть? В уме стояло воспоминание: Чехов едет к Толстому в Гаспру, думает: что надеть? (Описано Буниным.)

Надела то, что под руку попало: синие узкие брюки, оранжевый свитер, это уже входило в обречённость. Ров-

но в полдень (помедлив возле дома) поднялась, позвонила в дверь.

Прекрасная дама, в черном платье, встретила меня, справедливо-брезгливо оглядела меня, сказала: „Анна Андреевна ждет Вас. Вы умеете это делать?“ (изящными запястьями изобразила руль автомобиля.)

Плохие предчувствия крепчали, хороших не бывает. Вышла Ахматова, в черном платье.

Сине-оранжевая, я опять держала ее локоть, плавно-громоздко мы спустились по лестнице, я открыла дверь автомобиля, села за руль. У следующего перекрестка (при повороте на Петровку) машина остановилась навсегда. Это и была игра иглы с бензином. Я сидела, ничего не делаю. Мешала проехать грузовику, водитель кричал: „Баба за рулем! Две дуры — молодая и старая!“

Его зоркость, обращенную ко мне, тоже следует отметить: он высунул голову из кабины. Я показалась себе ровесницей горя, старше беды.

„Вам никакой не подходит?“ — спросила Ахматова: цвет, цвет, цвет светофора менялись несколько раз.

Подошел великодушный милиционер. Водитель грузовика продолжал кричать, я — молчать.

Великодушный милиционер прикрикнул на водителя грузовика: „Вылезай! Помоги откатить машину к тротуару. Женщине плохо...“

Мне и не было хорошо.

Тот послушался. Машину перекатали к тротуару, грузовик отпустили. Великодушный милиционер, у него была дирижёрская палочка в руках, сказал: „Хочу Вам помочь“.

Я: „Помогите. Я вижу телефон-автомат напротив. Помогите перейти дорогу“. Позвонила: „Пришлите автомобиль: Ахматова, игра иглы с бензином...“

Непонятливый испуг ответил: „Не бойтесь, не двигайтесь с места. Сейчас приедем“.

Вернулась: „Анна Андреевна, сейчас приедет другая машина“.

Анна Андреевна сказала: „Я ничего не предпринимаю во второй раз“.

Снова я держала локоть — поднимались по лестнице

на восьмой этаж. Прекрасная дама в черном не удивилась, как если бы знала о моей автомобильной и всей судьбы неудаче.

Несколько дней после этого я не могла говорить: немая, немтая была.

Куда делись брюки, автомобиль, свитер — не любопытствую знать.

„Всех обожаний бедствие огромно...” — есть у меня такое стихотворение. Я стояла возле могилы Ахматовой, никого не было, цветы были — как всегда. Величие ласково-надменной и прощающей усмешки я ощутила и приняла как осязаемую явь бессмертия.

Я не бежала, как бы упала из Комарово в Репино по быстрой дороге вниз. Это само собой сочинилось.

Мне довелось читать (и сейчас читаю) и видеть Льва Николаевича Гумилёва. Однажды, в беспечном, а для меня напряженном застолье, Лев Николаевич вдруг спросил: „Вы так любите е е?”

Слабоумным голосом третьегодника с последней парты я спросила в ответ: „Кого?”

Лев Николаевич Гумилёв объяснил: „Вы знаете — к о г о”. Он не ошибся.

Вы, любезные читатели, не ошибайтесь — любите.

Всегда Ваша Белла Ахмадулина

Август 1996

## РОЗЫ ДЛЯ АНЕЛИ

Вольное сочинение: поздравительное посвящение  
Анели Судакевич

...И то же в Вас очарованье...

Речь эта, речь-молчанье, при полном властном соучастии неполной луны обращённая в письма, — здравица в честь 28 октября 1906 года и 1996 года, немая речь о счастье, о пожелании счастья.

По общей влюблённой привычке всё начинать с Того, кто полагал ПОКОЙ И ВОЛЮ высшим и заглавным состоянием и достоянием бытия, не начать ли мне с 19 октября этого года? Как славно затевался день: зрело-лиловый мрак слабел и утоньшался до синих, сизых, безымянно-прозрачных сумерек, до РУМЯНОЙ ЗАРИ над БАГРЕЦОМ И ЗОЛОТОМ, как бы следуя подсказке радивого школьника. Оставалось созерцать, обонять, слушать и повторять свою же поговорку, что на свете счастье есть, что счастье есть осознанное мгновение жизни, а если еще и воспетое, запечатленное, то мои слова ненадобны, поскольку другой великий Поэт МОЛЧА ШЕПТАЛ и написал о жизни навсегда: „Благодарствуй! Ты больше, чем просят, даешь”.

Так помышляла я 19 октября, в субботу, продвигаясь по Ленинградскому проспекту в сторону Петровско-Разумовских аллей и станции метро „Динамо”, но и в сторону Питера, посредине отечества в направлении особенно отчего ОТЕЧЕСТВА ЦАРСКОГО СЕЛА. Одновременно это был ход и путь к юбилею и образу Прекрасной Дамы, о которой думаю и пишу, к будущему дню 28 октября, географически точно вспять маршрута — к дому в ответвлении Тверской улицы. Принимая свой вольно-покойный шаг и беспечную, но опекающую мысль за, пусть небольшое, вполне достаточное для меня, счастье, я возымела невольных беспокойных сообщников: множество утренне-румяных

детей размеренно шествовало под руководством нарядных родителей или ретиво, подчас безгрешно-развязно, резвилось вокруг, рокоча быстролётными досками и роликами, разевая азартные уста для вожделенных лакомств. Одного ненаглядного мальчика я самодеятельно и самодовольно присвоила как украшающее дополнение к моему стихотворению „День-Рафаэль”: ярко хорош собой и даровито добр, обмирая от любви, он притворно-строго и бесполезно подвергал нравоучениям свою, чудесно разнообразной породы, собаку: „Рафинад! К ноге! Рядом, Рафинад! Рафка, кому говорят, рожа ты этакая!” Рафкина отрадная рожа лукаво косила глазом, любезно рывкала, даже как бы немного ржала. Зачарованная зрелищем, я подобострастно, не посягая на суверенность неразрывной пары, произнесла: „Рафинад! Радость ты и для прохожего человека!” Тот и ухом не повёл, — не смахивающий на сладёну, в честь белозубой смешливости наречён? для подтверждения рафинированного артистизма внутри многоцветно рыжей косматости? Рафаэльский мальчик глянул неодобрительным исподлобьем: чистая душа его ревновала сокровище Рафинада к докучливым чужакам. Ра, ры, ре... Грустно вспомнился раритет Кирсанова, дразнившего свою картавость: „На горе Арарат растёт красный виноград”... Семён Исаакович тоже приходился мне любящим учителем, старшим ровесником. Но и впрямь всё радовалось, розовело и рдело вокруг! Я еще не знала тогда, что проспект, обращенный к Санкт-белоночному граду, кривью и косью зрения и воображения, напрямик вел меня к рьяно-розовейшим розам, посвященным Прекрасной Даме, заведомо обручённым с Ее Днем 28 октября, обречённым к исполнению первой роли в моем подношении. Но что делать путнику, чьё блуждание в околицах заветных полушарий есть его единственно прямой первопуток к обще-понятной, ясно-простой и таинственной цели? Да, множество детей населяло золотисто-хладный субботний пред-полдень, некоторые из них возлежали или восседали в экипажах колясок, иные еще обитали в замкнутой округлости идеального уюта, в благодатном чреве матерей, отличных от других женщин не очевидностью стана, но значением взгляда, присущего лишь их очам, устремлённым

*Белла Ахмадулина*

сразу в глубь и в даль, в драгоценный тайник, мимо всего остального, не важного и не обязательного вздора.

Более всего дивилась я несметному обилию красавиц, они словно сговорились с красою дня стать ровней ему, сиять, блистать и мерцать соцветно и созвучно солнцу сквозь нежную зыбкую промозглость (почему-то подумалось: венецианскую), листве, листопаду, влаге асфальта цвета каналов. Вдруг сильно смерклось, Тинторетто проведаль Москву, во мгле его привета явилось, полыхнуло — это были розы цветочного рынка возле упомянутой станции метро. Барышня, ведавшая растениями, предводительница их, юная Флора, в расточительный добавок к удачам и прибылям того моего дня, разумеется, тоже была красавица, я простодушно сообщила ей эту, ведомую ей не-новость: здоровые солидные господа, останавливающие автомобили вблизи благовонной торговли для скорого подарка своим избранницам, останавливали на ней многоопытный, не марающий ее, взор. Сначала этот оранжевый Рафинад с чернокудрым мальчиком, потом Рафаэль, Венеция, Тинторетто, — я не удивилась, когда прелестная цветочница, с глазами, превосходящими длиной тонкие пределы висков, объяснила мне, что редкий сорт этих роз именуется: „Рафаэлло”. Девочка была еще и великодушна: она застенчиво и бескорыстно приглашала меня приобрести хотя бы одну из этих роз, несомненно причиняющих душе целебную радость и пользу. Я не усомнилась в ее словах, совершенно доверилась им и сказала, что непременно приду за розами 28 числа, в понедельник. Я медленно шла по проспекту, удаляясь от Ленинграда и Петербурга, от дня нечаянной радости, приближаясь к Тверской, к 28 дню октября, чая радости для героини торжественного дня, знаменитой героини эпохи немого кино, всей нашей многосложной и многословной эпохи, героини судьбы своей и большого достославного семейства. Пастернак: ...„Быть женщиной — великий шаг, /Сводить с ума — геройство”. Ей поклонялись, называли дочерей ее именем (я встречала таковых), ее рисовали Фонвизин, Тышлер и другие художники, поэты посвящали ей стихи (я в их числе). По роду моих занятий всегда и всю эту ночь напролёт я склонялась пред высокой красотой, служила ей и, ду-

мая об Анели, твёрдо знаю: красота не проходит, этот хрупкий каркас прочен и долговечен, этот дар неотъемлем. Самовольно наведались в уже утреннюю страницу строки из давнего стихотворения „Роза“:

...Знай, я полушки ломаной не дам  
за бледность черт, чья быстротечна участь.  
Я красоту люблю, как всякий дар,  
за прочный позвоночник, за живучесть...

В росе ресниц, прельстительно живой,  
будь, роза роз! Твой подвиг долговечен.  
Как соразмерно мощный стебель твой  
прелестно малой головой увенчан...

Дорогая Анель, примите, пожалуйста, эти слова и эти розы.

Ваша Белла Ахмадулина

Октябрь 1996

В седьмом часу утра рука торжественно содеяла заглавие, возглавие страницы, и надолго остановилась, как если бы двух построенных слов было достаточно для заданного здания, для удовлетворительного итога, для важного события. Плотник, возведший стропила поверх еще незримой опоры, опередил тяжеловесные усилия каменщика, но тот зряче бодрствовал, корпел, ворочал и складывал свои камни, его усталость шумела пульсами в темени и висках, опасными спектрами окружая свет лампы и зажигалки.

Меж тем день в окне заметно крепчал, преуспевал в тончайших переменах цвета. Я неприязненно глядела на неподвижную правую руку, признавая за ней некоторые достоинства: она тяжелей и хватистей левой сподвижницы, удобна для дружеского пожатия, уклюжа в потчевании гостей, грубо не родственна виноградным дамским пальчикам, водитель ее явно не белоручка, но зачем нерадивым неслухом возлежит на белой бумаге, обязанная быть ее ретивым послушником? Рука, как умела, тоже взирала на меня с укоризной: она-то знает, у какого вождя-тугодума она на посылках, вот подпирает и потирает главу, уже пекущуюся о завтраке для главы семейства, о собаке, скромно указующей носом на заветную дверь прогулки. (Анастасия Цветаева: „Не только Собаку пишу с большой буквы, но всю СОБАКУ пишу большими буквами”. Анастасия Ивановна малым детям и всем животным говорила: „Вы” и за всех нас поповну молилась и сейчас, наверное, молится.)

Меж прогулкой и завтраком — несколько слов о СОБАКЕ, недавно, не задорого, выкупленной мной из рук, вернее, из запазухи невзгоды, не оглянувшейся на них при



переходе в мои руки и запазуху. Коричневая такса, напрямик втеснившаяся в наше родство, не случайна в произвольном повествовании. Эта порода была почитаема в семье Набоковых. Сначала — неженки, лелеемые беспечным великодушием изначальных „Других берегов”, вместе с людьми вперяющие пристальный взгляд в объектив фотоаппарата, словно предзная, что, утвердившись на кружевном колене, позируют истории навсегда, напоследок, и потом, в хладном сиротстве Берлина, — уже единственная драгоценность прекрасной матери Набокова, нищая „эмигрантская” СОБАКА, разделившая с хозяевами величественную трагическую судьбу. Не этот ли взгляд воскрес и очнулся за продажным воротом бедственной шубейки и выбрал меня для созерцания, сумею ли защитить его от непреклонного окуляра, неспроста запечатлевающего хрупкое мгновение?

Пусть и рука свободно погуляет без поводка, — усмехнувшись, я расстегнула пуговицу рукава, и благодарно вздохнули рёбра, встряхнулся загрибок, чьи нюх и слух выбирают кружной, окольный путь для изъявления прямого помысла.

Привиделись мне или очевидно не однажды посещали меня тайные приветы земного и надземного Монтрё, они кажутся мне большею явью, чем явь двух моих посещений этих мест — при жизни их повелителя и обитателя и восемь лет спустя.

Последний раз это было недавней весной на берегу Финского залива, отороченного мощными торосами льда, воздвигнутыми их слабеющей Королевой. Сиял, по лучезарному старому стилю, День рождения Владимира Владимировича Набокова и, по развязному новому стилю, — мой, заведомо подражательный и влюбленный, десятый день апреля. Ровно напротив ярко виднелся Андреевский собор Кронштадта, слева подразумевался блистающий купол Исакия, в угол правого глаза вступал не столько Зеленогорск, сколько Териоки, снимок начала века, изображающий властно сосредоточенного, рассеянно нарядного господина — старшего Владимира Набокова. Но вся сила радостно раненного зрения была посвящена чудесной вести, поздравительному сокровищу: БАБОЧКЕ, безбоязненно порхающей во льдах, в обманном зное полдневного зенита. Ее пресвет-

лый образ вчерне хранится в сусеках ума — не в хлороформе, а в живительной сфере, питающей и пестующей ее восхождение. Тогда же попарное множество лебедей опустилось на освобождённые воды залива, и только один — или одна — гордо и горестно претерпевал отдельность от стаи. Стало избыточно больно видеть всё это, и я пошла назад, к Дому композиторов, законно населяющих обитель моего временного, частого и любимого постоя. По дороге, на взгорке, где уже возжелтела торопливая мать-мачеха, я нашла голубого батиста, с обводью синей каймы, платок, помеченный вензелем латинского „эн”. За обедом никто не признался в пропаже, и я присвоила и храню нездешнюю находку как знак прощения и поощрения.

По мере иссякающего дня рука отбыла повинности житья-бытья и на ночь глядя вернулась к бумаге. Жаль и пора покинуть на время просторное, суверенное имение ночи. В окне и на циферблате — седьмой час утра. Препоручаю день спозаранок проснувшемуся лифту, сошлю себя на краткий курорт кровати.

Из дневного отчуждения косилась я на выжидательно отверстую страницу: куда-то заведёт, заманит путника ее пространный объём, оснащённый воспитующим стопором скорому ходу? Так, однажды, задолго до апрельской БАБОЧКИ, шла я зимним днём по еще невредимому льду упомянутого залива, получилось: неизвестно где и куда. Возросший непроницаемый туман сразу же сокрыл берег и дом с башней — его островерхая, воспетая кровля уместается под кровлей заглавия, дом приходится ровесником и мимолётным свидетелем счастливому детству Того, о ком пишу. Я плутала в млечной материи прочного воздуха, может быть, уже в угодах Млечного Пути, чрезмерных и возбранных, — я чуюсь отважной вхожести в превыспренние небеса. Возвышающее удущье постыдного страха овладело мной, но я спасительно наткнулась на подвижника подлёдного лова. Здраво румяный среди сплошной белизны, он добродушно указал мне идти по его следам, еще заметным меж его лункой и берегом.

Суровая ночная лампа притягательна для мотыльков измышлений и воспоминаний, в их крылатой толчее уча-

ствуют и подлинные соименники, виденные мной на изысканной выставке в американском университете с привходной мемориальной доской в честь диковинного энтомолога и писателя. Изумрудно-изумляющие, мрачно-оранжевые, цвета солнца и солнечного затмения, бессмертно мёртвые тела царственных насекомых оживлялись соответствующими текстами Набокова, равными одушевлённым самоцветам природы. Устройство его фразы подобно ненасытной, прихотливо длительной охоте рампетки за вожденной добычей, но вот пал безошибочный хищный сачок, сбылась драгоценная поимка точки.

Разминувшись со следами рыболова, уже по своим следам — ловца знаемой, неопределённо возвещённой цели, продвигаюсь я к совсем другим берегам, к давнему былому времени. Радуюсь дóстали новой ночи и свежей бумаги, я врасплох застаю себя в Брюсселе, где много лет назад оказалась вместе с группой туристов, уже подписав некоторые беззащитно-защитительные письма, по недосмотру адресатов или под испытующим присмотром. Все мои спутники были симпатичные, знакомые мне люди, и даже нестрогий наш пастырь имел трогательный изъян в зловещем амплуа: он то и дело утешал себя припасом отечественного хмеля, примиряющего с чуждой цветущей действительностью. За нашей любознательной вереницей, в осторожном отдалении, постоянно следовала изящная печальная дама, несомненно и, с расплывчатой точки зрения бдительного опекуна, нежелательно русская, но с французской фамилией мужа. Она останавливала на мне выборочно пристальный взор и, улучив момент, робко пригласила к обеду. За мной невольнительно заехал не учёный конспирации любезный бельгийский муж. По дороге он бурно грассировал, втолковывая стоеросовому собеседнику, что весьма наслышан о Поэте, чьи сочинения в переводе не оправдывают юношеского прозвища „Француз”, но, не правда ли, есть и другое, „Ле Крике”, „Сверчок”, а также он читал великий роман „Война и мир”, отчасти превосходно написанный по-французски.

Дом, помещённый в несильном чуженевном закате, был увит смуглым, с бледно-розовыми соцветьями, плющом, лёгкое вино розовело в хрустальных гранях, розы цвели

в палисаднике и на столе с прозрачно-розовыми свечами. Какая-то тайна содержалась в незрело ущербном, неполно алом цветке — ей предстояло грянуть и разрешиться. Радужному бельгийцу вскоре прискучила чужеродная речь, он откланялся и прошумел куда-то прытким автомобилем. Как ни странно, нам предстояло еще раз увидеться впоследствии, и он преподнёс мне бутоньерку с прелестной орхидеей.

Не тогда, а время спустя, когда окреп запретный пунктир нежной прерывистой связи меж нами, я догадалась и узнала, что изящная печальная дама была поэтесса Алла Сергеевна Головина, некогда известная и даже знаменитая в литературных кругах, сначала упомянутая Цветаевой в письмах к Анне Тесковой просто как некая дама с пудреницей, а потом ставшая ее другом и конфидентом. Тот блёкло-розовый вечер разразился-таки ослепительной вспышкой. Хозяйка дома вышла в другую комнату и вернулась с папкой потускневших бумаг, исписанных страстными красными чернилами: это были рукописи Марины Цветаевой, стихотворения и письма. Я невяменямо уставилась на зарево, возалевшее предо мной, не умея понять, что Алла Сергеевна просит меня содействовать возвращению этого единственного почерка на родину, где ему и ныне нет и не будет упокоения. Я в ужасе отреклась от непомерного предложения: „Что Вы! Это отберут на границе! Это канет бесследно! Это надобно прочно хранить и предусмотреть незыблемое безопасное хранилище”. — „Что же станется со всем этим? — грустно сказала Алла Сергеевна. (Я не знаю, что случилось: обмениваясь краткими редкими приветами, мы навсегда разминулись с Аллой Головиной, когда она, наконец, сумела приехать в Москву.) — Вот, познакомьтесь с моим наследником”. В столовую вошел полнокровно пригожий мальчик, благовоспитанно скрывающий силу и нетерпёж озорства. „Ваня, — сказала ему мать, — скажи нашей гостье что-нибудь по-русски”, — на что Ваня приветливо отозвался: „Бонжур, мадам”. Потрясённый тем, что, на родном ему языке, я с трудом считаю до десяти, он дружелюбно принял меня в слабоумные одногодки, деликатно показал мне не более десяти своих ранних рисунков, доступных

моему отсталому разумению, и удалился для решения многосложных задач.

— А Вы, — неуверенно, боясь задеть меня, спросила Алла Сергеевна, — знаете ли Вы Набокова, о Набокове? Ведь он, кажется, запрещён в России?

Этот экзамен дался мне несколько легче: я уже имела начальные основания стать пронзённой бабочкой в коллекции обожающих жертв и гордо сносить избранническую участь. За это, перед прощанием, Алла Сергеевна подарила мне дорожку для нее „Весну в Фиальте”, прежде я не читала этой книги, не держала ее в руках, пограничный досмотр мной не интересовался, и долго светила мне эта запретная фиалковая „Весна” в суровых сумерках московских зим.

Всегда была у меня кровная неотъемлемая вотчина родной словесности, обороняющая от окрестной причинённой чужбины попорченных земли и речи. Этого самовластного невредимого мира, возглавленного лицейским вольнодумным „Французом” и всем, что вослед ему, предостаточно для надобного счастья. Были со мной Лесков, Платонов, огромно был Бунин — сначала голубым двухтомником, поразившим молодое невежество, потом девятитомным изданием с опальным последним томом — скорбным предотъездным подарком Георгия Владимова. Подарил он мне и БАБОЧКУ — застеклённое в старину изображение красавицы, исполненное выпуклыми блёстками во весь ее крупный и стройный рост. Насильная географическая разлука с Владимовыми — одно из самых безутешных переживаний. „Целую Вас — через сотни разъединяющих вёрст!” (Цветаева).

И после девятого тома увеличивался, прибывал утенный Бунин, возвращая отъятую подлинность места урождения. Каждый день проходила я по Поварской мимо дома Муромцевых, многоопытного в „Окаянных днях”; Борисоглебский, Скатертный, Мерзляковский переулки опровергали косноязычную беспризорность. Присваиваемая родина, до вмешательства Набокова, была выжидающе неполна, как розовый, рапидный, глициниевый вечер до вторгшейся „Весны в Фиальте”. Годы спустя, горестно и ревниво ликуя, незванным татаринком вкушала я обед автора „Других

берегов” с Нобелевским лауреатом тридцать третьего года. Набегом и покражей личного соучастия я взяла себе любезное противоборство двух кувертов, двух разно-породистых лиц, ироническую неприязнь первого к „водочке” и „селёдке”, вопросительную безответную благосклонность второго, тогда — далеко Первого и старшего. Вот — давно лежит передо мной нерасшифрованный номерок с вешалки какой-то пирушки или велеречивого сборища, прижившийся к подножию лампы, а я, сквозь овальную пластмассу, вижу сигарный дым парижского ресторана, позолоченного швейцара, бесконечность шарфа, петлисто текущего из рукава бунинского пальто, и меня вовлекшую в эпическую метафорическую путаницу. Впрочем, не уверена, что в том заведении выдавали подобную арифметику в обмен на шубы и трости, на пальто и шарф, но здешняя усталая гардеробщица наверняка кручинилась о пропаже.

Не в ту ли пору чтения, впервые став лишним сотрапезником описанного обеда, придумала я мелочь поговорки: из великих людей уютного гарнитура не составишь.

Новёхонькая полночь явилась и миновала — самое время оказаться в Париже шестьдесят пятого, по-моему, года. Ни за что не быть бы мне там, если бы не настойчивое поручительство Твардовского, всегда милостивого ко мне. Его спрашивали о „Новом мире”, Суркова — об арестованных Синявском и Даниэле, меня — о московской погоде и о Булате Окуджаве, Вознесенского окружал яркий успех. Я подружилась с Юрием Анненковым, легко принимала раздражительный гнев Эльзы Триоле, дома угощавшей поэтов салатом, однажды в „Куполе” — полудюжиной устриц, порочно виновных в том, что „свежо и остро пахли морем”. Твардовский автора строк отстранённо почитал, но источником морского запаха, бледнея, брезговал и даже видеть его гнушался.

В этом месте и времени витиеватого сюжета накрепко появляются русские Маша и Витя, родившиеся не в России, всеми силами и молитвами сёрдца любящие Россию, вскормившие своих детей русским языком, моих — швейцарским детским питанием. Они специально приехали на объявленные литературные чтения, но опасались вреди-

тельно ранить приезжую отечественную боязливость. Прибыли они на автомобиле из Цюриха, где Маша преподает в университете российскую словесность, а Витя служит в известной электронной фирме, чьи сувенирные, шикарно-новогодние календари я неизменно получаю в течение переменчивого времени, большого трёх десятилетий, — не считая других даров и гостинцев и постоянной душевной заботы, охранительной и заметной. Маша и Витя украдкой пригласили меня в укромное монмартрское кафе. Нежно-аляповатая церковь Сокровенного Святого Сердца сверкала белизной, туристы сновали, художники рисовали, прелестницы уминали мороженое и каштаны, дюжие пышношевелюрные шевалье сопровождали или жадным поедом зрачков и очков озирали их высокие ноги, Синявский и Даниэль обретались — сказано где, Горбаневская еще не выходила с детьми к Лобному месту, я потягивала алое вино. Поговорив о погоде и о Булате, я внимала доверительным и странным речам. Маша и Витя жарко признались, что почитают своим долгом разделять судьбу России, а не Швейцарии, не в альпийских лугах, а в перелесках или даже в тайге. Я сочла своим долгом заметить, что нахожу их благородное стремление неразумным и безумным, хотя бы в отношении их урождённо-швейцарских детей. Недрами глубокой боли они спросили: „А как же все остальные? Как же Вы?“ — на что я загадочно ответствовала, что это — совсем другое дело, не предпринятый, а предначертанный удел. Но я звала их приехать в Москву, уверяя, что в Сибирь их не пустят. Так они и поступали не однажды, особенные препоны и неприятности, подчас унижительные, сопутствовали дорогóй Машиной маме Татьяне Сергеевне, ныне покойной московской уроженке.

В первый свой приезд Маша сказала мне, что в пустынном кафе с клетчатými скатертями на них более убедительно, чем моя откровенность, подействовал некий, не виданный ими прежде, нервный тик: я часто оглядывалась через плечо на отсутствующего соглядатая и слушателя.

Маша желала усыновить, больше — удочерить одинокого русского ребёнка, маленькие ее сыновья теперь почтенные семейные люди, говорящие с родителями на их и

моём языке, с прочим населением мира — на свойственных ему языках. Исполнение Машиной грёзы, возможно, было бы спасительно для сироты, но непозволительно.

В монмартрском кафе я спросила Машу и Витю о Набокове, удивив их силой не любознательного, а любящего чувства и тем, что я не знаю его адреса: Монтрё, отель „Монтрё-Палас”, где живет он замкнуто и плодотворно. Позднее, в год его семидесятилетия, слагалось и бродило в моей душе туманное письмо к Набокову, так и не обращённое в письмена. Нашлись бы способы их отправить, да и отважная Маша рискованно взялась бы мне содействовать, чего бы я не допустила. Но — пора не пришла.

Если бы и сейчас оглядывалась я через плечо на стороннего чужака, он вправе был бы спросить: а при чём здесь всё это? не слишком ли витийствуют мои ночи? не чрезмерен ли круг гостей в уме персонажей? Но я не приглашала его привередничать, моя ночь (новая) — моя свобода, пусть говорит память, подпирает лоб рука, изымая из него упорный диктант. Всё помещается в путанице бунинского шарфа: Набоков и мы, Маша и ее несбывшаяся дочь, может быть, и ныне хлебающая горюшко или, наоборот, обретшая маловероятное благоденствие.

Ночь кажется особенно тихой, в горние выси вознесенной. Днём на лестнице шумно трудится ремонт, заядлая дрель победительно вершит свое насущное авторство. Сегодня, уже вчера, шла я по теплой, словно нездешней, осени к близкому физкультурному учреждению, куда я не по чину навещаю в промежутках меж ночными сидениями.

Влюбленный мальчик начертал мелом на пришкольном асфальте: „МАША!” Кто-то другой, более восклицательно, вывел поверх первой надписи: „ТАМАРА!!!” и увенчал имя пририсованной короной. Я воздержалась от шулерской литературщины, оставив ту „Машеньку”, бывшую Тамарой, в цветных стёклах усадьбы Рукавишниковых, в полях и аллеях, в разлучающем холоде Петербурга и неизвестно где.

Все прохожие представлялись мне выпукло-яркими прообразами, уготованными для грядущих воспеваний, позирующими вымыслу обликом и судьбой. По дороге к „спор-



тивному комплексу” встретила мне прелестная, взросло и лукаво ясноглазая девочка-подросток, в теплых шортах и сапожках. К моему смущению, она доверчиво попросила у меня огня для сигареты. Жалея прозрачные лёгкие, я протянула ей зажигалку, оторопело заметив, что расхожий предмет, для трезвой насмешки над мелочными совпадениями или во славу девочки, имеет название: „Лолита”. На теннисных кортах и в бассейне порхало и плескалось целое скопище эльфов-Лолит — не опустела ли на миг обложка романа с мыкающим внутри Гум Гумычем?

Наступивший после снотворного перерыва день — рассеяней и тесней ночного дозора, ничего, скоро застучать. И во дне продолжаю я извилистый окольный путь к Женевскому озеру, чиня себе препятствия, удлиняя зигзаги, словно страшись желанной призывной цели, оберегая ее от огласки, но напрямик, наотмашь, в нее не попадешь. Снова поглядываю я в швейцарскую сторону Маши, испытанного ниспосланного проводника. Ее европейская сдержанность дисциплинированно облакает укрощённую бурю энергий, но христианка Маша никак не может быть тихим омутом с теми, кто в нём обычно водится. Даже ее визиты в Россию многозначительным намёком соответствовали опасному маршруту героя „Подвига”, исполняли его волю.

В декабре 1976 года я и Борис Мессерер оказались в сияющем пред-Рождественском Париже по приглашению Марины Влади и Владимира Высоцкого. Если бы не влиятельное великодушие Марины, не видать бы нам чужого праздника. Мы были частные, условно свободные, лица, но советское посольство не оставляло нас небрежной мрачной заботой. Когда мы в первый раз явились в него по недоброжелательному приглашению, сразу погасло недавнее Рождество. Автоматическая входная дверь автоматически не открылась, одолев ее вручную, мы столкнулись с угрюмым маститым привратником. Искося оглядев нас прозорливыми желваками щеки, он прикрикнул на нас с вышки пограничного стула: „Кто такие, куда идете, закройте за собой дверь!” Растлившись в парижском воздухе, я с неожиданной злобой ответила: „Моя фамилия вам ничего не скажет, но потрудитесь встать и закрыть за мной дверь”. Видимо, это

произвело некоторое загадочное впечатление, потому что впоследствии он нехотя закрывал дверь, то ли думая: а черт их знает, кто они такие, или попросту оберегая себя от докучной парижской прохлады. Проходя по брусчатому двору старинного осквернённого особняка, Борис обмолвился, что распрата оборонительного чувства на нижние чины излишня. Надо сказать, что, по мере возвышения чинов, примечательная привычка смотреть куда-то мимо глаз возрастала: советник по культуре владел ею в совершенстве. Незлопамятно подтверждаю, что ему удалось быть затмевающим соперником Эйфелевой башни и замков на Луаре. Беседа с ним не имела другого культурного значения, кроме настоящего предостережения от встреч со знакомыми, от знакомств, от общения с русскими и французами, особенно со славистами, от всех здешних жителей, имеющих неодолимую склонность провоцировать простоватых соотечественников. С рабской тоской я молча думала: кто же будет заниматься этим вздором в подаренном ненадолго городе, если не вы и ваши приспешники?

Покинув отечественную территорию, мы зашли в кафе, где балетно-изящный официант провокационно подал нам по рюмке литературно близкого кальвадоса, который мы уже повадились свойски называть „кальва“.

Всё же Париж расточительно брал и отдавал свое. Стояла нежная влажная зима, не вредящая уличной разновидности бальзаминов, цветущих в горшках отечества под прозвищем „Ванька-мокрый“, по утрам из всех пригласительных дверей пахло кофе и круассанами, мы неизбежно встречались со старыми и новыми знакомыми, с русскими и французами, особенно со славистами, тщательно упасавшими нас от провокаций, понятно чьих. Редкие мои выступления посещали поддельно художественные или интеллектуальные лица, при появлении которых публика умолкала или оживленно интересовалась влиянием Марселя Пруста на русские умы. На одном чтении Гладили в первом ряду громко уронил магнитофон и послал мне дружескую, испуганно-извиняющуюся гримасу, на что я ободряюще сказала: „Толя, не валяй дурака“. Возле места, где мы жили, между бульваром Распай и Монпарнасом, сострадав,

наблюдали мы разрозненные шествия слепых, постукивающих тростью по мокрому асфальту, сначала принимаемые мною за таинственный знак, понукающий глядеть, вглядываться, разглядывать и наслаждаться этим даром, оказалось, что неподалёку помещалась школа для людей, пораженных слепотой. Мы виновато смотрели во все глаза. Но главное счастье обитало вместе с нами в маленькой Марининой квартире на рю Руссле: можно было неспешно и ограждённо жить внутри отверстого Парижа, дарительной властью Марины вызволившего нас на время, но и навсегда, из объятий Китайской или Берлинской стены. Маринины волосы особенно золотились, когда редко и прекрасно приезжал Володя. Однажды она и меня превратила в блондинку, я с отчуждением спрашивала свое новое, омытое Парижем, лицо: а помнит ли оно, откуда оно и куда, но ему напоминали. Как-то мы заблудились рядом с „Гранд-Опера“, и Володя задумчиво сказал мне: „Знаешь, в одном я тебя превзошел“. Я удивилась: „Что ты! Ты — во всём меня превзошел“. — „Да нет, я ориентируюсь еще хуже, чем ты“. И теперь я не знаю: так ли это?

Маша часто звонила нам из волнующей швейцарской близи.

И вот, осмысленным приступом одной целой ночи, я, без черновика и второго экземпляра, написала письмо Набокову и поздним утром опустила его в почтовый ящик, дивясь простоте этого жеста. Теперь оно незначительно принадлежит архивам Набокова и, вскоре продиктованное по памяти, — коллекции Ренэ Герра.

Нынешней глубокой ночью, двадцать лет спустя, я могу лишь приблизительно точно восстановить отправленный из Парижа текст, точнее, конспект его, но смысл послания жив и свеж во мне, усиленный и удостоверенный истекшим временем. Эта ночь оказалась много трудней и короче той.

Дневная репродукция вкратце такова. Я писала Набокову, что несмелая весть затеяна вдалеке и давно, но всегда действовала в содержании моей жизни. Что меня не страшила, а искушала возможность перлюстрации: де, пусть некто знает, что всё подлежит их рассмотрению, но не всё —

усмотрению, но в этом случае письмо разминулось бы с получателем или поставило бы его в затруднительное положение иносказательного ответа или не-ответа. Что я прихожусь ему таким читателем, как описано в „Других берегах” кружение лепестка черешни, точно-впопад съединяющегося с отражением лепестка в темной воде канала, наступающего свою двуединую цельность. И совсем не одна я не слабоумно живу в России, которую ему не удалось покинуть: почитателей у него больше, чем лепестков у черешни, воды у канала, но всё же он величественно вернется на родину не вымышленным Никербокером, а Набоковым во всей красе. (Мне доводилось в воду смотреть: когда-то давно я ответила директору издательства на упрёки в моём пристрастии к Бродскому, мешающем, вместе с другими ошибками, изданию моей книги: „О чём вы хлопочете? Бродский получит Нобелевскую премию, этого мне достанет для успеха”.) Я подробно описывала, как я, Борис Мессерер и его кузен Азарик Плисецкий пришли в дом Набоковых на Большой Морской в Петербурге, тогда — на улице Герцена в Ленинграде. Злобная бабка — таких сподручно брать в понятия — преградила нам путь. Я не обратила на нее внимания. За препятствием бабки, внизу, некогда жил припеваючи швейцар Устин — но и мехá подаваючи, и двери открываючи, что было скушнее господских благодеяний. Это он услужливо преподнес восторжествовавшим грабителям открыто потаенную шкатулку, чьим волшебным переливчатым содержимым тешила молодая мать Набокова хворобы маленького сына. В новой, посмертной для Устина, но не иссякающей жизни, повышенный в звании, он вполне может служить синекуре посольской охраны. Сейчас снизу несло сильным запахом плохой еды. Витраж, судя по надписи в углу, собранный рижским мастером, кротко мерцал, как и в былые дни, но причинял печаль. Я говорила, что вон там стояла мраморная безрукая Венера, а под ней — малахитовая ваза для визитных карточек. Бабка, всполошившись, побежала за начальником ничтожного учреждения. Вышел от всего уставший начальник. За эти слова, в немыслимом, невозможном будущем, похвалит меня Набоков. Потом я узнаю, что сестра его Елена Владимировна прежде нас посетила этот

дом, но бабка ее не пустила: „Куда идете, нельзя!” — „Я жила в этом доме...” — „В какой комнате?” — „Во всех...” — „Идите-ка отсюда, не морочьте голову!” Уставший от всего начальник устало оглядел нас: „Чего вы хотите?” — „Позвольте оглядеть дом. Мы — безвредные люди”. И он позволил. Дом был изувечен, измучен, нарушен, но не убит, и, казалось, тоже узнал нас и осенил признательной взаимностью. К тому времени сохранились столовая, отделанная дубом, где и обитал уставший начальник, имевший столовую в бывшем Устиновом жилище, на втором этаже — комната с эркером, где родился Набоков.

Письмо вспоминается ошущи более объёмистым, чем уму, думаю, в нём содержались и другие доказательства того, что лепесток настиг свое отражение и с ним неразлучен.

Разговаривая с Машей по телефону о возможной поездке в Швейцарию, я не думала о Монтрё: Набоков был повсеместен, моя подпись под письмом это заверяла, мне полегчало.

В Париже мы много читали, но для присущей нам общительности времени щедро хватало. Мы подружались с Наталией Ивановной Столяровой, гостившей у Иды Шагал. Рождённая в Ницце Муза блестяще несчастного Бориса Поплавского в молодости стремилась в Россию, где и провела в лагерях лучшую пору жизни. Теперь она с молодым смехом почитывала газетные программы вечерних увеселений, подчас фривольных, и мы частенько посещали их вместе со Степаном Татищевым. На одном из них, куда мы по ошибке затесались, женщин, кроме нас с Наталией Ивановной, не было, на нас поглядывали, и Степан Николаевич тайком шепнул ей, с чуждой парижской усмешечкой: „Мадам, я скажу папá, куда вы меня заманили”.

Степан Татищев, родившийся во Франции, много сделал для русской литературы, и для нас — по доброте и веселости сердца. Он давно умер в День четырнадцатого июля, как если бы для совершенной свободы не выпало ему соответствующего русского числа, а стройная его жизнь была прочно зависима от России. Где-то ждет своего часа бутон моего черновика, воспевшего розовые соцветья хрупко-мощной магнолии во дворе его дома в пригороде Фонтанэ-

о-Роз. Как-то вечером Степан дал нам, на одну ночь прочтения, неотчетливую машинопись повести „Москва—Петушки”, сказав, что весьма взволнован текстом, но не грамотен в некоторых деталях и пока не написал рецензию, которую срочно должен сдать в издательство. Утром я возбужденно выпалила: „Автор — гений!” Так я и Борис впервые и навсегда встретились с Веничкой Ерофеевым и потом (сначала Борис) вступили с ним в крайнюю неразрывную дружбу.

Меж тем консульство легко дозволило нашу поездку в Швейцарию и Италию — при условии точного соблюдения всех иностранных формальностей, придирчивых к нам и педантичных, отечественная виза имела полугодовую длительность. Из всего этого я сделала свои неопределенные, очень пригодившиеся нам выводы.

В Женеву отправилась с нами и Наталия Ивановна. На перроне нас встречала Маша с друзьями. Завидев их, Наталия Ивановна встрепелась: „Это не опасно для вас? Вы хорошо знаете этих людей?” Я радостно утвердила: „О да!” Устроились в гостинице, заказали ужин. Вдруг Борис спросил Машу: „Монтрё — далеко отсюда?” Маша ответила: „Это близко. Но еще есть и телефон”. Я испугалась до бледности, но Маша, поощряемая Борисом, сразу позвонила Елене Владимировне Набоковой (в замужестве Сикорской). Та откликнулась близким обнимающим голосом: „Брат получил Ваше письмо и ответил Вам. Он будет рад Вас видеть. Сейчас я съединю Вас с ним”. Мы не знали, что в наше отсутствие консьержка Маринино дома взяла из рук почтальона автограф Набокова, хранимый нами. Бывало, прятали его от каких-нибудь устинов, но они, открытым способом, не пожаловали. Телефон сработал мгновенно и невероятно, но я успела расплакаться, как плакса. Я не посягала видеть Набокова. Трижды терпела я бедствие обожания: при встрече с Пастернаком, с Ахматовой, и вот теперь, с небывалой силой. ГОЛОС — вступил в слух, заполнил соседние с ним области, не оставив им ничего лишнего другого: „Вам будет ли удобно и угодно посетить нас завтра в четыре часа пополудни?” Замаранная слезами, я бесслѣзно ответила: „Да, благодарю Вас. Мы всенепременно будем”.

Утро помню так: Женевское озеро, завтрак вблизи

блистающей воды, среди ранне-мартовских и вечно цветущих растений, ободряющую ласку Елены Владимировны, ее вопрос, должно быть, имеющий в виду отвлечь меня от переживания: „Как по-русски называется рыба „соль“?” — „Не знаю. У русских, наверное, нет такой рыбы. Соль есть”.

Елена Владимировна простилась с нами до новой встречи. Мы помчались. Маша предупредила меня, что на дороге, около Веве, нас поджидает англичанин, местный профессор русской литературы, любитель кошек, мне, почитателю кошек, желающий их показать. Есть у него и собаки. Симпатичный профессор, действительно, радушно ждал нас на обочине. По моему лицу, ставшему бледным компасом, он определил: „В Монтрё? А в паб успеем заглянуть?” Кошек и собак мы не увидели, в паб заглянули, процессия увеличилась.

Следующую часть воспоминаний, в рассказях моих, я называла: цветочная паника в Монтрё. Некоторые улицы маленького города были закрыты для автомобилей, мы спешили, я хотела купить цветы для Веры Евсеевны Набоковой. Мы с Машей посыпались вниз по старой покато́й мостовой. До четырех часов оставалось мало времени, наши спутники волновались. Наконец, мы влетели в цветочный магазин, а их вокруг было множество.

Уклюжая, европейски воспитанная Маша при входе толкнула прислугу, несшую кружку пива для величавой хозяйки магазина, восседающей на плюшевом троне. Кружка упала и покати́лась, угощая пол, игриво попрыгивая в раздолье собственного хмеля. Цветущая хозяйка разглядывала невидаль нашего вторжения с праздничным интересом. Мы пререкались на языке непостижимого царства: „Маша, пожалуйста, я сама куплю несколько роз”. — „Нет, я куплю несколько роз, а вы преподнесёте”.

Интерес хозяйки к нашей диковинке радостно расцветал. Я заметила: „Маша, по-моему, вам следует перейти на французский, нас не совсем понимают”. Маша, помедлив меньше минуты, заговорила по-французски: „Мадам, я заплачу́ за кружку и за пиво. У вас есть розы?” Царственная хозяйка ответила: „Мадам, пивная — рядом, там достаточно пива и кружек, они не входят в ваш счёт. Это — цветоч-

ный магазин. Розы — перед вами, извольте выбрать”. Маша заплатила за розы. Мы побежали вверх к отелю „Монтрё-Палас” и точно успели, хоть Маша, розы и я чуть не задохнулись.

На трудные подступы к цели и многие помехи ушли не письменные ночь, день, ночь. Движение, опережающее свои следы на бумаге, всё же продолжалось. Натруженный исток глаз опять снабжает их маленькими северными сияниями, предостерегающе добавленными к свету лампы, к огоньку зажигалки.

...Без пяти минут четыре мы с Машей, запыхавшись, присоединились к спутникам при входе в отель. Услуживший почтительно предупредил, что нас ожидают наверху, в „Зеленом холле”. Поднялись Маша, Борис и я.

„Зеленый холл” был зелен. Перед тем как, с боязливым затруднением, вернуться в него сейчас, ноябрьской московской ночью, я, на пред-предыдущей странице, прилежно зачеркнула пустозначные эпитеты, отнесенные к Голосу, услышанному в телефоне, и не нашла других. Этот Голос пригласил Машу остаться: „Вы не хотите побыть вместе с нами? Я не смогу долго беседовать: неловко признаваться, но я всё хворал, и теперь не совсем здоров”. Благородная Маша отказалась, ничего не взяв себе из целиком оставленного нам события. Был почат март 1977 года. Правдивая оговорка имела, наверное, и другой, робко-защитительный, смысл: званые пришельцы, хоть и умеющие писать складно-бесвязные письма, всё же явились из новородной, терзающей, неведомой стороны. Пожалуй, наши вид и повадка опровергали ее предполагаемые новые правила, могли разочаровывать или обнадеживать. Сначала я различала только сплошную зелень, оцепенев на ее дне подводным тритоном.

Прелестная, хрупкая, исполненная остро грациозной и ревнивой женственности, Вера Евсеевна распорядилась приютить цветы и опустить прозрачные зеленые шторы. Стало еще зеленее.

Голос осведомился: „Что Вы желаете выпить?” Подали джин-тоник, и спасибо ему.

Меня поразило лицо Набокова, столь не похожее на все знаменитые фотографии и описания. В продолжение



беседы, далеко вышедшей за пределы обещанного срока, Лицо нисколько не имело оборонительной надменности, запрета вольничать, видя, что такой угрозы никак не может быть.

Я выговорила: „Владимир Владимирович, поверьте, я не хотела видеть Вас”. Он мягко и ласково усмехнулся — ведь и он не искал этой встречи, это моя судьба сильно играла мной на шахматной доске Лужина. Осмелев, я искренне и печально призналась: „Вдобавок ко всему, Вы ненаглядно хороши собой”. Опять милостиво, смущённо улыбнувшись, он ответил: „Вот если бы лет двадцать назад, или даже десять...” Я сказала: „Когда я писала Вам, я не имела самолюбивых художественных намерений, просто я хотела оповестить Вас о том, что Вы влиятельно обитаете в России, то ли еще будет — вопреки всему”. Набоков возразил: „Вам не удалось отсутствие художественных намерений. Особенно: этот, от всего уставший, начальник”. Я бы не удивилась, если бы впоследствии Набоков или Вера Евсеевна мельком вернулись к этой встрече, исправив щедрую ошибку великодушной поблажки, отступление от устоев отдельности, недоступности, но было — так, как говорю, непоправимым грехом сочла бы я малое прегрешение пред Набоковым. Он доверчиво спросил: „А в библиотеке — можно взять мои книги?” Горек и безвыходен был наш ответ. Вера Евсеевна застенчиво продолжила: „Американцы говорили, что забрасывали Володины книги на родину — через Аляску”. Набоков снова улыбнулся: „Вот и читают их там белые медведи”. Он спросил: „Вы вправду находите мой русский язык хорошим?” Я: „Лучше не бывает”. Он: „А я думал, что это замороженная земляника”. Вера Евсеевна иронически вмешалась: „Сейчас она заплачет”. Я твёрдо супротивно отозвалась: „Я не заплачу”.

Набоков много и вопросительно говорил о русской эмигрантской литературе, очень хвалил Сапу Соколова. Его отзыв был уже известен мне по обложке „Школы для дураков”, я снова с ним восторженно согласилась. Когда недавно Саша Соколов получал в Москве Пушкинскую премию Германии, я возрадовалась, подтвердив слова Набокова, которые я не только читала, но и слышала от него самого.

Он задумчиво остановился на фразе из романа Владимира Максимова, одоббив ее музыкальность: „Еще не вечер”, что она означает? Потом, в Москве, всезнающий Семён Израилевич Липкин удивился: неужели Набоков мог быть озадачен библейской фразой? В Тенишевском училище не навязчиво преподавали Закон Божий, но, вероятно, имелись в виду слова не из Священного Писания, а из романа. Перед прощанием я объяснила, что они не сознательно грубо бытуют в просторечии, например: я вижу, что гостеприимный хозяин утомлён еще не прошедшим недугом, но не захочу уходить, как недуг, и кощунственно промолвлю эти слова, что, разумеется, невозможно.

Я пристально любовалась лицом Набокова, и впрямь, ненаглядно красивым, несдержанно и открыто добрым, очевидно посвященным месту земли, из которого мы небывало свалились. Но и он пристально смотрел на нас: неужто вживе есть Россия, где он влиятельно обитает, и кто-то явно уцелел в ней для исполнения этого влияния?

Незадолго до ухода я спросила: „Владимир Владимирович, Вы не охладели к Америке, не разлюбили ее?” Он горячо уверил нас: „О нет, нимало, напротив. Просто здесь — спокойнее, уединенней. Почему Вы спросили?” — „У нас есть тщательно оформленное приглашение Калифорнийского университета UCLA (Ю СИ ЭЛ ЭЙ), но нет и, наверное, не будет советского разрешения”. С невероятной живостью современной отечественной интонации он испуганно осведомился: „Что они вам за это сделают?” — „Да навряд ли что-нибудь слишком новое и ужасное”. Набоков внимательно, даже торжественно, произнес: „Благословляю вас лететь в Америку”. Мы, склонив головы, крепко усвоили это благословение.

Вот что еще говорит память утренней ночи. Набоков сожалел, что его английские сочинения закрыты для нас, полагался на будущие переводы. Да, его самородный, невиданный-неслыханный язык не по уму и всеведущим словарям, но впору влюбленному пронизательному предчувствию. Он сказал также, что в жару болезни сочинил роман по-английски: „Осталось положить его на бумагу”. Откровенно печалился, что его не посетил очень ожидаемый

Солженицын: „Наверное, я кажусь ему слишком словесным, беспечно аполитичным?“ — мы утешительно искали другую причину. Вера Евсеевна с грустью призналась, что муж ее болезненно ощущает не изъявленную впрямую неприязнь Надежды Яковлевны Мандельштам. Я опровергала это с пылким преувеличением, соразмерно которому, в дальнейшем, Н.Я. круто переменяла свои чувства — конечно, по собственному усмотрению, но мы потакали. (Надежда Яковлевна зорко прислушивалась к Борису, со мной любила смеяться, шаяля остроязычием: я внимала и подыгрывала, но без вялости.)

Еще вспомнилось: Владимир Владимирович, как бы извиняясь перед нами, обмолвился, что никогда не бывал в Москве, — но имя и образ его волновали. Меня задело и растрогало, что ему, по его словам, мечталось побывать в Грузии (Борису кажется: вообще на Кавказе): там, по его подсчётам, должна водиться Бабочка, которую он нигде ни разу не встречал. (Встречала ли я? Водится ли теперь?)

Внезапно — для обомлевших нас, выдыхом пожизненной тайны лёгких, Набоков беззащитно, почти искательно (или мы так услышали) проговорил: „Может быть... мне не следовало уезжать из России? Или — следовало вернуться?“ Я ужаснулась: „Что Вы говорите?! Никто никогда бы не прочитал Ваших книг, потому что — Вы бы их не написали“.

Мы простились — словно вплавь выбираясь из обволакивающей и разъединяющей путаницы туманно-зеленых колеблющихся струений.

После непредвиденно долгого ожидания наши сподвижники встретили нас внизу с молчаливым уважительным состраданием.

Перед расставанием, у подножия не достигнутой Кошачьей и Собачьей вершины, очаровательный английский профессор русской литературы продлил мимолетность многоизвестного Вева: „Полагаю, теперь-то у нас достаточно времени вкратце за-бе-жать в паб? (на побывку в паб-овку)“.

В Женеве мы еще раз увидели Елену Владимировну. Она радостно сообщила, что говорила с братом по телефону и услышала удовлетворительный отзыв о нашем визите.

Далее — мы погостили у Маши и Вити возле Цюриха, принимая безмерную ласку Татьяны Сергеевны и милых ее внуков, поднимались на автомобиле в Альпы, где нарядные, румяные лыжники другого человечества сновали вверх и вниз на фуникулёрах и беспечных крыльях. Среди веселой и степенной толчеи мы, как захребетный горб, бережно несли свою независтливую и независимую инородность. Грустно и заботливо провожаемые Машей и Витей, мы на поезде уехали в Италию, в дарованные красоты Милана, Рима и Венеции. Монтрё — не проходило, сопутствовало и длилось, неисчислимо возвышая нас над рóвней всемирного туризма. Встречали мы и сплоченные стаи соотечественников, многие нас подчеркнуто чурались, несмотря на посылаемые мной приниженные родственные взгляды. Борис во взглядах не участвовал, но как раз про меня кто-то из них потом рассказывал, что я заносчиво или злокозненно сторонила сограждан и льнула к подозрительным заграничным персонажам. И то сказать: диковато неслась по Риму, словно взяв разгон со славной „Башни” Серебряного века, чужеродная крылатка Дмитрия Вячеславовича Иванова, и мы за ней — почему-то мимо тратторий в „Русскую чайную”. И устроительница нашего итальянского путешествия красавица Ляля заметно выделялась надменностью взора и оперения.

В Милане, в доме итальянки Марии, встречали мы день рождения Бориса. Картинно черноокая и чернокудрая Мария и гости в вечерних нарядах, не видевшие нас всю свою жизнь, теперь не могли на нас наглядеться и порадоваться. Сорок четыре свечи сияли на просторном, сложно-архитектурном торте, осыпавшие его съедобные бриллианты увлекли мое слабоумное воображение. Приветы, подарки, задравные тосты в честь нас и нашей далекой родины так и сыпались на нас. Удивительно было думать, что в это время кто-то корпит и хлопочет, радея о разлуке людей, о причинении им вреда и желательной погибели.

В Париж мы вернулись самолетом в день моего выступления в театре Пьера Кардена. В метро мы видели маленькие афиши с моим мрачным лицом, не завлекательным для возможной публики. Кроме Марины, вспомогательно

восклицавшей „Браво!”, кроме прекрасной и печальной, ныне покойной, ее сестры Тани — Одиль Версуа, участвовавшей в исполнении переводов, кроме многих друзей, в зале открыто и отчуждённо присутствовали сотрудники посольства. По окончании вечера, нелюдимо и условно пригубив поданное шампанское, как всегда, отводя неумовимые глаза, они угрюмо поздравили меня с выступлением и тут же попеняли мне за чтение в Сорбонне, в Институте восточных языков. Я попыталась робко оправдаться: „Но там изучают русскую словесность”. — „Они и Солженицына изучают”, — был зловещий ответ. Я невнятно вякнула, что началу всякого мнения должно предшествовать изучение. Меня снова, уже с упором и грозной укоризной, предостерегли от „врагов”, употребив именно это слово. Притихшее множество „врагов”, заметно украшенное Шемякиным, стояло с бокалами в отдалении. По неясному упоминанию о театрах и балете я могла ясно понять, что они знают о наших встречах с Барышниковым, прилетавшим из Нью-Йорка по своим делам и успевшим изящно и великодушно нас приветить. Но, во-первых, они объявили мне, что в понедельник в девять часов утра я должна увидеться с посольским советником по культуре, и сразу ушли. Все повеселели и гурьбой направились домой к Тане — в изумительный, одухотворенный историей и Таней, особняк, бывший когда-то посольской резиденцией России.

В автомобиле я расплакалась на „вражеском” плече погрусневшего Степана Татищева.

Была пятница. Взамен субботы и воскресенья наступило длительное тягостное ничто, Париж утратил цвет, погас, как свеча, задутая мощным темным дыханием.

В понедельник, удрученно переждав малое время в знакомом привале кафе, без пяти минут девять, мы опять свиделись с властолюбивым привратником. На этот раз дверь он открыл и закрыл, но, для разнообразия, поначалу не желал пропустить Бориса. Имеющие скромный опыт борьбы с бабкой в доме Набоковых на Большой Морской и самим властолюбцем, мы вошли. Столь близкие и одинокие в покинувшем нас Париже, мы стояли на брусчатой мостовой двора. В десять минут десятого врата отворились,

и в черном „мерседесе”, в черном костюме, в непроницаемых черных очках, вальжным парадом въехал советник, более сказочный и значительный, чем в „Щелкунчике”. Я, в неожиданное соблюдение отечественных правил, не преминула посетовать на гордого привратника, выскочившего кланяться и кивать в нашу сторону. Хозяин кабинета, по обыкновению, выбрал целью зрения не собеседника, а нечто другое — сверху и сбоку. Для приветственного вступления он, без лишнего опрометчивого одобрения, сдержанно похвалил меня за — пока-известное ему отсутствие грубых провокаций. С подлинным оживлением поинтересовался: правда ли, что мы видели Шагала? Кажется, посольство имело к Шагалу неподдельный, подобострастный и, наверное, наивно хитроумный своекорыстный интерес. Мы, действительно, по наущению и протекции Иды, продвигаясь вдоль Луары к югу Франции, видели Шагала в его доме, мастерской и музее близ Ниццы. Это посещение столь важно и великозначно, для Бориса во-первых, что я не стану его мимоходом касаться, как не коснулась пышных ранимых мимоз возле и вокруг дома Шагала, позолотивших пылью наши ноздри и лица. Но одним лишь целомудренным умолчанием не решусь обойтись.

В ту пору Марк Захарович работал над крупными, заказанными ему, витражами. Пока мы ожидали его, Валентина Григорьевна наставительно предупредила нас, что мы не должны говорить с ее мужем ни о чём печальном, тяжёлом, Боже упаси о смерти его знакомых. К тому времени умерли столь многие, в тихой бедности умер Артур Владимирович Фонвизин, но, и утаив всё это, мало имели мы веселеньких сведений. Шагал появился — лёгкий, свежий и светлый, как мимозовая весна за всеми окнами, огорчать его даже малой непогодой было бы грубо и неуместно. Он несколько раз возвращался к работе и вновь приходил. Видя нашу робость, он пошутил: „В сущности, я всё тот же — бедный еврей из Витебска, а вот Валентина Григорьевна — не мне чета, она происходит из великой фамилии киевских сахарозаводчиков Бродских”. Время от времени из художественных кулис выглядывала строгая красивая дама и весело озираала доuku нашей помехи. Марк Захарович попросил

меня прочесть что-нибудь. Среди нескольких стихотворений я прочла посвящение Осипу Манделъштаму — осторожно покосившись на Валентину Григорьевну, Шагал сказал, что помнит Манделъштама по восемнадцатому году в Киеве и, подражательно, закинул вдохновенную голову. Он сказал: „Вы хорошо пишете. Вот описали бы мою жизнь: Вы бы сидели, я бы рассказывал”. Прельстительную картину этого несостоявшегося сидения, вблизи дивных, известных нам, картин на стенах, описываю долгим любящим вздохом. (Впоследствии я удивилась, узнав от художника Анатолия Юрьевича Никича, что пришлась-таки вниманию мастера примеченной им деталью. Он указал на стул: „Вот здесь сидела Ахмадулина и читала стихотворение о Манделъштаме”).)

Марк Захарович повёл нас к своим витражам, они сильно светились в оконных просветах темного помещения. Слестницы, как с таинственных высот, привычных для его персонажей, он ребячливо поглядывал на нас и, специальной краской, прописывал и дописывал на стекле сложную логику узоров...

...Я подтвердила: „Мы были у Шагала” — и добавила: „Видели мы также, в Швейцарии, Набокова”. Советник напряжённо подумал и сказал после паузы: „Не знаю”.

Затем, уже определённо глядя в сторону запретного континента, он строго осведомился: что за слухи ходят о нашем намерении отправиться в Америку? Он мог иметь в виду „Голос Америки”, с ведома нашего и Марины оповестившего о почётном университетском и академическом приглашении, нами принятом. Опять с искренней живостью он захотел знать: если бы это вдруг стало возможным, как мы собираемся там жить? на какие деньги и какое время? Это было очень интересно только в смысле нашей наглости, про остальное было понятно, что бабушка надвое сказала и не то еще скажет. Я объяснила, что у нас есть контракт, условия которого вполне обеспечивают трёхмесячное пребывание в США. Терять мне было нечего, и я не скрыла, что до Америки мы намерены побывать в Англии, на фестивале в Кембридже, где мы единственные представители России, и было бы невежливо отказать. Тут советник сурово спохватился: „Ну, насчёт Англии мы еще посмотрим,

а на Америку обождите замахиваться, надо обсудить с Москвой”. — „А когда вы обсудите?” — „Не знаю, это быстро не делается. Позвоните мне через неделю-другую”. — „Всё-таки когда?” — „Я сказал”. На этой твердой точке мы распрощались и больше не встретились. Мы позвонили через неделю, потом через другую. Высокопоставленный абонент нелюбезно и раздраженно отвечал, что Москва и он еще не решили. По истечении двух недель, впервые вкушая поступок отчаянного и опасного веселья, я сказала брошенной в посольстве трубке: „Адъё, месье”. (Так Твардовский, напевая „Баргузина”, останавливался, высоко вздымая многозначительный указующий перст: „в о л ю п о ч у я!”)

В тот же день мы вылетели в Лондон вместе с Наталией Ивановной Столяровой. Мы подбивали ее пуститься во все тяжкие — в Америку, обещая дружбу и поддержку, но, не вняв урожденно грассирующему гневу и воспитанному английскому произношению бывшей зэка Наталии Ивановны, непреклонные британско-американские чиновники виз ей вежливо не дали. Наши документы и билеты пунктуально лежали в Американском посольстве Великобритании.

В Кембридже я читала стихи, сопровождаемые красивыми, точь-в-точь непохожими на суть переводами. Но суть была в том, что я воочию видела, как лепесток черешни точно попадает в свое отражение.

Мы могли проведать комнату, где студентом жил Владимир Набоков, и своеобразные уголья его профессора, но, иносказательно выражаясь, остереглись развязно уподобиться давнему застенчивому гостю и, уже в третий раз, ступить неосторожной ногой в помещенный на полу чайный сервиз.

В Лондоне, в пабе, куда, говорят, заживал Диккенс, как бы с ним и со всемирно сущими друзьями мы отметили мое сорокалетие.

Простор близлежащей белой бумаги можно было бы посвятить чудесам Америки и чуду всемогущей Москвы, вдруг ослабевшей и, после скрытого от нас умственного труда, разрешившей продление наших советских виз. Сотрудники консульства в Сан-Франциско, в охранительном присутствии двух элегантных дам — профессоров слависти-



ки, вернули нам взятые для изучения дерзко растолстевшие паспорта, наш напряженный интерес к ним их забавлял: за последствия самовольного странствия отвечала Москва. Дамам, с пронизательным ироничным радушием, предложили армянского коньяка, меня попросили поделиться впечатлениями, откровенно благоприятными.

В отличие от любимого мной Эмпайр стейт билдинга, нью-йоркский консул, или заместитель его, недоброжелательно не скрывал, что наше посещение уже излишне, но наша поутихшая удаль уже репетировала возвращение. На стене висел рекламный плакат: притворно гостеприимный и великолепный Калининский проспект, сосед нашей Поварской. Не глядевшее на меня лицо всё же спросило: „Чему это вы улыбаетесь?“ — „Да вот думаю: пора мне занять мое место в очереди в Новоарбатском гастрономе“. Так оно вскоре и вышло.

В Париже бледный молодой человек, должный поставить последнюю отметку в наших паспортах, взирал на меня с явным ужасом и затаённым справедливым укором. С искренним сочувствием я сказала ему: „Мы вас специально не предупредили, опасаясь неприятностей для вас. Мне очень жаль, если мы вам чем-нибудь повредили. Но вы же не виноваты, вы ничего не знали. От начальства мы не таились, оно знало“. Молодой человек подвижнически прошептал: „Оно — откажется. Вы лучше о себе подумайте“.

Всё это и многое другое давно миновало.

Светало, темнело, скоро опять рассветёт. Мы с Собакой выходили в яркое совершенное полнолуние. Луна, недавно бывшая вспомогательным месяцем, как ей и подобает, преуспела много больше, чем я.

В конце прошлого года Борис и я оказались в Женеве — участниками равно́ глубокомысленного и бессмысленного конгресса. Азарик Плисецкий, с которым навещали мы дом Набокова, работает в Швейцарии у Мориса Бежара. Мы увидели замечательную, тревожащую балетную постановку „Короля Лира“. Пугающе одинокий, поверженный, безутешный старый Король и был сам Бежар. (То-то бы осерчал Толстой.)

Вместе с Азариком, в его машине, медленно пронеслись

мы мимо Лозанны, мимо Веве, где добрый английский профессор уже не мог ожидать нас на дороге и заманивать в паб.

Мы поднялись на кладбище Монтрё и долго недвижно стояли возле мраморных могильных плит Владимира Владимировича и Веры Евсеевны Набоковых.

Внизу ярко, по-зимнему серьезно, мерцало Женевское озеро, цветные автомобили мчались во Францию, в Италию, в Германию — кто куда хочет. Справа, в невидимой прибрежной глубине, помещался замок „Шильонского узника“. Пространная лучезарная округа, ограниченная уже заснеженными горами, отрицала свою тайную связь с Петербургом, станцией „Сиверская“, с Вырой, Рождеством, солнце уходило в обратную им сторону.

Наверное, нет лучшего места для упокоения, чем это утешное, торжественное, неоспоримое кладбище. Но нам, остро сведенным тесным сиротским братством, невольню и несправедливо подумалось: „Почему? За что?“

На обратном пути мы помедлили возле отеля „Монтрё-Палас“. Праздничная чуждая суতোлка не иссякла: швейцары и грумы распахивали дверцы лимузинов, отводили их на место, уносили багаж, на мгновение открывали зонты над нарядными посетителями, дамы, ступая на ковер, придерживали шляпы и шлейфы. Нам отель показался необитаемо пустынным, громоздко ненужным.

Тогда, в 1977 году, наше путешествие вызвало нескончаемые расспросы, толки и пересуды. Все наши впечатления превысила и на долгое время остановила весть о смерти Владимира Владимировича Набокова, настигшая и постигшая нас вскоре после возвращения. Пределы этой разрушительной вести и сейчас трудно преступить.

Дом на Большой Морской давно опекаем, жива спасенная Выра, книги Набокова можно взять на прилавке и библиотеке, но, напоследок согбенно склоняясь над многодневными и многонощными страницами, я помышляю о чём-то большем и высшем, имеющем быть и длиться. Так или иначе, всё это соотнесено с названием вольного изложения значительной части моей жизни.

Ноябрь 1996

в Москве

Недавно я получила от глубокоуважаемой госпожи Нелли Биуль-Зедгинидзе книгу: „Литературная критика журнала „Новый мир“ А. Т. Твардовского (1958 – 1970 гг.)” – с предшествующей надписью: „На память об эпохе”. Весомый и обстоятельный том содержит замечательно тщательное, кропотливое и доблестное исследование всех свершений и злоключений знаменитого журнала. В многотрудном реестре действует множество событий, перипетий, грозных вмешательств и мелких козней, присутствуют неисчислимые лица и характеры, мельком упоминаюсь даже я. Это незначительное обстоятельство живо вернуло мне упомянутую эпоху – „чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй”, имевшее некоторые промашки и огрехи. На соотношение с ним, пусть косвенное, уходила жизнь, но кое-что спасительно оставалось на разживу. Исчерпывающая серьезность книги и других трудов освобождает меня от многозначительных рассуждений, позволяя лёгкость или легкомыслие воспоминаний.

Долгое время я соседствовала с Александром Трифоновичем Твардовским в дачном подмосковном посёлке. Его придирчивость к новому литературному поколению поначалу распространялась и на меня, но вскоре сменилась прямой милостью и снисходительностью. Это соседство казалось моему отцу несоразмерным и непозволительным: Василий Тёркин был главным сподвижником и любимцем его солдатской жизни. После войны, раненый и контуженный, он часто бредил и, не просыпаясь, громко читал отрывки из поэмы, просвещая мои детские ночи. Впоследствии мы в два голоса читали классическое стихотворение „Из фронтовой потёртой книжки”, до сих пор мной любимое.

Мои вид и повадка его смущали. Однажды, уже расположившись ко мне, он робко спросил: „Уж если непременно надо носить брюки, — нельзя ли — чтобы черные?“

Мое пылкое отношение к Пастернаку, изъясненное и в стихах, Твардовский находил чрезмерным, незрелым и витиеватым. Стихи, с прозой внутри, дороги мне и теперь: они вживе сохранили для меня случайную встречу с Борисом Леонидовичем глубокой переделкинской осенью 1959 года. В посвящение ему я уже была исключена из Литературного института, мелкие невзгоды и угрозы льнули ко мне, но что значил этот воспитующий вздор вблизи его лица, голоса, ласкового приглашения зайти, которому я, от обожания, не откликнулась? Гонения и издевательства, павшие на Пастернака, Твардовский близко, но неопределенно принимал к сердцу. Не знаю, мог ли он тогда примерять к себе крайнюю степень возвышенного, оскорбленного, недоумевающего одиночества, разрушающего организм, причиняющего болезнь и смерть.

По мере жизни и бесед его рассуждения об Ахматовой и Цветаевой становились всё мягче и пронизательнее. Анна Андреевна особенно понравилась ему в Италии, он покорно принял на себя власть ее статьи и голоса, отметив, как, отвергнув поднесенный бокал, она величественно и твердо сказала: „Благодарю вас, но дайте-ка мне рюмку водки“.

Нас сблизила страсть к Бунину, открытому ему в молодости смоленским учителем. Меня он недоверчиво и ревниво спросил: „Это вы-то знаете Бунина?“ Я и тогда говорила, что сочинения Бунина возвращают мне отъятую уроченность земли и речи, осязаемую и обоняемую как явь. Об унижении запрета ответить Бунину он умалчивал, но видно было, что оно не заживало.

Твардовского забавляло и чем-то радовало, что, несмотря на его повторяющиеся приглашения, я не печаталась в „Новом мире“: чем приветливее он был, тем менее приходило мне в голову ему докучать. Стихов ему я тоже не читала. Однажды он настоял, и я прочла длинное стихотворение, посвященное Цветаевой. Он удивился: „И всё это вы помните наизусть?“

Чаще всего мы встречались в милом, радушном доме

Верейских: с Орестом Георгиевичем, Ориком, Твардовский был очень дружен еще с военных времён. Являлись гости, завсегдатаями были Наталия Иосифовна Ильина и Александр Александрович Реформатский, жизнь щедро обманывала нас шутками и радостями застолья. Иногда и я рассказывала смешные истории, угождая Твардовскому простонародными словечками и оборотами, изображая разных персонажей, подчас зловещих. Про последних он как-то со вздохом обмолвился: „Эх, делали бы они столько зла, сколько надобно им для прожитку, так нет — всегда с запасом, с излишком”.

Твардовский неизменно называл меня: Изабелла Ахатовна, выговаривая мое паспортное имя как некий заморский чин. Однажды, опустившись передо мной на колени, он важно-шутливо провозгласил: „Первый поэт республики у ваших ног”. Я отозвалась: „А вы всё это называете республикой?”

Думаю, что первым поэтом условной республики он себя ответственно и тяжело ощущал. Так и в учебниках было объявлено, так он и смотрелся: непререкаемо-крупный, недоступный для бойкой доуки. Но время это, чтимое окружающими, утяжелялось и оспаривалось препонами, придирками, стопорами, искушениями уловок, уступок, косвенных поисков выхода. Для преодоления всего этого было бы сподручней уродиться чем-то более мелким, притким и уклончивым. Русский язык был его исконным родовым владением, оберегаемым от потрав и набегов. И перу подчас приходилось опасаться сторонней опеки, но, в добром расположении духа, говорил он замечательно. Его полноводная речь наступательно двигалась, медля в ложбинах раздумья, вздымаясь на гористые подъёмы деепричастных оборотов, упавая с них точно в цель. Некоторые слова были для меня пра-родительно новы — я запоминала и спрашивала Даля.

Казалось бы, это была избранная достопочтенная среда, оснащенная дачными угожьями и достатком. Но время продиралось сквозь изгороди и садовые заросли, вмешивалось в обеденные ритуалы террас разговорами об арестах и обысках. Будоражили мысль и совесть прибывающие све-

жие таланты, особенно — благородная проголодь гонимых питерских корифеев, по счастью, еще с юности моей, меня привечавших.

Но, конечно, главное было — Солженицын. Его разразившееся явление потрясло и переменило жизнь, во всяком случае мою.

Неповоротливая, привычно удушающая эпоха перестала казаться непоправимо бесконечной. Раньше никто, даже самым смелым помыслом, не надеялся ее пережить. Вдохновению слабых надежд сопутствовали сильные дурные предчувствия.

Уезжая в редакцию и возвращаясь, Твардовский был нелюдим и мрачен. Окрестная природа предлагала свои кроткие утешения. (Одно мое описание ее благолепия кончалось так: „Никто не знал, как мўка велика за дверью моего уединенья“.)

В зимнем лесу я часто встречала приметные следы Твардовского. Он шел медленно, грузно, там, где он останавливался, его палка оставляла на снегу глубокую темную вмятину, как бы помечавшую место его особенно печального раздумья. Его подавленность я относила не только к „Новому миру“, но и ко всему ходу жизни, к молодости, к роковому раскулачиванию его семьи, об этом — упаси Бог! — мы никогда не говорили. Вернувшись с похорон матери, он долго молчал, потом удрученно выговорил: „Только копань остался от всего, что было“.

(Во внимательных скобках замечу, что воспоминания Ивана Трифоновича Твардовского, появившиеся в печати много позже, поразили меня силой и простотой художественного слога. Я возразила Наталье Ильиной, что я не углядела в них уккоризны, бросающей тень на не сумевшего помочь брата. Только горе, безысходное общее горе вставало из скорбного бесхитростного повествования. Мое страдание к Твардовскому, постоянно несшему испепеляющую, не прощенную себе вину, лишь усилилось и многое прояснило в его тяжелых молчаниях и умолчаниях.)

Как-то мы сидели в поздних сумерках, при сильном запахе влажных предосенних флоксов. Бледно-голубые глаза Твардовского серебряно светились. Он таинственно и

тихо заговорил: „А вот что случилось у нас на Смоленщине с одним кузнецом. Только пробило полночь, как слышит он: кто-то стучит кнутовищем в кузню и покрикивает, да так протяжно, властно: „Кузнец, а кузнец, отвори ворота́”. Делать нечего, кузнец отворил. Видит тройку коней, у седока лицо темное, сокрытое. Тот ему, словно в насмешку: „Что, кузнец, можешь подковать моих лошадей?” Спорить не стал, начал с левой пристяжной. Заглянул ей сбоку в морду, а это и не морда вовсе, лицо Маланьи, что о прошлый год в пруду утопилась. Видит кузнец: дело-то нечисто, да отступать боязно. А правая пристяжная — точь-в-точь сосед Степан, его на сенокосе молоньей убило. Коренник не хотел себя показывать, воротил рожу, но скалился по-знакомому — был у нас пришлый лихой мужик, озоровал на дорогах. Седок поблагодарил: „Ты — добрый кузнец, откинь-ка фартук, я тебе награды насыплю”. Насыпал в большой кожаный фартук видимо-невидимо золота — и укатил. Кузнец очухался, заглянул в фартук, а там не золото, а — неловко сказать — говно. Вот: подсобил вражьей силе”.

В доверительном, волнующем рассказе я не усомнилась. Сторонне желалось для Твардовского другой жизни, другого детства, с ребятишками, скачущими в ночное, с шепотами у костра на Бежином или другом лугу, да, видать, не обойтись нам без вмешательства „вражьей силы”.

История мне полюбилась. Однажды, при многих людях, я попросила рассказчика повторить ее. Он сурово, с гневом и обидой, меня одёрнул, словно я дерзнула предать грубой огласке доверенную мне тайну. Потом я прочла у Бунина очень похожую запись, но одно другому не мешает: в разных губерниях водятся родственные небылицы, легко принимаемые за собственный опыт.

Всё племя леших, водяных, домовых и прочих их сородичей Твардовский по-крестьянски, не без тайного уважения, величал: „ОНИ”. Я сказала: „Ваши „ОНИ” — существа, в общем, игривые и безобидные, и креста боятся. А я, вкратце, говорю „ОНИ” про других, действительно страшных”. — „Это про кого же?” — помрачнел и напрягся Твардовский. „Да про всех вредителей живой жизни, вам ли не знать? Это „ОНИ” глумятся над вами и вашим журналом,

всем людям от них продыху нет, и от них не открестишься”. Твардовский очень осерчал и прикрикнул на меня: „Вы не смеете об этом судить! Вы — г л а в н о г о не видите. А в г л а в н о м — мы всегда были правы!” Это схематическое отвратительное г л а в н о е давно мне наскутило, я разозлилась: „А вы себя в „ОНИ” зачислили? Всё я вижу! Для „НИХ” главным всегда было уничтожать, душегубствовать, раскулачивать!” Твардовский поднялся, стукнул палкой: „Если бы вы были в моём доме, я попросил бы вас выйти вон!” Размолвка происходила у Антокольских, и хрупкая доблестная Зоя Константиновна бросилась на мою защиту: „Александр Трифонович, пока еще вы в моём доме и сами можете выйти, если хотите”. Это было так неожиданно и слишком, что все невольно смягчились. Антокольский засмеялся, Твардовский сел, опершись подбородком на набалдашник подобревшей палки. Я подытожила: „Александр Трифонович, разговор с вами вот так выглядит — я построила из рук треугольник, широко разведя локти и сомкнув пальцы, — начинаешь на равных и заходишь в тупик. А следовало бы вот так”, — я свела локти и обратила отверстые ладони к предполагаемому мирозданию. „Это что же за фигура такая?” — заинтересовался он. „Это наглядное пособие я сейчас специально для вас придумала”. — „Ну, это еще куда ни шло, а я было испугался, подумал: сюрреализм”.

Некоторые невинные „сюрреализмы” с нами порой случались. Вьюжным мартовским вечером сидели мы у Верейских. Твардовский пришел с опозданием и, по обыкновению последнего времени, выглядел угрюмым, раздражительным, утомленным. Рюмка ненадолго его оживляла. Грустно было видеть, как малою помощью вина пытался он облегчить необоримую душевную тяжесть. Расслабившись в тепле при близкой законной вьюге, потягивая вино, все несколько рассеянно слушали разговорившегося Твардовского, то и дело возвращавшегося к снедающей его теме „Нового мира”. Взоры были обращены к собаке Дымке. Разлегшись у камина, чуя ласковое внимание, она переворачивалась с боку на бок, укладывалась на спину и, закинув голову, оглядывала зрительскую публику. Пламя отражалось в ее длинной серебряной шерсти. Ее отвлекающее сопер-



ничество стало раздражать Твардовского, признававшегося в сокровенном, насущном. Он заметил, что собаке так же естественно находиться в сторожевой будке, как прочей скотине в хлеву. Вдруг у калитки позвонили. Оказалось, что за мной заехала искавшая меня компания. В снежных вихрях я различила моего дорогого, задушевного друга художника Юрия Васильева со спутниками. Он объяснил, что это — замечательное художественное семейство Дени (Денисовых), но главная удача и радость заключалась в том, что вместе с ними прибыла обезьяна Яша — для моего потрясения и восхищения. Мы направились к дому, где я жила. Твардовский заявил, что крепко привадился к главенствующему обществу животных и теперь — куда обезьяна, туда и он.

Наскоро собрали на стол. Яша, в красном кафтанчике, с неудовольствием проверил угощение. Художник Дени благодарил Твардовского: „Я знаю, что это не вы, но всё равно спасибо, низкий поклон вам от всей земли русской!” Когда его уверили, что подделки нет, он впал в неистовое вдохновение декламации и поминутно простирали руки к окну, к буре и мгле. Я бы не удивилась, если бы нас проведаль седок, правящий тройкой. Жена художника оказалась прекрасной певуньей и несколько раз спела „Летят утки...”, чем очень растрогала и утешила Твардовского. Часто встречаюсь с ним, я редко видела его лицо ясным, открытым, словно он привык оборонять его урожденное беззащитное добродушие от любопытного или дурного глаза. Твардовский затынул: „Славное море, священный Байкал...” Кажется, этой замечательной, любимой им, песней он проговаривался о чём-то подлинно г л а в н о м, при словах „волю почуя...” усиливая голос и важное, грозное лицо, высоко вздымая указательный палец.

Напитки быстро иссякали, я вспомнила о початой бутылке джина. Твардовский гнушался чужестранными зельями, но сейчас с предвкушением, бóльшим отвращения, смотрел на последнюю полную рюмку. В это время обезьяна Яша, ученый человеческим порокам, схватил рюмку и дымившуюся „Ароматную” сигарету Твардовского и вознесся на шкаф, где и уселся, лакомясь добычей и развязно помахивая ножкой.

Твардовский всерьез обиделся и стал одеваться. Собрались в долгую дорогу и другие гости. Со мной остались Яша и молоденькая дочка Денисовых, красивая молчаливая девочка, столь печальная, что грусть ее казалась не настроением, а недугом. Она сразу же ушла в душ и долго не возвращалась. Яша, привязанный поводком к ножке шкафа, смотрел на меня трагическим и неприязненным взглядом. Я отвязала его, и он больно ущипнул меня за щеку. Я хотела уйти, но он догнал меня и обнял за шею маленькими холодными ладошками: никого другого у него не было в чужой, холодной, метельной ночи. Мне сделалось нестерпимо жалко его крошечного озябшего тельца, да и всех нас: Юру Васильева, недавно упавшего с инфарктом на пороге Союза художников после очередных наставлений, эту девочку, осененную неведомым несчастьем, Твардовского с его „Новым миром“, обреченно бредущего сквозь пургу. Все мы показались мне одинокими неприкаянными путниками, и дрожащая фигурка Яши как бы олицетворяла общее разрозненное сиротство.

В 1965 году затевалась помпезная и представительная поездка русских поэтов во Францию. Я о ней и не помышляла: за мной всегда числились грехи, но Твардовский решительно настаивал на моём участии. Он взял меня с собой в ЦК. Я дичилась, и он крепко вёл меня за руку по дремучим коридорам. Встречные приветствовали его по-свойски, без лишнего подобострастия. В одном кабинете он ненадолго оставил меня. Беседа была краткой: „Есть решение: вы поедете. САМ за вас партийным билетом поручился, так что — смотрите”.

„Ну вот, — засмеялся Твардовский, — отправимся мы с вами, как Левша, смотреть заграничные виды”.

Парижа, пленительно обитавшего в воображении, я как бы не застала на месте. Нет, Париж, разумеется, был во всём своем избыточном блеске, загодя были возожжены Рождественские ёлки, витрины сияли, беспечные дамы и господа посиживали в открытых кафе. Я двигалась мимо всего этого, словно таща на спине поклажу отдельного неказистого опыта, отличающего меня от прочей публики. Ночью я смотрела в окно на огни бульвара Распай, на автомобили с громко переговаривающимися и смеющимися

пассажирами, на высоких красавиц, беззаботно влачивших полы манто по мокрому асфальту, и улыбалась: „Превосходно, жаль только, что — неправда”. Опровергая подозрение в нереальности, утром в номер подавали кофе с круассанами, Эйфелева башня и Триумфальная арка были литературны, но вполне достоверны. Меж тем советская делегация привлекала к себе внимание, в основном посвящённое Твардовскому. Каждое утро, в десять часов, в баре отеля его поджидали журналисты. Он отвечал им спокойно, величественно, иногда — раздраженно и надменно: дескать, куда вам, французам, разобраться в наших особых и суверенных делах. На пресс-конференциях наиболее „каверзные” вопросы — главным образом об арестованных Синявском и Даниэле — храбро принимал на себя Сурков. Его ораторский апломб, ссылавшийся на новые изыскания следствия и точное соблюдение отечественных законов, туманил и утомлял здравомыслие прытких корреспондентов, и они отступались. Торжественное выступление русских поэтов в огромном зале и отдельный вечер Вознесенского и мой прошли с успехом.

Усилиями Эльзы Триоле была издана по-французски обширная антология русской поэзии, ее покупали, с присутствующими авторами искали знакомства. Официальным ходом громоздких, пышно обставленных событий, да, помимо, и всем положением советской литературы во мнении французского общества, единовластно ведала Эльза Триоле, Арагон солидно и молчаливо сопутствовал. Твардовский тайком бросал на них иронические пронизательные взгляды. Эльза Юрьевна не скрывала своей неприязни ко мне: на сцене приостановила мое, ободренное аплодисментами, чтение, потом, у нее дома, когда Кирсанов, переживавший ее ко мне немилость, попросил меня прочитать посвящение Пастернаку, с негодованием отозвалась и о стихах, и о предмете восхищения. Всё это не мешало мне без всякой враждебности принимать ее остроту, язвительность, злослычие за некоторое совершенство, точно уравновешивающее обилие обратных качеств, существующих в мире. Она удивилась, когда я похвалила ее перевод „Путешествия на край ночи” Луи Селина, тогда мало известный.

Вынужденно соблюдая правила гостеприимства, Три-

оле и Арагон пригласили меня и Вознесенского на премьерный концерт певца Джонни Холидея. Среди разноликой толчеи, сновавшей вокруг нашей группы, выделялась экспансивная дама русского происхождения. Восклидая: „Наш Трифоныч!”, она постоянно норовила обнимать и тискать Твардовского, от чего он страдальчески уклонялся. Она объявила мне, что появиться в театре „Олимпия” без шубы — неприлично и позорно для нас и наших приглашителей. Обрядив меня в свое норковое манто и атласные перчатки, она строго напутствовала меня: „Не вздумай проговориться, что манто — не твое”. Наши места были на балконе, и сверху я с восхищением озирала парижские божества, порхающие и блистающие в партере при вспышках камер. Эльза Юрьевна утомлённо прикрыла рукой лицо от одинокого фотографа „Юманите”. С пронзительной женственностью оглядев меня, она тут же спросила: „Это манто вы купили в Париже?” — „Это не мое манто”, — простодушно ответила я, о чём, неодобрительным шепотом, было доложено Арагону. Жалея бумаги, всё же добавлю: в Москве я должна была передать маленькую посылку сестры Лиле Юрьевне Брик. Было очень холодно, и моя приятельница закутала меня в свой каракуль. „Это манто вы купили в Париже?” — незамедлительно спросила Лиля Юрьевна. Ответ был тот же. Сразу зазвонил телефон из Парижа, и в возбужденной беседе сестёр слово „манто” было легко узнаваемо.

В Париже Твардовский чувствовал себя скованно, тяжело, не сообщительно. И Париж был не по нему, и мысли о Москве угнетали. Как-то посетовал: „Не только говорить — мы и ходить, как они, не умеем, словно увечные на физкультурпараде. А ведь раньше любой наш повеса здесь прыгал и болтал не хуже, чем они”.

Всё же мы частенько захаживали в кафе, и Твардовский дивился понятливости официантов. Однажды в „Куполе” к нам, при Триоле и Арагоне, присоединился веселый и элегантный Пабло Неруда. Меня удивило, что к моей сухости к коммунистическим идеалам он отнёсся без всякой предвзятости, радостно заказывал рюмки и купил для меня фиалки у цветочницы. Потом он посвятил мне изящное стихотворение, полученное мной после его смерти.

Твардовский тихонько жаловался, что за ним по пятам ходит Сурков, остерегающийся возможных непредвиденностей. Я, тоже тихонько, посоветовала: „А вы — улизните”.

Однажды Твардовский не спустился к журналистам ни к десяти часам, ни позже. В отеле его не было, служащие ничего о нём не знали. Сурков был охвачен паникой. Я робко спросила: „Что с вами, Алексей Александрович? На вас лица нет”. Он разъярённо ответил: „У меня ЧП!” — и ехидно добавил: „А вы часом не в курсе дел?”

Твардовский появился после полудня, отмахнулся от Суркова и, не сказав никому ни слова, поднялся к себе в номер. Вечером мы должны были идти на приём в студенческий клуб. Никто не решался к нему обратиться, меня послали за ним. Как ни странно, он был в неплохом настроении: ему удалось-таки увильнуть от присмотра. Оказалось, что в пятом часу утра, видимо, „волю почуя!”, он вышел из отеля и пошел в неизвестном направлении. Несмотря на ранний час, в Париже было достаточно многолюдно. Он сам добрался до Сены и в предутренних сумерках разглядывал поразившие его химеры Нотр-Дам. Многие заведения были открыты. Возле одного из них он быстро подружился с толпой приветливых оборванцев, двое из них говорили по-русски. „Да и остальных я стал понимать”, — заметил он с гордостью. Угощая их вином, он вместе с ними достиг „Чрева Парижа”, где отведал лукового супа. (К другим парижским разносолам он относился с осторожностью и предубеждением, на одном обеде до дурноты испугавшись устриц.) „С хорошим народом познакомился, — сказал он с удовлетворением, — хоть один раз приятно провел время”.

Вечером, побаиваясь Суркова, мы старались держаться вместе. Когда стали обносить напитками, к удивлению собравшихся, он и я выбрали „Пепси-колу”. „Хмель-то входит в это пойло? — брезгливо спросил Твардовский. — Недаром у нас ругают эту гадость”. Сурков не знал что и думать о нашем маневре.

На следующий день Твардовский твердо объявил о своем возвращении в Москву. Перед отъездом он застенчиво сказал мне: „Пожалуйста, облегчите мое затруднение,

возьмите у меня французские деньги, они мне больше не нужны, а вы остаётесь. Не могу я смотреть, как вы на каблучках ходите, — ради меня, купите себе ботинки”. Я засмеялась: „Александр Трифонович, я же не ношу ботинки”. — „Ну, тогда полуботинки”, — жалобно попросил он.

Он и потом, в Москве, так же смущенно, потупив лицо, предлагал мне помощь, ссылаясь на то, что время трудное, и не только ему, но и мне не удастся к нему приноровиться. Может быть, мне больше, чем другим, выпало слышать мягкие, уступчивые, вопросительные изъяснения его голоса.

Все внимательно следили за событиями в „Новом мире”, но развитие их явственно читалось в его внешности: поступь утяжелилась, следы палки в лесном снегу становились всё более частыми и глубокими, ослабевшая открытость лица стала как бы пригласительной для грядущих невзгод.

Иногда обманное воображение самовластно рисует другую, шекспировскую картину его ухода: вольный и статный, очнувшийся в урожденном великанстве, свободно и вальяжно входит он в ничтожный кабинет и говорит: „Ну, вот что, ребята, вы надо мной всласть потешились, с меня довольно. Вы — неизвестно что за людишки, а я — Твардовский, и быть по сему”.

Это измышление для меня отчетливей и убедительней унижения, угасания в их же Кремлевской больнице и всеми оплаканной смерти. В нём было много всего, и что-то важное, сокровенное, самовольное, как счастливая парижская прогулка, утешительно для нас, он оставил себе в никем не поправном, никому не подвластном владении.

Декабрь 1996

- с. 7 *Аксёнов Василий* Павлович (р.1932) — писатель. С 1980 г. в эмиграции.
- с. 9 *Высоцкий Владимир* Семёнович (1938–1980) — поэт, артист театра на Таганке.
- с. 9 *Офелия* — персонаж трагедии У.Шекспира „Трагическая история Гамлета, принца Датского”.
- с. 9 *Эльсинор* — место действия трагедии У.Шекспира „Трагическая история Гамлета, принца Датского”.
- с. 9 *Нерон* (37–68) — римский император, любивший выступать перед публикой как актёр.
- с. 14 *Войнович Владимир* Николаевич (р.1932) — писатель. С 1980 г. в эмиграции.
- с. 14 *Бавария* — федеративная земля в ФРГ.
- с. 17 *Ванька-мокрый* (*бальзамин*) — декоративное комнатное и садовое растение с яркими цветами.
- с. 24 *Мессерер Борис* Асафович (р.1933) — театральный художник, живописец, график. Муж Б.Ахмадулиной.
- с. 36 *Мандельштам Осип* Эмильевич (1891–1938) — поэт.
- с. 49 *Марина* — Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), поэт, прозаик.
- с. 50 *Кура* — река в Закавказье, впадающая в Каспийское море; на ней стоит Тбилиси.
- с. 53 *Арагви* — река в Грузии, левый приток реки Куры.
- с. 57 „*Цветаева двух юных дочерей*” — сёстры Цветаевы: Марина Ивановна (см. с. 49) и Анастасия Ивановна (1894–1993), писательница, мемуарист. Их отец Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) — ученый, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, создатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве.
- с. 58 *Нерви* — курортный город в Италии на берегу Генуэзского залива Средиземного моря.
- с. 65 *Липкин Семён* Израилевич (р.1911) — поэт, переводчик, прозаик.
- с. 70 *Паркер* (нариц.) — самопишущая ручка, изготовленная на предприятиях американской компании „The Parker Pen Company”, основанной в 1906 г.
- с. 76 *Симеон* — святой старец, которому Духом Святым было возвещено, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня.
- с. 77 *Сретенье* — один из двенадцатых православных церковных празд-

- ников. Установлен в честь встречи (сретенья) праведником Симеоном Мессии — Младенца-Иисуса, которого родители, согласно священному обряду, в сороковой день несли в храм для „представления пред Господа”.
- с.80 *„Гостит язык пророчеств и страстей/ и льется кровь, как в Датском королевстве”* — имеются в виду события, разворачивающиеся в трагедии У.Шекспира „Трагическая история Гамлета, принца Датского”.
- с.84 *„Здесь Ты хотела спать...”* — М.И.Цветаева (см.с.49).
- с.85 *Тальони Мария* (1804—1884) — выдающаяся романтическая балерина, ведущая солистка Парижской „Гранд-Опера”. В 1837—1842 гг. выступала в Петербурге.
- с.87 Стихотворение впервые опубликовано под названием „Влияния весны”.
- с.87 *Велегож* — село в 7 км от Тарусы.
- с.87 *Книго́чий* (церковнослав.) — книжный, письменный человек, писец.
- с.87 *„Где бедный мальчик спит над чудною могилой”* — на могиле художника В.Э.Борисова-Мусатова (1870—1905) установлено мраморное надгробие „Уснувший мальчик” работы скульптора А.Т.Матвеева (1878—1960).
- с.89 *Рафаэль Санти* (1483—1520) — итальянский живописец и архитектор, один из самых ярких представителей Высокого Возрождения.
- с.89 *Амире́джиби Чабуа* (Мзечабук Ираклиевич) (р.1921) — грузинский писатель.
- с.89 *Урбино* — город в Центральной Италии, в котором родился Рафаэль Санти.
- с.90 Стихотворение навеяно эссе М.И.Цветаевой „Два „Лесных царя” (1933). Эпиграф — начальные строки стихотворения М.И.Цветаевой „Сад” (1934).
- с.91 *Лесной Царь* — персонаж одноименной баллады немецкого поэта И.В.Гёте (1749—1832).
- с.92 *101-й километр* — места принужденного жительства для бывших заключённых.
- с.95 *Попов Евгений* Анатольевич (р.1946) — писатель.
- с.99 *Наталья Ивановна* Андреева — директор Дома творчества Худфонда в Тарусе.
- с.112 *Брегет* — карманные часы с боем, изготовлявшиеся в мастерской французского мастера А.Л.Бреге (1747—1823).
- с.112 *Рязанов Эльдар Александрович* (р.1927) — кинорежиссер, драматург.
- с.115 *Державин Гаврила Романович* (1743—1816) — поэт, представитель русского классицизма.
- с.118 *Липецк* — город на реке Воронеж, областной центр, среди прочего известный своим народным хором.
- с.122 *Звёздкин Юрий Алексеевич* (1928—1994) — живописец.
- с.127 *Владимов* (наст. фамилия Волосевич) *Георгий* Николаевич (р.1931) — писатель. С 1983 г. в эмиграции.
- с.131 *Жантильом* (фр.) — дворянин.
- с.137 *Ноева ладья*. Ной — праведник, который по велению Божию во вре-





- с.174 *Кириллов* — город в Вологодской области, возникший как слобода при Кирилло-Белозерском монастыре.
- с.174 „*Where are you from, madame?*” (англ.) — Откуда вы, мадам?
- с.174 *Негоциант* — купец, ведущий крупную оптовую торговлю, преимущественно за пределами своей страны.
- с.175 *Белозерск* — город в Вологодской области на берегу Белого озера.
- с.175 „*Земь я была безвидна и пуста, и Божий Дух носился над водою*” — сокращенная цитата из Библии (Бытие, I, 2).
- с.178 Батуми (*Батум*) — столица Аджарии, порт на Черном море. Одна из его достопримечательностей — аквариум-дельфинарий.
- с.178 *Арион* (VII—VI в. до н.э.) — древнегреческий поэт, с именем которого связана легенда о чудесном спасении.
- с.179 *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции с 1697 г. Его вторжение в Россию завершилось поражением в Полтавском сражении в 1709 г.
- с.179 *Петергоф* — основанная Петром I загородная резиденция российских императоров. Дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX вв.
- с.181 „Стихотворение называется „Постой”, но в этом случае слово „постой” — не глагол в повелительном наклонении, а существительное, то есть я имею в виду, что я где-то на постое нахожусь. А я действительно недавно, в начале этого лета, была постояльцем в Доме творчества композиторов. Композиторы великодушно предоставили мне возможность работать в их владениях. И вот эти два стихотворения < „Постой” и „Завидев дом...” > — как бы раболепное посвящение их музыке, которая была подлинной хозяйкой дома, в котором я была случайной гостьей” (Б.Ахмадулина. Пояснение, предвещающее авторское чтение стихотворения „Постой” на грампластинке „Стихотворения — чудный театр”).
- с.181 *Териоки* (с 1948 г. Зеленогорск) — курортный город на берегу Финского залива в Ленинградской области.
- с.183 Стихотворение обращено к А.А.Ахматовой.
- с.184 *Стриндберг* Юхан Август (1849—1912) — шведский прозаик, драматург, публицист.
- с.184 „*Здесь знаменитый возвещал философ (он и поэт)...*” — имеется в виду Георгий Иванович Чулков (1879—1939), писатель-символист, автор идеи „мистического анархизма”, издатель альманаха „Факелы”. В редакционном предисловии к 1-й книге альманаха, вышедшей в Санкт-Петербурге в 1906 г., впервые прозвучала фраза „*Так жить нельзя!*”.
- с.185 „*Бродячая собака*” — литературно-артистическое кабаре, организованное режиссером и артистом Б.К.Прониным (1875—1946) в Петербурге в декабре 1911 г. Среди его первых участников В.Э.Мейерхольд, Н.Н.Сапунов, С.Ю.Судейкин, И.А.Сац и др. Просуществовало до 1915 г.
- с.186 *Сапунов* Николай Николаевич (1880—1912) — живописец, театральный художник.
- с.187 „*Какая безысходность на рассвете!*” — запись А.Блока в записной книжке от 4 августа 1913 г.
- с.189 *Пьеро* — традиционный персонаж французской народной комедии.

- с.191 *Копелев Лев* Зиновьевич (Залманович) (р.1912) – писатель, литературовед. С 1981 г. в эмиграции.
- с.192 *Сестрорецк*, *Куоккала* (с 1948 г. Репино), *Териоки* (с 1948 г. Зеленогорск) – курортные местности на берегу Финского залива.
- с.192 *Ростов*, *Батум*, *Константинополь* – пункты на пути отступления и эмиграции белой армии.
- с.192 *Святая Женевьева* – имеется в виду Сен-Женевьев де Буа, муниципальное кладбище в пригороде Парижа, ранее – православное кладбище, на котором хоронили эмигрантов из России.
- с.193 *Перекоп* – Перекопский перешеек, соединяющий Крымский полуостров с материком. В ноябре 1920 г. здесь происходили ожесточенные бои в ходе гражданской войны.
- с.194 Художник *Н.Н.Сапунов* утонул в Финском заливе 14 июня 1912 г. О его гибели подробно рассказала драматическая актриса В.П.Веригина в своих „Воспоминаниях” (Л., 1974).
- с.194 „*Как хороши, как свежи...*” – „Как хороши, как свежи были розы...” – начальная строка стихотворения И.П.Мятлева (1796–1844) „Розы” (1835). И.С.Тургенев использовал эту строку в своем одноименном стихотворении в прозе (1879).
- с.195 *Кронштадт* – город и порт на острове Котлин в Финском заливе.
- с.195 *Фармацевты* – так в конце 900 – начале 10-х гг. именовали людей, тершихся около искусства.
- с.199 *Карсавина* Тамара Платоновна (1885–1978) – артистка балета, педагог. Постоянная партнерша и сподвижница новаторских исканий балетмейстера М.М.Фокина.
- с.199 В *Андреевском соборе* в Кронштадте хранились некоторые реликвии, связанные с Петром I. В этом соборе отпевали Н.Н.Сапунова (см. с.186).
- с.205 *Коонен* Алиса Георгиевна (1889–1974) – ведущая актриса Камерного театра. Жена А.Я.Таирова.
- с.205 *Валаам* – крупный остров в Ладожском озере, на котором располагался Спасо-Преображенский (Валаамский) мужской монастырь.
- с.209 *Даль* Владимир Иванович (1801–1872) – писатель, лексикограф, этнограф, создатель „Толкового словаря живого великорусского языка”.
- с.210 *Сортавала* – курортный город в Карелии на Ладожском озере.
- с.211 *Набоков* Владимир Владимирович (1899–1977) – русско-американский писатель. С 1919 г. в эмиграции.
- с.211 *Сальвини* Томмазо (1829–1915) – итальянский актер, творчество которого стало вершиной сценического искусства XIX в.
- с.213 *Некакий* (устар.) – какой-то, некий.
- с.213 *Нетопырь* – один из видов летучих мышей..
- с.216 *Менделеев* Дмитрий Иванович (1834–1907) – химик, педагог, общественный деятель. Создатель периодической системы химических элементов.
- с.216 *Аргентум* (латин.) – серебро.
- с.217 *Ибсен* Генрик (1828–1906) – норвежский драматург.
- с.217 *Сальвейг* – персонаж драматической поэмы Г.Ибсена „Пер Гюнт” (1867).

- с.219 *Питкяранта* (в переводе с финского – долгий берег) – город в Карелии на берегу Ладожского озера.
- с.219 *Сердоболь* – название города *Сортавала* до 1918 г.
- с.219 *Эпоха Возрождения* – период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы (в Италии – XIV–XVI вв., в других странах – конец XV–XVI вв.), переходный от средневековой культуры к культуре нового времени.
- с.222 *Феникс* – сказочная птица, по представлениям древних, в старости сжигавшая себя и возрождавшаяся из пепла молодой и обновленной; символ вечного возрождения.
- с.225 *Дельвиг* Антон Антонович (1798–1831) – поэт, издатель. Друг А.С.Пушкина.
- с.225 *Заратустра* (Заратуштра) – пророк и реформатор древнеиранской религии. „Так говорил Заратустра” – одно из наиболее известных сочинений немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900).
- с.225 *Ампер* Андре Мари (1775–1836) – французский ученый-физик.
- с.227 *Пеплум* – верхняя одежда древних гречанок и римлянок из легкой ткани в складках, без рукавов, надевавшаяся поверх туники.
- с.227 *Брокгауз-Ефрон* – издательство, основанное в Петербурге в 1889 г. типографом И.А.Ефроном при участии немецкого издателя Ф.А.Брокгауза.
- с.228 *Схи́ма* – высшая монашеская степень в православной церкви, требующая от посвященного в нее выполнения суровых аскетических правил.
- с.229 *Гамсун* (наст. фамилия Педерсен) Кнут (1859–1952) – норвежский писатель.
- с.229 *Фрэнкен Эдварда* – главная героиня романа К.Гамсуна „Пан” (1894).
- с.230 *Наяда* – в древнегреческой мифологии нимфа рек и ручьев.
- с.230 *Табльдот* – общий обеденный стол в гостиницах, пансионатах и ресторанах Западной Европы.
- с.232 *Павлова Анна Павловна* (Матвеевна) (1881–1931) – артистка балета, выдающаяся классическая танцовщица.
- с.233 *Королевич Елисей* – персонаж „Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях” А.С.Пушкина (1833).
- с.243 *Водосбор* (орлик, *аквилегия*) – род многолетних трав семейства лютиковых.
- с.244 *Осирис* (*Озирис*) – в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых.
- с.245 *Везувий* – действующий вулкан на юге Италии, близ Неаполя.
- с.247 *Кунсткамера* (нем.) – в прошлом название различных исторических, художественных, естественно-научных и других коллекций редкостей и места их хранения.
- с.247 *Врубель* Михаил Александрович (1856–1910) – живописец, график.
- с.250 *Калевала* – карело-финский эпос.
- с.250 *Калев* – сказочная страна, в которой совершают подвиги и приключения герои „Калевалы”.
- с.255 „*Как с тою – тот, где яд, клинок, Верона*” – имеются в виду герои и события трагедии У.Шекспира „Ромео и Джульетта” (1595).
- с.256 *Звезда Вифлеема*, явившаяся волхвам и приведшая их к месту рожде-

ния Спасителя, очевидно, была не естественным явлением, а чудесным: исполнив свое назначение, она затем исчезла с неба.

с.258 „*Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн*” („Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн”) — цитата из Евангелия от Иоанна, I, 6.

с.258 *Росталь* — ростепель, оттепель, зимнее тепло, таянье снега.

с.258 *Вежды* (устар.) — глазные веки, глаза.

с.258 *Несть* (устар.) — нет.

с.258 *Иже* (церковнослав.) — который, которые.

с.259 *Уводь* — река, на обоих берегах которой расположен город Иваново.

с.259 *Свояси* (устар.) — свой дом, своя семья, родина.

с.259 *Потылицца* (устар.) — затылок, загривок.

с.259 *Возглавица* (устар.) — подушка.

с.259 *Оточив* (устар.) — сон, отход ко сну, отдых лежа.

с.259 *Таефрида* — название Крымского полуострова после его присоединения к России (1783).

с.259 *Творило* (обл.) — отверстие подвала, погреба или какого-либо иного помещения, сооружения, находящегося ниже уровня пола, земли; лаз.

с.260 *Сныть* — многолетнее травянистое растение с крупными листьями.

с.260 *Мякина* — отходы, получаемые при обмолоте и очистке зерна хлебных злаков, льна и некоторых других культур.

с.261 *Рацея* (устар.) — длинное назидательное рассуждение, высказывание.

с.261 *Кана Галилейская* — небольшой город в семи верстах от Назарета, в котором Господь Иисус совершил свое первое чудо, на брачном пиршестве обратив воду в вино.

с.262 „*Калицем должен еси?*” („Сколько ты должен?”) — цитата из Евангелия от Луки, XVI, 5.

с.262 *Овамо* (устар.) — туда, там.

с.262 *Семо* (устар.) — сюда, здесь.

с.262 *Помавать* (устар.) — помахивать, покачивать, колебать.

с.262 *Антропофаг* — людоед.

с.263 *Оборучье* — существительное от „оборучный” (устар.) — действующий одинаково хорошо обеими руками (о ловком человеке).

с.263 *Скрытень* — тайник, скрытое место.

с.263 *Делинквент* (латин.) — правонарушитель, преступник, мятежник.

с.264 „*Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю*” („Вкушая, вкусил мало меду и вот я умираю”) — неточная сокращенная цитата из Библии (Первая Книга Царств, XIV, 43).

с.264 *Лестовица* (лествица, лестовка) (устар.) — вервица, ременные чётки, по которым молились, ими же стегали ослушных.

с.264 *Муфин* (устар.) — 1. Негр, арап. 2. Черт, нечистая сила.

с.265 *Мытарь* (церковнослав.) — сборщик податей, пошлин.

с.265 *Когóждо* (церковнослав.) — каждого.

с.266 *Люксембург* — 1. Европейское государство Великое герцогство Люксембург. 2. Город, столица Великого герцогства Люксембург. 3. Роза Люксембург (1871–1919) — видная деятельница польской и германской социал-демократии и 2-го Интернационала.

- с.266 *Прима* – первый или основной голос, первая скрипка.
- с.266 *Втора* – второй голос, вторая скрипка.
- с.267 *Давыдов Денис* Васильевич (1784–1839) – генерал, партизан Отечественной войны 1812 г., поэт, военный писатель.
- с. 268 „*Тебе певцу, тебе герою!*“ – начальная строка стихотворения А.С.Пушкина „Д.В.Давыдову“ (1836).
- с.269 *Бунин Иван* Алексеевич (1870–1953) – писатель. С 1920 г. в эмиграции.
- с.270 *Елец* – город в Липецкой области, где провел гимназические годы И.А.Бунин.
- с.273 *Анахорет* (греч.) – пустынный, отшельник.
- с.274 Авторское предисловие к этому стихотворению помещено в т.3 настоящего издания.
- с.274 *Имеретинские лозы*. Имерети (Имеретия) – историческая область в Западной Грузии с центром Кутаиси (*Кутаис*).
- с.277 *Пропилеи* – архитектурное обрамление парадного прохода или проезда симметричными портиками и колоннадами.
- с.277 *Батюшков* Константин Николаевич (1787–1855) – поэт.
- с.277 *Командор, Донна Анна* – персонажи трагедии А.С.Пушкина „Каменный гость“ (1830).
- с.278 *Балясина* – резной или точеный столбик, служащий украшением для мебели или составляющий часть перил ограды.
- с.278 *Петроний* Гай (?–66) – римский писатель.
- с.280 *Малеевка* – посёлок в Московской области вблизи г. Руза, где находится Дом творчества писателей.
- с.280 *Панафиней* – в древней Аттике празднества в честь богини Афины.
- с.280 *Кифара* (греч.) – древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент.
- с.280 *Перикл* (ок.490–429 г. до н.э.) – афинский стратег (главнокомандующий), вождь демократической группировки. Годы правления Перикла (443–429) – время наивысшего могущества Афин, наибольшей демократизации политического строя и расцвета культуры.
- с.280 *Сократовы одежды*. Сократ (ок.470–399 г. до н.э.) – древнегреческий философ, один из основателей диалектики.
- с.280 *Платон* (428 или 427– 348 или 347 г. до н.э.) – древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа.
- с.280 *Ксенофонт* (ок.430–355 или 354 г. до н.э.) – древнегреческий писатель и историк.
- с.280 *Аттический фантом*. Аттика – в древности область на юго-востоке Средней Греции (центр – Афины).
- с.280 „*Рожденная на свет в убранстве всеоружья – / исчадь не твоей, а Зевсовой главы*“ – Афина Паллада, в древнегреческой мифологии богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел. Дочь верховного бога Зевса, родившаяся в полном вооружении (в шлеме и панцире) из его головы.
- с.281 *Гефест* – в древнегреческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла. Сын Зевса и Геры.

- с.281 *Персей* — в древнегреческой мифологии герой, совершивший ряд подвигов: убил горгону Медузу, освободил от морского чудовища Андромеду и др. Сын Зевса и Данаи.
- с.281 *Горгоны* — в древнегреческой мифологии крылатые женщины-чудовища со змеями вместо волос; взгляд Горгоны превращал всё живое в камень.
- с.281 *Олимп* — в древнегреческой мифологии священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. Олимп также собрание, сонм олимпийских богов.
- с.281 *Фидиево золото*. Фидий (нач.V в. до н.э.—ок. 432–431 до н.э.) — древнегреческий скульптор периода высокой классики, его творчество одно из высших достижений мирового искусства. Несохранившиеся статуи Зевса Олимпийского и Афины Парфенос были выполнены Фидием из золота и слоновой кости.
- с.283 *Бродский Иосиф Александрович* (1936–1996) — поэт, эссеист. С 1972 г. в эмиграции.
- с.283 *Венеция* — город-музей в Северной Италии.
- с.283 *Мост Риальто* — мост через Большой канал в Венеции.
- с.283 *Тинторетто* (наст. фамилия Робусти) Якопо (1518–1594) — итальянский живописец.
- с.284 *Святой Марк* — один из четырех евангелистов, небесный покровитель Венеции, религиозный и гражданский символ города.
- с.284 *Диез, бемоль, бекар* (фр.) — нотные знаки.
- с.284 *Недолыга* (устар.) — плохой лгун, не умеющий хорошо солгать.
- с.285 *Сиена* — город в Центральной Италии.
- с.286 *Паланкин* (португ.) — носилки в форме кресла или ложа, укрепленные на двух длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков.
- с.286 *Зурна* (тур.) — духовой язычковый музыкальный инструмент.
- с.286 *Палаццо Пикколomini* — дворец Пия II (светское имя — Энеа Сильвио Пикколomini), римского папы с 1458 г., в городе Сиена.
- с.287 *Палаццо* (итал.) — итальянский городской дворец-особняк XV–XVIII вв., имевший величественный уличный фасад и внутренний двор с арочными галереями.
- с.287 *Коринф* — древнегреческий полис на полуострове Пеллопоннес. Коринфский ордер — один из трех основных архитектурных ордеров.
- с.287 *Дорический ордер* — один из трех основных архитектурных ордеров.
- с.287 *Портал* — архитектурно оформленный вход в здание.
- с.287 *Милан* — город в Северной Италии, основанный в конце V — начале IV в. до н.э.
- с.288 *Тамань* (Таманский полуостров) — западная оконечность Кавказа между Азовским и Черным морями.
- с.288 *Катулл* Гай Валерий (ок.87—ок.54 до н.э.) — римский поэт-лирик.
- с.288 *Палладио* (наст. фамилия *ди Пьетро*) *Андреа* (1508–1580) — итальянский архитектор.
- с.289 *Виченца* — город на северо-востоке Италии, в котором много построек архитектора А.Палладио.

- с.289 *Дормез* (фр.) – старинная большая карета, приспособленная для сна в пути.
- с.289 *Лал* – драгоценный камень, шпинель.
- с.290 *Сотефи* – французское белое виноградное вино.
- с.290 *Нонпарель* – мелкий типографский шрифт .
- с.291 *Церефа* – в римской мифологии богиня земледелия и плодородия.
- с.292 *Одиссея* – древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру, о странствиях и приключениях Одиссея.
- с.293 *Толокнов Борис* Олегович (р.1932) – врач.
- с.294 *19 октября* – день открытия Царскосельского *Лицея*, ежегодно отмечавшийся его выпускниками.
- с.294 *„Пасынок аллеи“* – А.С.Пушкин.
- с.294 *Куницын Александр* Петрович (1783–1840) – адъюнкт-профессор нравственных и политических наук в Царскосельском лицее.
- с.295 *Переделкинский изгнанник* – поэт Борис Леонидович Пастернак (1890–1960). 23 октября 1958 г. было объявлено о присуждении ему Нобелевской премии за роман „Доктор Живаго“. Это сообщение послужило началом беспрецедентной по масштабам травли поэта.
- с.295 *„Простил ученикам своим“* – студенты Литературного института Ю.Панкратов и И.Харабаров, посетив Б.Л.Пастернака в Переделкине, рассказали ему о том, что, если они не подпишут письмо с требованием высылки поэта из России, их исключат из института, и спросили, как им быть. Эпизод описан в воспоминаниях О.В.Ивинской (М., 1992).
- с.296 *„Страдалец, погребенный в Ницце“* – Александр Иванович Герцен (1812–1870), революционер, писатель, философ.
- с.297 *Искандер Фазиль* Абдулович (р. 1929) – поэт, прозаик.
- с.297 *Пуцин Иван* Иванович (1798–1859), *Кюхельбекер* Вильгельм Карлович (1797–1846), *Дельвиг* Антон Антонович (1798–1831) – лицейские товарищи А.С.Пушкина.
- с.298 *Девочка Лизетта* – Елизавета, дочь Б.Ахмадулиной, студентка Литературного института.
- с.299 *Пизанская („падающая“) башня* – кампанила (башня-колокольня) в итальянском городе Пиза, построенная в XII – XIV вв.
- с.299 *„Потёмки, где сокрыт католик, /крестом пометил гугенот“* – имеются в виду события т.н. Варфоломеевской ночи, когда 24 августа 1572 г. в Париже в ночь под праздник Св. Варфоломея католики произвели массовую резню гугенотов.
- с.299 *„Бог помочь вам, друзья мои!“* – начальная строка стихотворения А.С.Пушкина „19 октября 1827“.
- с.300 *Парни Эварист* (1753–1814) – французский поэт, один из зачинателей „лёгкой поэзии“.
- с.302 *Мичуринец, Переделкино* – соседние дачные подмосковные поселки.
- с.303 *„рожденный в городе Козлове“* – Мичурин Иван Владимирович (1855–1935), биолог и селекционер.
- с.303 *„прелестная коза“* – выражение из рассказа И.А.Бунина „Ночной разговор“ (1911).



- с.303 *Пиаф* (наст. фамилия Гасьон) Эдит (1915 – 1963) – французская эстрадная певица.
- с.303 „*та, что должна быть глуповата*” – усеченная цитата из письма А.С.Пушкина к П.А.Вяземскому (вторая половина мая 1826 г. из Михайловского): „Твои стихи к Мнимой Красавице (ах извини: Счастливице) слишком умны. – А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата”.
- с.315 *Тамада* (груз.) – распорядитель пиршества, избираемый его участниками.
- с.316 *Брюсов Валерий Яковлевич* (1873–1924) – поэт, переводчик.
- с.317 *Джан* – дорогая, милая, а также дорогой, милый.
- с.320 *Джавахи* (Джавахетский хребет) – горный хребет в Грузии и Армении.
- с.322 *Пери* (устар.) – женщина пленительной красоты, чарующего обаяния.
- с.328 *Саз* (сааз) – струнный щипковый музыкальный инструмент, распространенный среди народов Закавказья.
- с.328 *Ашуг* – народный певец-поэт, сказитель у кавказских народов.
- с.350 *Бедуин* – араб-кочевник.
- с.354 *Клеопатра* (69–30 до н.э.) – последняя царица Египта. После поражения в войне с Римом и вступления в Египет римской армии Октавиана Августа покончила жизнь самоубийством.
- с.354 *Ра* – в древнеегипетской мифологии бог солнца, почитался как царь и отец богов.
- с.354 *Хеопс* (Хуфу) – египетский фараон XXVII в. до н.э. Пирамида Хеопса в Гизе – крупнейшая в Египте.
- с.359 *Ассирийцы* (айсоры) – народ в странах Ближнего Востока, потомки древней цивилизации в Северном Двуречье.
- с.359 *Ниневийские пиры*. Ниневия – древний город в Ассирии в конце XVIII–XVII вв. до н.э., ее столица.
- с.359 *Семирамида* – царица Ассирии в конце IX в. до н.э. С ее именем связано сооружение „висячих садов” в Вавилоне – одного из семи чудес света.
- с.362 *Сезам* – из заклинания в арабской сказке „Сезам, откройся!”, силой которого раскрывалась тайная сокровищница.
- с.364 *Арагац* (Алагёз) – самая высокая гора Армянского нагорья на территории Армении.
- с.369 *Сухуми* – столица Абхазии.
- с.369 *Члоу* – горное абхазское селение в предгорьях Кодорского хребта.
- с.369 *Кодори* – река в Абхазии, впадающая в Черное море.
- с.369 *Тамыш* – приморское абхазское селение.
- с.370 *Эрцаху* (Эрцаху) – одна из вершин Главного Кавказского хребта.
- с.374 *Мамалыга* (рум.) – кушанье, приготовляемое из кукурузной муки или мелкой крупы.
- с.380 *Пацха* – старинная абхазская изба-плетёнка.
- с.391 *Гомер* – древнегреческий эпический поэт, которому со времён античности приписывается авторство поэм „Илиада” и „Одиссея”.
- с.392 *Лопаткин Николай Алексеевич* (р.1924) – врач.
- с.394 *Эльбрус* – высочайшая вершина Большого Кавказа.

- с.395 *Айран* – род заквашенного молока, напиток из него.
- с.396 *Проспект Руставели* – центральная улица города Тбилиси.
- с.396 *Ходжа Насреддин* – герой народных анекдотов у народов Азербайджана, Турции, Северного Кавказа и др. Умный и находчивый остро слов, прикидывающийся простаком, всегдашний победитель в спорах.
- с.398 *Арбат* – улица в историческом центре Москвы.
- с.401 *Свиридов Георгий Васильевич* (р.1915) – композитор.
- с.404 *Чегем* – село в Кабардино-Балкарии на правом берегу реки Чегем.
- с.404 *Чинар (чинара)* – дерево из рода платан.
- с.417 *Гамзатов Расул Гамзатович* (р.1923) – аварский поэт.
- с.422 *Иссык-Куль* – бессточное солоноватое озеро на Тянь-Шане в Киргизии.
- с.422 *Алатоо* (Алатау) (тюрк. – пестрые горы) – горные хребты, на склонах которых участки, покрытые растительностью, чередуются с белыми пятнами снега и каменными россыпями.
- с.422 *Джайлау* (джайла, жайлау, яйла) (тюрк.) – горное летнее пастбище.
- с.423 *Волькер Йиржи* (1900–1924) – чешский поэт.
- с.423 *Пимен* – летописец, персонаж трагедии А.С.Пушкина „Борис Годунов” (1825).
- с.424 *Бетховен Людвиг ван* (1770–1827) – немецкий композитор.
- с.424 *Андерсен Ханс Кристиан* (1805–1875) – датский писатель, всемирно известный сказочник.
- с.426 *Скопас* – древнегреческий скульптор и архитектор IV в. до н.э.
- с.433 Текст выступления по Всесоюзному радио 10 марта 1964 г. Публикуется впервые.
- с.433 На Тверском бульваре в Москве расположен Литературный институт им. А.И.Герцена.
- с.433 *Переделкино* – писательский дачный поселок под Москвой.
- с.433 *Светлов Михаил Аркадьевич* (1903–1964) – поэт.
- с.434 *Айги* (наст. фамилия Лисин) *Геннадий Николаевич* (р.1934) – поэт, переводчик.
- с.435 Впервые опубликовано в журнале „Кругозор” (1964, № 9).
- с.435 *Чурчхела* – восточное сладкое лакомство.
- с.437 Впервые опубликовано в кн.: Ахмадулина Б. Сны о Грузии. Тбилиси: Мерани, 1977.
- с.437 *Чиковани Симон Иванович* (1902/1903–1966) – грузинский поэт.
- с.437 *Леонидзе Тогла* (Георгий Николаевич) (1899–1966) – грузинский поэт.
- с.437 *Метехи* – замок-тюрьма на высоком отвесном берегу реки Куры в Тбилиси, ныне снесен; находился рядом с древним храмом Метехи (XIII в.).
- с.437 *Гудиашвили Лад* (Владимир Давидович) (1896–1980) – грузинский живописец и график.
- с.437 „*Любимый переделкинский гость*” – Б.Л.Пастернак (см. с.295).
- с.439 Публикуется впервые.
- с.439 *Стейнбек Джон Эрнст* (1902–1968) – американский писатель.
- с.439 *Гладилин Анатолий Тихонович* (р.1935) – писатель.
- с.439 *Полевой Борис Николаевич* (1908–1981) – писатель, главный редактор журнала „Юность”.

- с.439 *Хемингуэй Эрнест* Миллер (1899–1961) – американский писатель.
- с.439 *Дос-Пассос Джон* (1896–1970) – американский писатель.
- с.439 „*Но не волк я по крови своей*” – строка из стихотворения О.Мандельштама „За гремучую доблесть грядущих веков...” (1931).
- с.441 Впервые опубликовано в еженедельнике „Литературная Россия” 9 февраля 1973 г. Название – начальная строка стихотворения А.С.Пушкина „Зимнее утро” (1829).
- с.441 *Псков, Опочка, Остров* – города по пути в Михайловское, псковское имение Ганнибалов-Пушкиных.
- с.441 *Пушкин Иван Иванович* (1798–1859) – лицейский товарищ А.С.Пушкина, один из самых близких его друзей.
- с.441 „*Клико*” – сорт, марка шампанского (по названию французской торговой фирмы).
- с.441 *Святогорский (Успенский) монастырь* в поселке Пушкинские Горы, там находится могила А.С.Пушкина.
- с.441 *Гейченко Семён Степанович* (1903–1993) – писатель, директор Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина „Михайловское”.
- с.441 *Сороть* – река в Михайловском.
- с.441 *Ганнибаловские ели*. *Абрам (Ибрагим) Петрович Ганнибал* (1688–1781) – сын эфиопского князя, камердинер Петра I, генерал-аншеф. Прадед А.С.Пушкина по материнской линии.
- с.443 *Тригорское* – имение в Псковской губернии, по соседству с Михайловским, принадлежавшее П.А.Осиповой.
- с.444 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 23 мая 1973 г. Название – начальная строка одноименного стихотворения С.Чиковани.
- с.444 *Антокольский Павел Григорьевич* (1896–1978) – поэт, переводчик.
- с.444 „*Привлечь к себе любовь пространства*” – строка из стихотворения Б.Пастернака „Быть знаменитым некрасиво...” (1956).
- с.444 *Атэни* – ущелье на правом берегу реки Куры.
- с.444 *Алазань* (Алазанская долина) – равнина вдоль южного подножия Большого Кавказа.
- с.445 *Дэв* – исполинское злое чудовище в грузинских легендах и сказках.
- с.445 *Девять плит Марабды* – девять могил братьев Херхеулидзе, героически погибших в битве при Марабде (1624).
- с.446 *Ушгули* – селение в Верхней Сванетии.
- с.446 *Марика* – Мария Николаевна Чиковани, жена С.Чиковани.
- с.446 *Зоя* – Зоя Константиновна Бажанова-Антокольская (1902–1968), артистка Театра им. Е.Вахтангова. Жена П.Антокольского.
- с.448 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 26 февраля 1975 г.
- с.448 *Каландадзе Анна Павловна* (р.1924) – грузинская поэтесса.
- с.448 *Мтацмinda* (буквально „Святая гора”) – гора в Тбилиси на правом берегу реки Куры, где находится монастырь Святого Давида, а также Пантеон выдающихся общественных деятелей и деятелей культуры Грузии.
- с.448 *Мухета* – город в Восточной Грузии неподалёку от Тбилиси, у слияния рек Арагви и Куры. Древняя столица Картлийского царства, затем церковно-религиозный центр.

- с.448 *Анемон* (анемона, ветреница) – растение семейства лютиковых с желтыми, белыми или розоватыми цветами.
- с.448 *Кацо* (груз.) – друг.
- с.449 *Хетта, Мидия, Урарту* – государства древнего мира.
- с.449 *Бетания* – монастырь (в 18 км от Тбилиси) с известным храмом, выдающимся памятником грузинской архитектуры XII в.
- с.449 *Шиомгвими* – селение, где сохранились развалины древнего монастыря.
- с.449 *Орцхали* – горное селение.
- с.449 *Иа* (груз.) – фиалка.
- с.449 *Симон* – С.Чиковани (см. с.437).
- с.449 *Гогла* – Г.Леонидзе (см. с.437).
- с.449 *Мравалжамиеф* (буквально „многие лета“) – название древней грузинской песни.
- с.450 Впервые опубликовано в альманахе „День поэзии 1975“ (М.: Сов. писатель, 1975).
- с.450 *Винокуров Евгений Михайлович* (1925–1993) – поэт.
- с.451 „Поэзия... глуповата“ – см. с.303.
- с.452 „Слова, которыми на улицах толкуют“ – строка из стихотворения Е.Винокурова „Будни“ (1965).
- с.452 „Как хорошо лицо свое иметь...“ – начальная строка стихотворения Е.Винокурова (1960).
- с.452 „Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой“ – строки из стихотворения Е.Винокурова „Москвичи“ (1955).
- с.453 Впервые опубликовано в „Литературной газете“ 5 ноября 1975 г.
- с.453 *Тютчевские седины*. Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – поэт.
- с.455 *Смоленский Яков Михайлович* (1920–1996) – тчец-исполнитель.
- с.457 Впервые опубликовано в еженедельнике „Советская Россия“ 26 марта 1976 г. в качестве предисловия к публикации стихов поэтессы *Вероники Михайловны Тушиновой* (1915–1965) из ее архива.
- с.458 Впервые опубликовано в „Литературной газете“ 18 октября 1978 г.
- с.458 „Твой мальчик в шинели“ – сын П.Г.Антокольского Владимир Павлович Антокольский (1923–1942) погиб на фронте.
- с.459 *Наталья Павловна Антокольская* (1921–1981) – художница. Дочь П.Г.Антокольского.
- с.459 *Сын* – В.П.Антокольский (см.с.458).
- с.461 Впервые опубликовано в журнале „Крутозор“ (1986, № 7). в подборке материалов к 90-летию П.Г.Антокольского (см. с.442).
- с.463 Впервые опубликовано в „Литературной газете“ 3 июля 1996 г. в подборке материалов к столетию со дня рождения П.Г.Антокольского (см. с.444).
- с.463 *Белый Андрей* (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880–1934) – поэт.
- с.464 *Гумилёв Николай Степанович* (1886–1921) – поэт.
- с.464 *Валодя* – В.П.Антокольский (см. с.458).
- с.464 *Мафика* – М.Н.Чиковани (см. с.446).

- с.466 *Шукшин* Василий Макарович (1929–1974) — писатель, кинорежиссер.
- с.467 Впервые опубликовано в кн.: О Шукшине. Экран и жизнь. М.: Искусство, 1979.
- с.467 „*Живёт такой парень*” — режиссерский дебют В.Шукшина в кино (1964).
- с.469 *Великий Поэт* — имеется в виду Б.Л.Пастернак (см. с.295).
- с.472 Впервые опубликовано в кн.: Мессерер Асаф. Танец. Мысль. Время. М. : Искусство, 1979; М. : Искусство, 1990 (2-е изд.).
- с.472 *Исаакий* — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, построенный по проекту архитектора А.А.Монферрана.
- с.474 *Мессерер Асаф Михайлович* (1903–1992) — артист балета, хореограф, педагог.
- с.476 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 11 марта 1992 г.
- с.476 *Шалагин* Федор Иванович (1873–1938) — оперный певец (бас).
- с.476 *Собинов* Леонид Витальевич (1872–1934) — оперный певец (лирический тенор).
- с.476 *Мейерхальд* Всеволод Эмильевич (1874–1940) — театральный режиссер, актер, реформатор театра.
- с.476 *Михозлс* (наст. фамилия Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948) — актер, режиссер, педагог.
- с.477 Выступление на гражданской панихиде по А.М.Мессереру в Государственном академическом Большом театре. Публикуется впервые.
- с.479 Предисловие к книге: И.Дадашидзе. Ревность по дому. Тбилиси: Мерани, 1982.
- с.479 *Дадашидзе* Илья Юрьевич (р.1942) — поэт, переводчик.
- с.481 Предисловие к неизданной книге Ю.Крелина и Н.Эйдельмана „Итальянцы в России”. Публикуется впервые.
- с.481 „*Пастернак так когда-то проснулся в Венеции*” — Б.Пастернак побывал в Венеции в августе 1912 г. по пути из Марбурга в Россию. Эпизод описан поэтом в „Охранной грамоте” (ч.2, гл.14).
- с.482 *Крелин* (наст. фамилия Крейншлин) *Юлий* Зусманович (р.1929) — писатель, врач-хирург.
- с.482 *Эйдельман Натан* Яковлевич (1930–1989) — писатель, историк, публицист.
- с.484 Неопубликованное предисловие ко 2-му изданию книги С.В.Чекалина „Наедине с тобою, брат...” (Ставропольское кн. изд-во). Публикуется впервые.
- с.484 „*Наедине с тобою, брат...*” — начальная строка стихотворения М.Ю.Лермонтова „Завещание” (1840).
- с.484 *Андроников* (наст. фамилия Андроникашвили) *Ираклий* Луарсабович (1908–1990) — писатель, литературовед.
- с.486 Впервые опубликовано в журнале „Смена” (1986, № 5).
- с.486 *Шепитько* *Лариса* Ефимовна (1938–1979) — кинорежиссёр.
- с.486 *Параджанов* *Сергей* Иосифович (1924–1990) — кинорежиссёр, художник.
- с.487 *Спарта* — древнегреческое государство, жители которого отличались выносливостью и с детства приучались к суровому, строгому образу жизни.

- с.490 Публикуется впервые.
- с.490 *Генрих Густавович* Нейгауз (1888—1964) — пианист, педагог, музыкальный писатель.
- с.490 *Станислав Генрихович* Нейгауз (1927—1980) — пианист, педагог.
- с.491 „Вот еще одно оправдание моей затеи...” — авторское примечание к „Автобиографическим запискам” Г.Г.Нейгауза (1960).
- с.491 „Сочиняйте, а не излагайте” — статья Г.Г.Нейгауза в журнале „Искусство кино” (1964, № 4).
- с.492 Впервые опубликовано в журнале „Смена” (1987, № 5). Поэтические посвящения написаны в ноябре 1985 г. к юбилею *Майи Михайловны Плисецкой* (р.1925) — выдающейся классической танцовщицы и балетмейстера.
- с.495 Впервые опубликовано в журнале „Музыкальная жизнь” (1993, № 9 —10). Эпиграф из стихотворения Б.Пастернака „Анастасии Платоновне Зуевой” (1957).
- с.495 *Пастернак Евгений Борисович* (р.1923) — литературовед. Сын Б.Л.Пастернака.
- с.495 „Кармен-сюита”, „Болефо” — балеты, в которых танцевала М.Плисецкая.
- с.497 Предисловие к двойному альбому: Владимир Высоцкий „...хоть немного еще постою на краю...” (М.: Мелодия, 1987). Текст напечатан на конверте альбома.
- с.497 „Когда-то... я поздравляла читателей...” — эссе Б.Ахмадулиной „Однажды в декабре”, напечатанное в „Литературной газете” 29 декабря 1976 г., помещено в т.3 настоящего издания.
- с.497 „Было напечатано одно его стихотворение” — стихотворение „Из дорожного дневника” было опубликовано с купюрами в альманахе „День поэзии 1975”. (М.: Сов. писатель, 1975). Это единственная прижизненная публикация стихов В.Высоцкого.
- с.500 Фрагменты обоих выступлений, а также предисловия к альбому (с.497—499), смонтированные Н.А.Крымовой, опубликованы в составленной ею книге: „Я конечно вернусь...” Стихи и песни В.Высоцкого. Воспоминания. (М.: Книга, 1988).
- с.500 Выступление на вечере памяти В.Высоцкого в Доме кино (Москва).
- с.500 „Мандельштамом сказано...” — „Смерть художника не следует исключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено. С этой вполне христианской точки зрения смерть Скрябина удивительна. Она не только замечательна как сказочный посмертный рост художника в глазах массы, но и служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной” (О.Мандельштам. Скрябин и христианство. // Русская литература. 1991. № 1).
- с.502 Выступление на вечере памяти В.Высоцкого в Центральном доме актера ВТО (Москва).
- с.504 Выступление на церемонии открытия памятника В.Высоцкому (Москва, Страстной бульвар). Публикуется впервые.
- с.507 Впервые опубликовано в журнале „Огонек” (1987, № 36) в качестве

предисловия к подборке стихотворений поэта *Бориса* Алексеевича *Чичибабина* (наст. фамилия *Полушин*) (1923–1994).

- с.508 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 2 сентября 1987 г.
- с.508 „*Тишина, ты – лучшее из того, что слышал*” – строки стихотворения *Б.Пастернака* „Звёзды летом” из книги „Сестра моя – жизнь” (1917).
- с.508 *Миронов Андрей* Александрович (1941–1987) – артист театра и кино.
- с.509 „*Опасной бездны на краю*” – неточная цитата из „*Пира во время чумы*” *А.С.Пушкина* (1830) („Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на краю...”).
- с.510 *Фигаро* – персонаж комедии французского драматурга *Пьера* Огюстена *Карона де Бомарше* (1732–1799) „*Безумный день, или Женитьба Фигаро*”. *А.Миронов* умер 14 августа 1987 г. в финале спектакля „*Женитьба Фигаро*”, который давался на сцене *Рижского оперного театра* во время гастролей *Московского театра сатиры*.
- с.511 Впервые опубликовано в кн.: *Солнечное сердце. Воспоминания о Н.Думбадзе*. Тбилиси: *Мерани*, 1988.
- с.511 *Думбадзе Нодар* Владимирович (1928–1984) – грузинский писатель, общественный деятель.
- с.513 Впервые опубликовано в журнале „*Арион*” (1996, № 4).
- с.513 *Тышлер Александр Григорьевич* (1898–1980) – театральный художник, живописец, график.
- с.514 „*До сих пор я живу детскими и юношескими воспоминаниями...*” – заключительные строки „*Моей краткой биографии*” *А.Г.Тышлера* (1978)
- с.515 „*Поэзия должна быть глуповата*” – см. с.303.
- с.516 *Флора* – *Флора Яковлевна Сыркина*, жена *А.Г.Тышлера*.
- с.516 *Васильев Юрий* Васильевич (1925–1990) – живописец, скульптор, театральный художник.
- с.518 Впервые опубликовано в газете „*Московские новости*” 28 мая 1988 г. в связи с предполагавшейся публикацией книги воспоминаний *Е.Гинзбург* „*Крутой маршрут*” в рижском журнале „*Даугава*”.
- с.518 *Гинзбург Евгения Семёновна* (1906–1977) – писательница, мемуарист. Мать *В.П.Аксёнова* (см. с.7).
- с.518 „*Каторга! Какая благодать!*” – строка из поэмы *Б.Пастернака* „*Лейтенант Шмидт*” (1926–1927).
- с.518 *Внук Алёша* – *Аксёнов Алексей Васильевич*, художник кино. Сын *В.П.Аксёнова* (см.с.7).
- с.520 Впервые опубликовано в газете „*Московские новости*” 4 сентября 1988 г. В настоящем издании печатается в авторской редакции.
- с.520 *Шодерло де Лакло* *Пьер* (1741–1803) – французский писатель, автор романа в письмах „*Опасные связи*”.
- с.520 *Ерофеев Венедикт* Васильевич (1938–1990) – писатель.
- с.522 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 23 мая 1990 г.
- с.523 Впервые опубликовано в журнале „*Советский театр*” (1989, № 1) как предисловие к пьесе *Г.Сапгира* „*Амадей и Вольфганг*”.
- с.523 *Моцарт Вольфганг Амадей* (1756–1791) – австрийский композитор, музыкант универсального дарования.
- с.523 *Сапгир Генрих* Вениаминович (р.1928) – поэт.

- с.524 Публикуется впервые.
- с.524 „*Всё снег да снег, – терти и точка...*” – начальные строфы из стихотворения Б.Пастернака (1931).
- с.526 Впервые опубликовано в кн.: Мир Пастернака. М.: Сов. художник, 1989. Эпиграф – начальные строки стихотворения Б.Пастернака из книги „Сестра моя – жизнь”(1917).
- с.526 *Марбург* – немецкий город, в котором Б.Пастернак провел летние месяцы 1912 г., занимаясь философией в Марбургском университете.
- с.526 *Несчастливая любовь* – имеется в виду история отношений Б.Пастернака и Иды Высоцкой, разрыв с которой во время пребывания поэта в Марбурге стал переломным моментом в его творческой биографии.
- с.526 *Скрябин Александр Николаевич* (1871/1872–1915) – композитор.
- с.526 „*Шаги моего божества*” – строка из поэмы Б.Пастернака „Девятьсот пятый год”(1925–1926).
- с.527 *Варварка, Ильинский сквер, Маросейка, Покровский бульвар* – улицы в историческом центре Москвы.
- с.527 *Пастернак Леонид Осипович* (1862–1945) – живописец, график. Отец Б.Л.Пастернака. С 1921 г. в эмиграции.
- с.527 *Левенталь Валерий Яковлевич* (р.1938) – театральный художник.
- с.527 „...*в мастерской на Мясницкой*” – с 1894 г. Л.О.Пастернак преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества, расположенном на Мясницкой улице в Москве. Преподавателям традиционно предоставляли квартиру и мастерскую при училище. Эту квартиру семья Пастернаков занимала до 1911 г.
- с.527 *Екатерина Павловна Перельман* – руководитель драматического кружка Дома пионеров.
- с.527 *Агафья Тихоновна* – персонаж „Женитьбы” Н.В.Гоголя.
- с.527 „*Дама приятная во всех отношениях*” – персонаж поэмы Н.В.Гоголя „Мертвые души” (т.1, гл.9).
- с.527 *Розов Виктор Сергеевич* (р.1913) – драматург.
- с.528 „*Поэзия должна быть глуповата*” – см. с.303.
- с.533 Тамара (*Тамар*) (около середины 60-х гг. XII в. – 1207) – грузинская царица. Во время ее правления Грузия достигла наибольшей военно-политической мощи и культурного расцвета.
- с.535 Впервые опубликовано в кн.: Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М.: Искусство, 1990.
- с.535 *Эрдман Николай Робертович* (1902–1970) – драматург.
- с.537 *Гарин Эраст Павлович* (1902–1980) – актер, режиссер.
- с.537 *Вальпин Михаил Давыдович* (1902–1988) – поэт, драматург.
- с.537 *Сизиф* – в древнегреческой мифологии царь Коринфа. Перехитрив богов, дважды сумел избежать смерти, за что был приговорен ими вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, скатывался обратно. „Сизифов труд” – тяжелая бесплодная работа.
- с.538 „...*английская поговорка про дом и крепость*” – имеется в виду ставшее поговоркой изречение английского юриста Э.Кока (1552–ок.1634): „My house is my castle” (Мой дом – моя крепость).



- с.538 *Старостин Андрей Петрович* (1906–1987) – футболист, общественный деятель.
- с.538 *Любимов Юрий Петрович* (р.1917) – актер, режиссер.
- с.540 Публикуется впервые.
- с.540 *Асанова Динара* Кулдашевна (1942–1985) – кинорежиссер.
- с.540 *Вампилов Александр* Валентинович (1937–1972) – драматург, прозаик.
- с.540 *Даугава* – название реки Западная Двина в пределах Латвии.
- с.541 *Россельсы* – супруги Владимир Михайлович (р.1914), переводчик, критик, литературовед, и Елена Юрьевна (1916–1995), переводчик.
- с.542 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 1 августа 1990 г. Название – начальная строка стихотворения А.С.Пушкина „К морю” (1824).
- с.542 „...я написала в единственном экземпляре...” – имеется в виду письмо Б.Ахмадулиной к Э.А.Шеварднадзе, бывшему в то время первым секретарем ЦК КП Грузии, от 12 апреля 1982 г.
- с.543 *„Цвет граната”* – фильм С.Параджанова (1969).
- с.544 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 29 сентября 1993 г.
- с.544 *Ордынка* – улица в историческом центре Москвы.
- с.545 *Дом в Трёхпрудном переулке* был дан Д.И.Иловайским (1832–1920) в приданое дочери В.Д.Иловайской (1858–1890), когда она выходила замуж за И.В.Цветаева (см. с.57). В этом доме родились М.И. и А.И.Цветаевы.
- с.545 *Лёра* – Валерия Ивановна Цветаева (1883–1966), дочь И.В.Цветаева и В.Д.Иловайской.
- с.545 *„портрет Наполеона в киоте”* – эпизод описан в кн.: Цветаева А.И. Воспоминания (ч.9, гл.2). Киот – застекленная створчатая рама или шкафчик для икон.
- с.545 *„Песочная” дача* в окрестностях Тарусы, которую семья Цветаевых снимала на летние месяцы в течение ряда лет.
- с.545 *Иловайские Сережа* (1885–1905) и *Надя* (1882–1905) – дети Д.И.Иловайского от второго брака – с А.А.Коврайской. История их жизни описана М.И.Цветаевой в очерке „Дом у старого Пимена”.
- с.546 *„Я хочу воскресить весь тот мир...”* – из письма М.И.Цветаевой к В.Н.Муромцевой-Буниной (1881–1961) от 6 августа 1933 г.
- с.546 *Каган: София* *Исааковна* (1902–1994) и ее дочь, литературовед, *Юдифь Матвеевна* (р.1924) – друзья А.И.Цветаевой.
- с.546 *Волхонка* – улица в Москве, на которой расположен Музей изящных искусств Александра III (ныне Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина), созданный И.В.Цветаевым (см.с.57).
- с.547 *„Драконна”* – прозвище, данное М.Цветаевой Лидии Александровне Тамбурер (ок.1870–ок.1940), другу семьи Цветаевых.
- с.548 *Катаева-Лыткина Надежда Ивановна* (р.1918) – организатор и директор Дома-музея М.И.Цветаевой в Москве.
- с.549 Впервые опубликовано в газете „Вечерний клуб” 27 февраля 1993 г., предваряя выпуск фирмой „Русский диск” авторского альбома композитора *Леонида Десятникова* (р.1955).
- с.550 Выступление на праздновании 70-летия Б.Окуджавы в Московском театре-школе современной пьесы. Публикуется впервые.

- с.550 *Булат* – Окуджава Булат Шалвович (р.1924), поэт, прозаик.
- с.552 Публикуется впервые.
- с.552 *Левин Александр* Леонидович (1931–1996) – врач-отоларинголог.
- с.552 *Марсово поле* – площадь в Санкт-Петербурге, до 1917 г. место военных парадов.
- с.553 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 9 августа 1995 г.
- с.555 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 16 августа 1995 г.
- с.555 *Довлатов Сергей* Донатович (1941–1990) – писатель. С 1978 г. в эмиграции.
- с.556 *24 августа* 1990 г. – день смерти С.Довлатова.
- с.558 Впервые опубликовано в журнале „Грани” (1995, № 178).
- с.558 „Грани” – „журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли”, основанный в 1946 г. Стихи Б.Ахмадулиной публиковались в „Гранях” дважды: в 1958 (№ 38) и 1970 (№ 74).
- с.558 „Посев” – „свободное русское издательство”, основанное в 1945 г. сразу по окончании второй мировой войны, в лагере политических беженцев из России (т.н. „перемещенных лиц”) у селения Менхегоф. В 1968 г. в издательстве „Посев” вышла книга Б.Ахмадулиной „Озноб”.
- с.558 *Робин Гуд* – герой английских народных баллад, борющийся с норманнскими завоевателями, заступник обиженных и бедняков.
- с.559 Публикуется впервые.
- с.559 *Ахматова* (наст. фамилия Горенко) *Анна* Андреевна (1889–1966) – поэт, переводчик.
- с.559 *Постановление* – имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) „О журналах „Звезда” и „Ленинград” от 14 августа 1946 г.
- с.559 *Зоценко* Михаил Михайлович (1894–1958) – писатель.
- с.559 *Володин* (наст. фамилия Лифшиц) *Александр* Моисеевич (р. 1919) – драматург.
- с.559 *Ильина Наталия* Иосифовна (1914–1994) – писательница, мемуарист.
- с.559 *Реформатский Александр* Александрович (1900–1978) – лингвист. Муж Н.И. Ильиной.
- с.560 *Таормина* – город на острове Сицилия, давший название международной литературной премии „Этна-Таормина”, которая была вручена А.А.Ахматовой 12 декабря 1964 г.
- с.560 *Раневская* Фаина Григорьевна (1896–1984) – актриса театра и кино. Близкая подруга А.А.Ахматовой.
- с.560 *Ардовы* – писатель-сатирик Виктор Ефимович Ардов (1900–1976) и его жена, драматическая актриса Нина Антоновна Ольшевская-Ардова (1908–1991), одна из ближайших подруг А.А.Ахматовой. В их доме на Большой Ордынке она постоянно останавливалась во время своих приездов в Москву.
- с.561 Художники *Амедео Модильяни* (1884–1920) и *Натан Исаевич Альтман* (1889–1970) нарисовали портреты А.А.Ахматовой в 1911 и 1914 гг. соответственно.
- с.561 *Оспедалетти* – средиземноморский курорт в Италии, недалеко от Сан-Ремо.
- с.561 *Чуковская Лидия* Корнеевна (1907–1996) – писательница, автор „Записок об Анне Ахматовой”.

- с.561 *Баталов Алексей Владимирович* (р. 1929) – киноактер. Сын Н.А.Ольшевской-Ардовой от первого брака.
- с.561 *Лесков Николай Семенович* (1831–1895) – писатель.
- с.562 *Знаменитая приятельница* – Ника Николаевна Глен (р.1928), переводчица, редактор, секретарь комиссии по литературному наследию А.Ахматовой.
- с.562 *„Дорога не скажу куда...”* – строка из стихотворения А.Ахматовой „Приморский сонет” (1946).
- с.562 *„Чехов едет к Толстому в Гаспру”* – эпизод описан в мемуарном очерке И.А.Бунина „О Чехове” (1950).
- с.564 *Немой* (обл.) – немой, глухонемой.
- с.564 *Комарово* – дачный поселок под Санкт-Петербургом.
- с.564 *Гумилёв Лев Николаевич* (1912–1992) – историк, географ. Сын А.А.Ахматовой и Н.С.Гумилева.
- с.565 Впервые опубликовано в „Литературной газете” 6 ноября 1996 г.
- с.565 *Судакевич Анель Алексеевна* (р.1906) – актриса немого кино, художница по костюмам. Мать Б.А.Мессерера.
- с.565 Эпиграф – строка из стихотворения Ф.И.Тютчева „Я встретил вас – и всё былое...” (1870).
- с.565 *„Благодарствуй, ты больше, чем просят, даешь”* – заключительные строки стихотворения Б.Пастернака „Иней” (1941).
- с.566 *Кирсанов Семен Исаакович* (1906–1972) – поэт.
- с.567 *„Быть женщиной – великий шаг...”* – строки из стихотворения Б.Пастернака „Объяснение” (из романа „Доктор Живаго”).
- с.567 *Фонвизин Артур Владимирович* (1882/83–1973) – художник.
- с.569 Впервые опубликовано в „Литературной газете”.
- с.570 Книга воспоминаний В.Набокова, написанная по-английски, была переведена автором на русский язык и издана под названием *„Другие берега”* (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954).
- с.570 *Мать Набокова* – Елена Ивановна Набокова (урожд. Рукавишникова) (1876 –1939).
- с.570 *Монтрё* – курортный город в Швейцарии, на берегу Женевского озера, где с 1960 г. В.В.Набоков с семьей жил в отеле „Палас”.
- с.570 *Старший Владимир Набоков* – отец писателя Владимир Дмитриевич (1869–1922), юрист, публицист, один из лидеров кадетов.
- с.572 *Рампетка* – сачок для ловли бабочек.
- с.572 *„Француз”, „Сверчок”* – лицейские прозвища А.С.Пушкина.
- с.573 *Головина Алла Сергеевна* (урожд. Штейгер, во втором браке Жиль де Пелиши) (1909–1987) – поэтесса, прозаик.
- с.573 *Тескова Анна Антоновна* (1872–1954) – чешская писательница, переводчица произведений русской литературы.
- с.574 *„Весна в Фиальте и другие рассказы”* (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956) – книга В.Набокова.
- с.574 *Платонов Андрей Платонович* (1899–1951) – писатель.
- с.574 *„Целую Вас – через сотни...”* – строка из стихотворения М.Цветаевой „Никто ничего не отнял!..” (1916).
- с.574 *Муромцевы* – семья жены И.А.Бунина Веры Николаевны Муромцевой.

- вой-Буниной. Ее отец Николай Андреевич (1852–1933) был членом Московской городской управы, дядя Сергей Андреевич (1850–1910) – председателем Первой Государственной думы.
- с.574 „Окаянные дни” – литературно-публицистический дневник И.А.Бунина о событиях 1918–1919 г. в Москве и Одессе.
- с.575 *Нобелевский лауреат тридцать третьего года* – И.А.Бунин (см.с.269).
- с.575 *Куверт* (устар.) – столовый прибор.
- с.575 *Твардовский* Александр Трифонович (1910–1971) – поэт, общественный деятель, главный редактор журнала „Новый мир” в 1950–1954 и 1958–1970 гг.
- с.575 *Сурков* Алексей Александрович (1899–1983) – поэт, общественный деятель.
- с.575 В июле 1965 г. были арестованы писатели Андрей Донатович *Синяевский* (р.1925) и Юлий Маркович *Даниэль* (1925–1988), обвиненные в антисоветской деятельности за публикацию на Западе своих сатирических произведений. Последующий судебный процесс вызвал большой общественный резонанс.
- с.575 *Вознесенский* Андрей Андреевич (р. 1933) – поэт.
- с.575 *Анненков* Юрий Павлович (1889–1974) – график, живописец. С 1974 г. в эмиграции.
- с.575 *Триоле* (урожд. Каган) *Эльза* Юрьевна (1896–1970) – французская писательница, переводчица.
- с.575 „*Купаль*” – знаменитое парижское кафе, место встречи художников.
- с.575 „*Свежо и остро пахли морем*” – строка из стихотворения А.Ахматовой „Вечером” (1913).
- с.576 *Цюрих* – город в Швейцарии, главный промышленный и торгово-финансовый центр страны.
- с.576 *Монмартрское кафе*. Монмартр – район Парижа, место проживания литераторов, артистов, художников.
- с.576 „*Церковь Сокровенного Святого Сердца*” – имеется в виду базилика Сакре-Кёр (Сердца Христова) на Монмартре.
- с.576 *Шевалье* (фр.) – здесь: кавалер.
- с.576 *Горбаневская* Наталья Евгеньевна (р.1936) – поэтесса, правозащитница, создательница и первый редактор журнала „Хроника текущих событий”. 25 августа 1968 г. группа правозащитников провела демонстрацию в Москве на Красной площади у *Лобного места*, протестуя против вторжения в Чехословакию.
- с.577 „*Машенька*”, „*Лолита*”, „*Подвиг*” – романы В.В.Набокова.
- с.578 *Гум Гумыч* – персонаж романа В.Набокова „Лолита”(1955).
- с.578 *Марина Влади* (псевдоним Марины Владимировны Поляковой-Байдаровой) (р.1938) – французская актриса кино и театра. Жена *В.Высоцкого* (см. с.9).
- с.579 *Замки на Луаре*. – В долине реки Луара сохранилось большое число замков, архитектурных памятников французского ренессанса.
- с.579 *Кальвадос* (фр.) – яблочная водка.
- с.579 *Круассан* (фр.) – рогалик из слоеного теста.

- с.579 *Пруст Марсель* (1871–1922) – французский писатель.
- с.580 *Герра Ренэ* – французский славист, коллекционер.
- с.581 *Нихербокер* – ученый педант и любитель местных преданий, от имени которого написана „История Нью-Йорка” американского писателя Уошингтона Ирвинга (1783 – 1859).
- с.581 *Плисецкий Азарий Михайлович* (р. 1937) – артист балета, педагог, балетмейстер.
- с.582 *Шагал Ида* (р. 1916) – дочь художника М.З.Шагала.
- с.582 *Поплавский Борис Юлианович* (1903 – 1935) – поэт, прозаик. С 1921 г. в эмиграции .
- с.582 *День четырнадцатое июля* – день штурма Бастилии (1789 г.), явившийся началом Великой французской революции. Национальный праздник Франции.
- с.584 *Паб* (англ.) – пивная, бар, закусочная.
- с.585 *Вера Евсеевна Набокова* (урожд. Слоним) (1902 – 1991) – жена В.В.Набокова.
- с.586 *Лужин* – герой повести В.Набокова „Защита Лужина”.
- с.586 *Соколов Саша* (Александр Всеволодович) (р.1943) – писатель, автор романа „Школа для дураков”.
- с.587 *Максимов Владимир Емельянович* (1932–1995) – писатель, основатель журнала „Континент”.
- с.588 *Солженицын Александр Исаевич* (р. 1918) – писатель.
- с.588 *Мандельштам Надежда Яковлевна* (1899–1980) – мемуарист. Жена поэта О.Э.Мандельштама.
- с.589 *„Башня” Серебряного века* – петербургская квартира поэта-символиста Вяч. Ив. Иванова и его жены писательницы Л.Д.Зиновьевой-Аннибал на Таврической улице, где в 1905–1907 гг. практически еженедельно собиралась петербургская культурная элита (так называемые „ивановские среды”).
- с.589 *Карден Пьер* (р. 1922) – французский кутюрье.
- с.590 *Сорбонна* – распространенное второе название Парижского университета.
- с.590 *Шмякин Михаил Михайлович* (р. 1943 ) – художник. С 1971 г. в эмиграции.
- с.590 *Барышников Михаил Николаевич* (р. 1948) – артист балета, балетмейстер. С 1974 г. в эмиграции.
- с.591 *„Щелкунчик”* – сказка немецкого писателя-романтика Э.Т.А.Гофмана (1776–1822) и балет П.И.Чайковского по ее мотивам.
- с.591 *Шагал Марк Захарович* (1887–1985) – живописец, график. С 1922 г. в эмиграции.
- с.594 *Эмпайр стейт билдинг* – небоскрёб в Нью-Йорке, долгое время бывший самым высоким зданием в мире.
- с.594 *Бержар* (наст. фамилия Берже) *Морис* (р.1927) – французский артист балета, балетмейстер, педагог.
- с.595 *Лозанна* – город в Швейцарии на берегу Женевского озера.
- с.595 *„Шильонский узник”* – поэма английского поэта Д.Г.Байрона (1788 –

1824). Ее герой – женеvский гражданин Франсуа Бонивар (1493–1570), участник политической борьбы за независимость Женевы. В 1530–1536 гг. он был заключен в подземелье Шильонского замка.

с.595 *Петербург, станция „Сиверская”, Выра, Рождественно* – места, связанные с жизнью В.Набокова в России.

с.596 Опубликовано в „Литературной газете” 18 декабря 1996 г. Название – начальная строка русской народной песни.

с.596 „*Чудище обло, озорно...*” – строка из поэмы В.К.Тредиаковского „Телемахида”, использованная А.Н.Радищевым в качестве эпиграфа к „Путешествию из Петербурга в Москву” (1790).

с.596 *Василий Тёркин* – герой одноименной поэмы А.Твардовского (1941–1945).

с.598 *Верейский Орест Георгиевич* (1915–1993) – график, автор иллюстраций к поэмам „Василий Тёркин” и „Страна Муравия”.

с.599 *Копань* (обл.) – яма, ров, колодец без сруба, выкапываемые для сбора дождевых или грунтовых вод с различными хозяйственными целями.

с.599 Книга воспоминаний И.Т.Твардовского „На хуторе Загорье” (М.: Современник, 1983) позднее дополнена неизданными главами (Юность. 1988. №3).

с.600 „*Бежин луг*” – рассказ И.С.Тургенева из „Записок охотника”.

с.603 *Левша* – герой одноименной повести Н.С.Лескова (1881).

с.604 *Арагон Луи* (1897–1982) – французский писатель, общественный деятель. Муж *Эльзы Триоле* (см. с.575).

с.604 *Селли* (наст. фамилия Детуш) *Луи Фердинанд* (1894–1961) – французский писатель.

с.605 „*Юманите*” – ежедневная газета, орган французской компартии.

с.605 *Брик* (урожд. Каган) *Лили Юрьевна* (1891–1978) – скульптор, главная любовь в жизни В.Маяковского.

с.605 *Неруда Пабло* (псевдоним Нефтали Рикардо Рейес Басоальто) (1904–1973) – чилийский поэт, дипломат.

с.606 *Нотр-Дам де Пари* (Собор Парижской Богоматери) – архитектурный памятник ранней французской готики в историческом центре Парижа.

с.606 „*Чрево Парижа*” – Центральный парижский оптовый рынок, ныне снесенный.

О.Грушников

## СОДЕРЖАНИЕ

### СТИХОТВОРЕНИЯ 1980 — 1996

Сад . . . . .	7
Владимиру Высоцкому :	
1. „Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий...” . . . . .	9
2. Москва: дом на Беговой улице . . . . .	10
3. „Эта смерть не моя есть ущерб и зачёт...” . . . . .	13
Ладыжино . . . . .	14
Вослед 27-му дню февраля . . . . .	16
Игры и шалости . . . . .	19
Радость в Тарусе . . . . .	21
Ревность пространства. 9 марта . . . . .	24
Милость пространства. 10 марта . . . . .	26
Строгость пространства. 11 марта . . . . .	29
Кофейный чертик . . . . .	31
День: 12 марта 1981 года . . . . .	33
Рассвет . . . . .	36
Непослушание вещей . . . . .	37
Свет и туман . . . . .	39
Луна до утра . . . . .	41
Утро после луны . . . . .	44
Вослед 27-му дню марта . . . . .	46
Возвращение в Тарусу . . . . .	49
Преппирательства и примирения . . . . .	50
Черемуха . . . . .	53
Черемуха трехдневная . . . . .	56
„Есть тайна у меня от чудного цветенья...” . . . . .	59
Черемуха предпоследняя . . . . .	61
Ночь упаданья яблок . . . . .	65
Февральское полнолуние . . . . .	67
Гусиный Паркер . . . . .	70
Род занятий . . . . .	73
Прогулка . . . . .	78
Лебедь мой . . . . .	80
Палец на губах . . . . .	84

Сиреневое блюдо	87
День-Рафаэль	89
Сад-всадник	90
Смерть совы	92
Гребенников здесь жил...	95
Печали и шуточки: комната	99
„Воздух августа: плавность услад и услуг...”	103
Забывтый мяч	104
„Я лишь объём, где обитает что-то...”	106
Звук указующий	108
Ночь на тридцатое марта	109
„Зачем он ходит? Я люблю одна...”	111
„Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...”	115
Луне от ревнивца	116
Пашка	118
Пачёвский мой	120
„Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен...”	122
Ночь на 30-е апреля	123
Суббота в Тарусе	124
Друг столб	127
„Как много у маленькой музыки этой...”	129
Смерть Французова	131
Цветений очерёдность	133
Скончание черемухи – 1	135
„Быть по сему: оставьте мне...”	137
Скончание черемухи – 2	138
„Отселева за тридевять земель...”	140
29-й день февраля	142
„Дорога на Паршино, дале – к Тарусе...”	144
Шум тишины	145
„Люблю ночные промедленья...”	147
Посвящение	149
„Ровно полночь, а ночь пребывает в изгибах...”	151
„Когда жалела я Бориса...”	154
„Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла...”	157
„Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...”	159
Ночь на 6-е июня	161
„Какому ни предамся краю...”	163
„Бессмертьем душу обольщая...”	167
Стена	170
„Чудовищный и призрачный курорт...”	173
„Такая пала на душу метель...”	176
„Взамен элегий – шуточки, сарказмы...”	178
Постой	181
„Всех обожаний бедствие огромно...”	183
Дом с башней	184



„Темнеет в полночь и светает вскоре...”	187
„Завидев дом, в испуге безъязыком...”	189
Побережье	191
Поступок розы	194
Грядя камней	197
„Это брег — только бред двух схватившихся зорь...”	203
„Ночь: белый сонм колонн надводных...”	205
„Мне дан июнь холодный и пространный...”	206
Шестой день июня	208
Черемуха белоночная	210
„Не то, чтоб я забыла что-нибудь...”	213
„Здесь никогда пространство не игриво...”	214
„Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет...”	215
„Я — лишь горы моей подножье...”	217
„Где Питкяранта? Житель питкярантский...”	219
Ночное	222
„Вся тьма — в отсутствии, в опале...”	224
„Лапландских летних льдов недалняя граница...”	227
„Всё шхеры, фиорды, ущельных существ...”	229
„Так бел, что опалает веки...”	232
„Лишь июнь сортавальские воды согрел...”	235
„То ль потому, что ландыш пожелтел...”	238
„Сверканье блёсен, жалобы уключин...”	240
„Вошла в лиловом в логово и в лоно...”	243
„Пора, прощай, моя скала...”	247
„Сирень, сирень — не кончилось бы худом...”	250
„— Что это, что? — Спи, это жар во лбу...”	254
Ёлка в больничном коридоре	256
„Поздней весны польза-обнова...”	258
Ивановские припевки	259
„Хожу по околицам дюжей весны...”	262
Пригород: названья улиц	266
„Тому назад два года, но в июне...”	269
„Постоялец вникает в реестр проявлений...”	271
„Так запрокинут лоб, оторванный от яви...”	273
Ларец и ключ	274
Дворец	277
Гроза в Малеевке	280
Венеция моя	283
Одевание ребенка	285
Портрет, пейзаж и интерьер	287
Вокзальчик	290
Вид снизу вверх	293
19 октября 1996 года	294
Надпись на книге: 19 октября	297
Поездка в город	301

*Ованес Туманян*

„Бессонница моя — твои владенья...”	307
„Никто в ночи не ведает — каков...”	308
„Не проси меня петь. Я немного немей...”	309
Романс	310
Изгнанник я, сестрица	311
„Сестра моя, иди своей дорогой...”	313
Наш обет	314
Экспромт	315
„Явился из снегов, издалека...”	316
Моя песня	317
Прощальный взгляд Сириуса	318
Парвана (баллада)	320
Стихи детям:	
Лиса	325
Жаворонки	327
Воробьи	328
Зеленый братец	329

*Аветик Исаакян*

„Я уподобил сердце небу...”	330
„Вздыхают ветер и волна...”	331
„Луна сияет безмятежно...”	332
„Пыльцою лилии-луны...”	333
„Я утром видел голубя...”	334
„В небесах: курлы-курлы...”	335
„Ах, заблудилась тропа, заплуталась...”	336
„Измучено море, и пена...”	337
„Луна, как сонный лебедь, проплывает...”	338
„Простерся туман от небес до земли...”	339
„Я тени звал к себе, желая...”	340
„На яхонтовых, золотых...”	341
„Вот и вечер лампы зажег...”	342
„От жгучего горя сердце мертво...”	343
„Здороваясь — молчишь. Ну, что ж...”	344
„Эй, брат мой зеленый, весь мир тебе рад...”	345
„От суеты сокрылся я в пустыню...”	346
„Грустная песня, бездомная птица...”	347
„Слов изумруды, сновидений роскошь...”	348
„В закрытые двери, как ветер бездомный...”	349
„Шел бедуин, и в мираже песчаном...”	350
„Бледная осень в садах непогоды...”	351
„Раскачивая яхонты в ушах...”	352
„Ах, лучше бы не родиться на свет...”	353

*Сильва Капутикян*

Клеопатра . . . . .	354
„Объятый именем моим...” . . . . .	356
„Мне в радости иль в грусти пребывать?..” . . . . .	357
Приговор . . . . .	358
Ассирийка . . . . .	359
„Я слабой была, но я сильной была...” . . . . .	360
Остановись, человек! . . . . .	361
Осень . . . . .	363

*Агван Хачатрян*

“Ты волосы мои ласкаешь нежно...” . . . . .	364
---	-----

*Баграт Шинкуба*

Сон . . . . .	365
Слово . . . . .	367
От Сухуми до Члоу . . . . .	369
“Для выгоды брэнного тела...” . . . . .	371
“Этот месяц зовется июлем...” . . . . .	373
Реки . . . . .	375
“Слышу голос невнятный и странный...” . . . . .	376
“Не старая, но странная она...” . . . . .	378
“Ах, как бы я хотел...” . . . . .	380
Жажда . . . . .	382
“Как я желал осилить перевал!..” . . . . .	384
Завещание . . . . .	385

*Иван Тарба*

“Кто что умеет, милая, — я должен...” . . . . .	387
“Отправляясь в Сухуми, возьму ли с собою...” . . . . .	388

*Кайсын Кулиев*

Прислушайся к словам . . . . .	389
Говорю самому себе . . . . .	390
“Что бы ни делалось на свете...” . . . . .	391
Стихотворение, написанное в больнице . . . . .	392
“Деревья, вы — братья мои” . . . . .	393
Чокка . . . . .	394
Веселые люди . . . . .	395
“Как много в городе людей!..” . . . . .	398
Лунный свет . . . . .	400
Мы слушали музыку . . . . .	401
Белизна зимней ночи . . . . .	402
Дворик моей матери . . . . .	403
Сон зимней ночью . . . . .	404
Тишина . . . . .	405
Зима пришла . . . . .	407
Кукушка . . . . .	409
Вечер в горах . . . . .	410
Говорю с чинарой и колосьями . . . . .	412

Говорю в пути . . . . .	413
Говорю одинокому дереву . . . . .	414
Волы под дождем . . . . .	415
Колыбельная тени дерева . . . . .	416
Письмо к Расулу Гамзатову . . . . .	417
„Луна над домами. Тебе и луны не дано...” . . . . .	419
„Сказали мне люди: “Поэт – кто велик...” . . . . .	421
<i>Абдыкалый Молдожматов</i>	
На берегу Иссык-Куля . . . . .	422
<i>Геннадий Айги</i>	
Поезда . . . . .	423
Отдых . . . . .	424
Художник . . . . .	426
Куст . . . . .	428
<i>Сабит Муканов</i>	
Летнее утро . . . . .	430

### В ОСПОМИНАНИЯ

Живое семицветье . . . . .	433
Воспоминание о Грузии . . . . .	435
Отрывок . . . . .	437
Путешествие . . . . .	439
„Мороз и солнце, день чудесный...” . . . . .	441
„Прекратим эти речи на миг...” . . . . .	444
Анна Каландадзе . . . . .	448
О Евгении Винокурове . . . . .	450
Счастливый дар . . . . .	453
К читателю . . . . .	455
Вероника Тушнова . . . . .	457
Прощаясь с Павлом Григорьевичем Антокольским... . . . .	458
Порыв души и ума . . . . .	461
Миг бытия . . . . .	463
Не забыть . . . . .	467
Вместо предисловия . . . . .	472
Памяти великого артиста . . . . .	476
Слово прощания . . . . .	477
„Ревность по дому” . . . . .	479
„Итальянцы в России” . . . . .	481
„Наедине с тобою, брат...” . . . . .	484
Лариса Шепитько . . . . .	486
Посвящение . . . . .	490
Послесловие к автобиографии Майи Плисецкой . . . . .	492
Новый год и Майя . . . . .	495
Дарующий радость . . . . .	497
Вождь своей судьбы. . . . .	500

Артист и Поэт . . . . .	502
Союз радости и печали . . . . .	504
Несколько слов о Борисе Чичибабине . . . . .	507
Склоняю голову . . . . .	508
Нодар Думбадзе . . . . .	511
Памяти Александра Григорьевича Тышлера . . . . .	513
Ваше величество женщина . . . . .	518
Париж – Петушки – Москва . . . . .	520
Памяти Венедикта Ерофеева . . . . .	522
„Амадей и Вольфганг” . . . . .	523
Борис Пастернак . . . . .	524
Лицо и голос . . . . .	526
День счастья . . . . .	535
Динара Асанова . . . . .	540
„Прощай, свободная стихия” . . . . .	542
Час души . . . . .	544
Посвящается Вам . . . . .	549
Устройство личности . . . . .	550
Алик Левин . . . . .	552
„Когда Вы безвыходно печальны...” . . . . .	553
Посвящение Сергею Довлатову . . . . .	555
Поздравление журналу „Грани” . . . . .	558
Всех обожаний бедствие огромно... . . . . .	559
Розы для Анели . . . . .	565
Возвращение Набокова . . . . .	569
Среди долины ровныя... . . . .	596
<b>Комментарии . . . . .</b>	<b>608</b>

# *Белла Ахатовна Ахмадулина*

СОЧИНЕНИЯ · ТОМ 2

Составители

Б.А.Мессерер, О.П.Грушников

Редактор В.И.Цветков

Художник А.Б.Коноплев

Корректор В.С.Антонова

ЛР №064604 от 22.05.96

ISBN5 – 901040 – 02 – 3

ЛР №060019 от 15.11.96

Формат 60х90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная

Гарнитура NewBaskervilleС (ParaType)

Печ. л. 40,0

Тираж 5000. Заказ №5240

ООО «Издательство ПАН»

117321 Москва, а/я 76

ТОО «Корона-Принт»

125284 Москва,

Хорошевское шоссе, 2/1, стр.2

Отпечатано с оригинал-макета  
в ордена Трудового Красного Знамени

ГУПП «Детская книга»

127018 Москва, Сушеvский вал, 49



*У поэтического дара Беллы Ахмадулиной есть редкое достоинство – быть понятным и близким всем, не теряя ни в музыке стиха, ни в его глубине. Наследница и носительница классической традиции начала века, она всегда была и остается ей верной при любой общественной погоде.*

*Негромкий голос слышней, а сказанное им слово помнится – в этом эффекте предстоит убедиться всем, кто возьмет в руки новый трехтомник поэтессы. Голос Ахмадулиной узнаваем, его не перепутать ни с каким иным, ибо на многоцветной палитре российской поэзии ее краска светится своим особым цветом.*

*Альфа-банк, который неизменно следует своей традиции содействовать проектам, направленным на развитие и процветание отечественной культуры, имеет честь и удовольствие принять участие в выпуске нового трехтомника Беллы Ахмадулиной и надеется, что радость встречи с ее поэтическим талантом разделят многие и многие почитатели ее дарования.*













*Белла  
Ахмадулина*  
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2  
СТИХОТВОРЕНИЯ 1980-1996  
ПЕРЕВОДЫ  
ВОСПОМИНАНИЯ

*Белла Ахмадулина*



*Белла  
Ахмадулина*  
СОЧИНЕНИЯ • ТОМ 2

2

Две белизны, причиняющие мучу нежности, расстилаются передо мной: чистая страница и Москва после первого ночного снегопада. Наверное, эти две страсти, незримо и нерасторжимо связанные между собою, составили мою судьбу и душу: заманивающий и пугающий лист бумаги, не дающий отпуска и поправки, и этот город во главе земли, без которой нет и не надо меня.

Я вижу крыши в снегу, проём между зданий, где подразумевается и неминуемо есть Тверской бульвар, небо над памятником Пушкину. Но зачем я это упоминаю? Не затем ли, что мне хочется сказать всё как есть, без прикрас и утайки? Получается, что я пишу письмо множеству незнакомых людей как единственному и близкому человеку. Может быть, к этой путанице и сводится точная цель моего ремесла: обнаружить наготу чувства и помысла перед тем, кто неведом, но родим.

*Белла Ахмадулина*